

- **"ТИХИЙ ДОН" ПРОТИВ ШОЛОХОВА** —
текстологический детектив Зеева Бар-Селлы
- **ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ** —
заметки об израильской экономике
- **ИСТИНА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ** —
три участника арабо-израильского конфликта
- **РОССИЯ БЕЗ ЕВРЕЕВ** —
прошлое и будущее русского еврейства
- **ОТКАЗ И ОТКАЗНИКИ** —
групповой портрет 80-х годов

60

22

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

№ 60

М4

3007 01/171
1254 01/08
07/17 - В

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

60

июнь-июль 1988



*издание общественного культурного фонда
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 *АЛЕКСЕЙ ТА ТАРИНОВ*. Русские приключения (роман, окончание)
60 *МАРК ЗАЙЧИК*. Воспоминания жизни Семена (главы из романа)

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

- 95 *МАРГАРИТА ГИМЕЛЬШТЕЙН*. Отказники (Ленинград, 80-е годы)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 106 *РАФАЭЛЬ ШАПИРО*. Параллели и меридианы. (Заметки об израильской экономике.)
124 *АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН*. Истина с близкого расстояния (очерк третий)

РУССКИЙ ВОПРОС

- 143 *БОРИС ОРЛОВ*. Россия без евреев

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- 165 *ЗЕЕВ БАР-СЕПЛА*. "Тихий Дон" против Шолохова (текстология преступления)

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 190 *МИХАИЛ ВАРТБУРГ*. Миры в столкновениях, века в хаосе (продолжение)

МАСТЕРСКАЯ

- 214 *КСЕНИЯ ВЕРНЕР*. Против течения времени

ЛЮДИ И КНИГИ

- 218 *МИХАИЛ ГРОБМАН*. Заметки на полях
221 *ВЛАДИМИР ТАРАСОВ*. Модель сознания

На последней странице обложки — Павел Хмельницкий. "Портрет Аллы Алевовой".

Глава первая. Августовская духота к вечеру рассеялась. Пахло свежим сеном и еще почему-то — горелыми зелеными листьями, а еще — паровозным дымом, мазутом, копотью. В заплеванном тамбуре электрички Марк высунулся в выбитое дверное окно и тут же, передернув плечами, втянул голову обратно.

”Ладно, — думал он, — допустим, ленинградские комитетчики и пришлют рапорт о конфискованных письмах на Лубянку, ну, поместят его в досье Клэр, настрочат заключение — мол, неблагонадежна, не пущать, или как там у них. А могут и не прислать. Подумаешь, Г.Б. Такая же неэффективная советская контора, как все остальные. Но даже если пришлют, даже если... то с какой стати этим материалам пересекаться с досье Соломина М.Е., старшего гида-переводчика Конторы по обслуживанию иностранных туристов?”

Пьяный старик, мирно пошатававшийся с ним рядом, вдруг наклонился к Марку и что-то забормотал. ”Переделкино, — различал он,

Алексей Татаринов

РУССКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

(ромен, журнальный вариант,
окончание, начало см. №№ 58—59)

— да хуля мне это твое Переделкино? Ты слышь, ты дай мне лучше закурить, парень. Ну, бывал я в твоём Переделкино, Си-монова как тебя видел, я и в Калуге бывал, и в Ташкенте, я на Сахалине пять лет! — вскрикнул он — пять лет! по оргна-бору! я и в Гагры ездил отдыхать в пятьдесят восьмом году...” Откусив у марковского “Данхилла” фильтр, он вставил сигаре-ту в беззубый рот и замолк, истекая коричневой слюной.

”Разумеется, — Марк отвернулся, — никому в жизни не придет в голову, что я мог иметь касательство к этим проклятым пись-мам. И получается, по справедливости, что надо выкарабкывать-ся. Что ж, послушаемся, зачем переть на рожон. Сейчас у тебя, дорогой Марк, задача одна — сидеть и не рыпаться. Даже пере-говоры с адвокатом, может быть, вести только через отца”.

— Дело нешуточное, — ворковал толстенький плюгавый Ефим Семенович, — дельце нелегкое, а точнее выразиться, и просто тяжелое, поскольку государственное дело, да, государственное! — он поднял указательный палец. — Хлопот будет заметное ко-личество, расходов тоже...

В подвальную юридическую консультацию, что и по сю пору ра-ботает в доме у Чистых прудов — желто-сером огромном доме, украшенном барельефами драконов и птиц-фениксов в стиле “Ми-ра Искусства”, Евгения Петровича с сыном направили знако-мые из Совета Церквей, Бог весть откуда узнавшие о несча-стье, постигшем “еретика” из Малого Институтского переулка.

— Линию защиты придется нам с вами проводить далеко не простую, в некотором смысле даже сложную будем мы с вами вес-ти линию защиты. Да! Сразу могу вас обрадовать, шестьдесят четвертой статьей и не пахнет, измены родины в наличии не имеется. Будут вашему Баевскому инкриминировать либо распро-странение заведомо ложных клеветнических измышлений, пороча-щих советский государственный, так сказать, и общественный строй, либо антисоветскую агитацию. Первое было бы много сим-патичней.

— Почему? — удивился отец.

— Спрашиваете! Наивный вы человек! Есть разница между тремя годами и семью? А? То-то же. Короче, будем брать быка за рога. Через пару недель выколочу разрешение на ведение дела, прочту этот несчастный роман — и засучив рукава, при-мемся мы с вами за труды праведные.

Было, было в jovиальном адвокате нечто от тех врачей, что в разговорах с умирающими продолжают неумеренно употреблять местоимение "мы" и уменьшительные суффиксы. И однако репутация у него была самая благоприятная. Двум его подзащитным из диссидентов вдруг дали неожиданно мягкие сроки, третьего и вовсе отпустили с условным приговором. Правда, во всех упомянутых случаях подзащитные искренно каялись на суде и разве что не били себя в грудь кулаками.

Сошли, наконец, бессовестно матерившиеся солдаты. Поезд пустил, Свете, наконец, наскучил ее французский роман. От прикосновения ее руки Марк вздрогнул. Сжигать корабли опасно, не сжигать, быть может, куда мучительней.

— Очень боишься, милый? Право слово, отец совсем не такой зверь.

— Зря ты ему сказала про наше родство.

— Наверно. Но у меня тоже есть нервы. Он мне железно дал слово повременить со статьей — и вдруг эта идиотская газета. Я ему сгоряча все и выложила. Не мог, говорю, ради жениха единственной дочери постараться, раз в жизни... Но послушай, ведь твоей-то вины во всей этой истории совсем нет, правда?

— Правда. Ты захватила сумку? Нам на следующей. Как бы дождя не было.

— Будем надеяться. Страшно переменчивая погода в такие вечера.

Ползли по небу темные серые тучи, холодный ветер обещал скверную ночь. И сияли в наступающей тьме начищенные медные купола церквушки, отчаянно шумела кладбищенская листва, черным огнем горели в ней перезрелые вишни, еще не расклеванные воробьями.

С участка Сергея Георгиевича доносился залиvistый лай, межблонями, увешанными тяжелыми зелеными плодами, носился щенок Женька, за два месяца ухитрившийся вымахать до не то чтобы внушительных, но уже собачьих, а не щенячьих размеров. Нахмуренный хозяин обнял и расцеловал дочь, на Марка взглянул сначала пристально, потом укоризненно — и, наконец, протянул-таки ему руку.

— Как помидоры, Сергей Георгиевич? — Марк кивнул в сторону грядки, на которой всего три недели назад сам возился с прополкой. — Урожай есть?

— И очень хороший, — откликнулся хозяин, — сегодня попро-

бует. Я на эту грядку еще навоза добавил. Растет, как на дрожжах. Ладно, что вы мнетесь, будто неродные. У меня сегодня все по-холостячки... но уж накормлю-напою с грехом пополам. Давайте-ка только на веранде рассладемся — духота в доме страшная.

Он пояснил, что натащит туда пледов, тулупов, включит рефлектор, да и выпить, слава-те, Господи, найдется.

После нескольких натянутых фраз расселись в дачных сумерках за некрашеным дощатым столом, свет зажигать медлили. Марк налил себе и прозаику Ч. по полному стакану — да тут же и опрокинул свой одним глотком. Сергей Георгиевич, впрочем, поступил точно так же.

— Как съездил?

— Нормально.

— Мать-отец живы-здоровы?

— Мать в отпуск собирается, в Коктебель. Отец, конечно, расстроен, а что поделать.

— Отец, говоришь, расстроен? Да и сам ты, вижу, не больно весел. Так?

— Чего там веселиться.

— Сам виноват, — отрезал Сергей Георгиевич. — Мы об этом романе говорили до твоего отъезда? Что у тебя, язык бы отсох признаться? Нет, струсил. Потом Светку подсылаешь. Последнее, между прочим, дело, за бабьей спиной укрываться. Она темнит, я, разумеется, полагаю, что все это женские капризы. И вдруг, как обухом по голове — он тебе, видите ли, чуть не родной брат! Эх ты! Могли бы ведь сесть за стол, обговорить все по-человечески...

Голос Сергея Георгиевича, то негодующий, то сожалеющий, звучал слишком резко на этой тесной и тихой веранде, заставленной ветхой плетеной мебелью, да заваленной всяким дачным барахлом. В одном углу пылились останки велосипеда, в другом — мертвый телевизор. Стопки пожелтевших газет и журналов распространяли еле уловимый запах тления. А на дворе раскачивались, скрипя, полувековые сосны, повизгивала неугомонная Женька. "Тут должны быть ежи, на этом участке, — подумал Марк, — да, ежи". Отец подарил ежа, и было блюдечко с молоком, кусочки яблок и моркови, раскиданные по всей комнате, ночное шуршание и топотание. Куда он делся потом, еж? Не вспомнить.

— Светка, — распорядился Сергей Георгиевич, — поди в дом. Там мне пластинок прислали из Англии, и битлы, и роллинг, как их, стоунз. Баба с возу — кобыле легче, — доверительно изрек он, когда за дочерью затворилась дверь. — Что вы со свадьбой решили?

— Отложить, — сказал Марк. — Во-первых, отпуска мне что-то не дают, во-вторых... сами понимаете...

— Очень хорошо, — с видимым облегчением выдохнул захмелевший прозаик Ч. — Налей-ка мне еще... Помалкиваешь, молодой человек, хитришь! А ведь знаю я, что у тебя на уме. Знаю! Пей, пей. Ты молокосос, Марк Евгеньевич! Ты видел настоящую жизнь? Ты на фронте был? Тебя из партии исключали? Ты ночного стука в дверь — боялся когда-нибудь? Вот и рассуждаешь, еби твою мать, как Спиноза. Добро, зло, гуманизм... Ты — чистенький. А Сергей Георгиевич — сталинист, второй Булгарин. Сергей Георгиевич похабные статейки сочиняет. Так?

Марк покачал головой.

— Катись, юноша, я тебя насквозь вижу. Тебе известно, сколько я в жизни делал добра? Я кровь проливал за свое отечество, — в голосе его зазвучала живая обида, — я русский писатель! В кунцевскую больницу хотел перевести, почти договорился...

— Кого?

— Да Владимира Михайловича твоего, старого мудака. Отдельную палату обещали. Незаслуженно, мол, репрессированный, заслуженный старый большевик.

— Не захотел?

— Нет, — односложно ответил прозаик Ч. — Я кровь проливал, — снова добавил он, — не для того, чтобы всякая шваль нам ставила палки в колеса. Кто ж спорит, неаппетитная статья. Есть полемические передержки. Но ты уж извини, Марк Евгеньевич, надо бить врага его же оружием.

— Я... — начал Марк.

— Не вздумай только петь мне Лазаря на ту тему, что романа ты не читал, и вообще думал, что твой братец кочегар или кто там, дворник, — предупредил его Сергей Георгиевич. — Баевский твой в глубокой жопе, заодно с ним и ты, так что суди сам.

— Я...

— Помалкивай. Поправить уже ничего нельзя. То есть можно бы, если б твой брательник был поумнее, но — глуп. Он, Баев-

ский, не из жидов по матери?

— На четверть татарин.

— И всегда был такой... не наш?

— Мы о политике никогда... — промямлил Марк, — я стихи его любил... спорил... он говорил, что политикой не интересуется... Я и близок-то с ним особо не был... да и росли мы врозь... вы же сами знаете, Андрей незаконный ребенок. Отец, правда, его матери всегда помогал. А нас познакомил всего лет двенадцать назад, много тринадцать.

— Значит, в амбицию не полезешь?

— Нет.

— Отлично. Только не худо бы тебе, зятек, еще и заявления-це составить. Так мол и так, антипатриотический поступок Бавевского А.Е. решительно осуждаю... ну, еще что-нибудь подсочинишь... помогу...

— Вот этого уже не могу никак, Сергей Георгиевич. Увольте.

— Понимаю, — сочувственно отозвался прозаик Ч.

Еще выпили, снова закурили. Раскрыли наружную дверь. Собака, лая, бросилась к Марку на колени, а с нею на веранду ворвался запах влажной летней земли, жасмина, отцветающего шиповника, и еще чего-то такого, чему и названия-то нет на человеческом языке — жизни, быть может.

— Словом, живи себе у Светланы, я против тебя лично ничего не имею. А заявление, к слову, осталось бы строго между нами.

— Зачем же оно тогда вообще?

— Вот сюда его спрячу, — Сергей Георгиевич хлопнул по внутреннему карману летнего пальто, висевшего на спинке стула. — На всякий пожарный. Для укрепления нашего с тобой взаимного доверия. А?

— Идет, — неожиданно сказал Марк.

В голову ему пришла счастливая мысль в обмен на заявление — которое, разумеется, не могло иметь никакого значения и уж тем более никому не могло повредить, — попытаться кое-что выведать у прозаика Ч., который исписанную Марком бумагу действительно спрятал в карман, украшенный синей с золотом иностранной этикеткой.

— А хреновые были дружки у твоего Андрея, — засмеялся Сергей Георгиевич после нескольких осторожных вопросов. — Заложили они его, зятек, как орешек, раскололись. В сущности,

вся эта диссидентская шатия такая — молодец против овец, а против молодца и сам овца.

Вот и вся информация, которой удалось разжиться Марку в обмен на его довольно красноречивое, по стилю напоминавшее отречения тридцатых и пятидесятых годов, "заявление". То ли хитрил искусленный мастер пера, то ли в самом деле не посвящал его друг-полковник, кое в какие тайны ремесла. Вернулась Света. Кое-как отужинали, с грехом пополам досидели остаток вечера. К ночи заморосило, посвежело. Сославшись на подпитие, хозяин дома не стал подвозить их до станции; впрочем, проводил пешком до самого кладбища.

Глава вторая. Просыпаюсь рано рано вспоминаю никогда мерно капает из крана обнаженная вода ей текучей мирной твари соплеменнице моей удастся петь едва ли плакать хочется скорей долгим утром в птичьем шуме слышу жалобы сквозь сон эй приятель ты не умер нет по-прежнему влюблен

Дай твоих объятий влажных тех которые люблю без тебя я этой жажды никогда не утолю дай прикосновений нежных напои меня в пути чтобы я в пустых надеждах мог печалью изойти насладиться сердца бегом покидая сонный дом становясь дождем и снегом льдом порошей и дождем

Было

Дворницкая. Первые от руки страницы дурацкого романа.

Мастерская Якова. Ты не можешь обычных картин, вот и весь твой авангардизм, говорил я.

Он назло мне эту картину... ветку черемухи на потертый кухонной клеенке, клетчатой. Просто ветку черемухи. И по самой клеенке узнавались пятидесятые годы. Тогда еще не было красивых.

Были муравьи, появлялись с весной на коммунальной кухне, и общего рыжего кота звали Василий, как же еще.

Никогда не мучил зверей. Ни кошек, ни лягушек. В лагере ребята из старшего отряда, кусок стекла, кровь. Кинулся защищать, получил поддых — да, такое детское есть слово, — плакал на траве, а лягушку убили и бросили. Иван смеялся. Кошек нет, а низших насекомых в детские годы препарировал в заметном количестве, из любопытства к смерти. Особенно гусениц.

Гусениц.

Летом пятьдесят седьмого фестиваль, и непарный шелкопряд

в подмосковных лесах На каждой рыжей сосне По десять, двадцать, куда там — сотни тысячи неподвижных белых бабочек мохнатых со сложенными крыльями

И не любил никогда, о нет любил, конечно и тогда в Сочи нравилось что маленькая и голос резкий и было хорошо ах чем она-то виновата.

Мы их в морилки сажали — знаешь, такие стеклянные, банки, затянутые марлей, и чуть-чуть спирта на донышке Или не спирта? Смеси с формалином, кажется, уж и не припомню Бабочки так спокойно давали себя снимать с бугристой коры, и скоро набиралась полная банка мертвых, чуть трепетавших крыльями, и мы их выбрасывали на траву А кучки яичек на деревьях — кладки, по-научному — мазали керосином Это ведь диверсия была В Москве фестиваль, страшные дела — понаехало иностранцев, навезли сифилиса, и детям раздают отравленную жвачку

боже мой ну почему же именно я

чего ты хочешь от меня родная я много не знаю да и откуда бы я же никогда не трогал пальцами другой жизни мы тут как гусеницы в стеклянной банке а я еще из просвещенных из привилегированных я встречаюсь с вами с австралийскими овцеводами пакистанскими юристами американскими дантистами английскими клерками и барабаню свои тексты и мало кто спорит а о чем спорить с китайцем который доказывает какое счастье три кило риса в неделю по карточкам зато по госцене и всем носить синие комбинезоны удобно да и пачкается меньше

нет с тобою этот страх перед прибором почти пропал море шумит а я не слышу и шумит листва но не слышать и ее только твой голос твоё дыхание сестра моя невеста неужели мы могли бы никогда не встретиться смешно подумать нет это судьба и что бы ни было мы навсегда останемся вместе не плачь разлука неважно я никогда не был такой счастливый недолго ну и пусть довольно каждому дню своей заботы

кто же виноват

никто

кто виноват в шуме прибора в разлуке в смерти

так уж заведено и не смей меня любимая зачем богу наказывать нас и за что кто, мы ему такие

слышишь цикаду в листве у нее глаза как телескопы

так в подмосковье большие кузнечики днем верещат на лугу а ночами залезают на деревья и поют с высоты словно ночные пти-

цы поймать трудно да и ни к чему в неволе перестают петь
любую ты непременно полюбишь Попроси его Вилла-Лобоса
одну пьесу сыграть, он знает, какую Я часто слушаю его запись
и все время вижу одно осеннюю набережную северной реки, и
цепочку фонарей, и туман Попроси, слушай, и думай обо мне
она такая грустная и светлая

нет они в политическом лагере хотя формально и за жулиган-
ство ты должна рассказать ему обо всем в мельчайших деталях
дай-ка сначала перескажи все мне для верности так жалко ребят

нет нет я совсем ни при чем я обыкновенный человек в точ-
ности как ты и это огромный грех требовать от обыкновенных
людей героизма то-то же ты ведь и сама не героиня клэр прав-
да а андрей может еще и выкрутится со своим псевдонимом —
вдруг не раскроют

Стояла мягкая осень Среди цветов, украшавших арбатские
переулки и дворы, особенно ценились золотые шары, теперь рас-
тущие, кажется, только в провинции Крупные, ярко-желтые, они
раскачивались на высоких голых стеблях под теплым ветерком,
приносившим морозный запах разбитых арбузов с удичных разва-
лов Дети в фуфайках с начесом перебрасывались антоновскими
яблоками, и никто не отваживался первым надкусить твердого,
как камень, плода — но мало кто хотел и дожидаться глубокой
зимы, когда те же яблоки, пожелтевшие и пахучие, извлекались
запасливыми матерями из картонных коробок, наполненных соломой
Цветовая гамма осени тех лет небогата, над дворами раз-
вешивается застиранное белье и хозяйки, кряхтя, выносят из под-
валов массивные оцинкованные корыта. О, я напишу еще хронику
об этом времени, я еще взглянусь в него сквозь слезы — окна
раскрыты настежь, из одного, подвального, доносится скрипучая
музыка и молодая еще Людмила Зыкина выводит свои густые ру-
лады Настурции, маки, садовая ромашка — вы видите, я ошибся
насчет цветовой бедности — сообщали тогда всему одно — и
двухэтажному захолустью столицы неповторимую щемящую пре-
лесть, которой я не умел еще оценить, а теперь вспоминаю с
тревогой и болью, не уступившим покуда места долготой и
сладкой тоске по невозвратимому.

как звонить из москвы в америку можно и даже не очень трудно
так давай я тебе денег оставлю ну ладно прости а письма да
письма как я забыл я буду много писать тебе мы так и не ус-
пели наговориться родной да и можно ли наговориться когда

любишь как я хочу повезти тебя в ирландию в этот городок и пожить на ферме и в италию но не на сицилию и в амстердам тоже пожалуй нет

но кто же мог расколоться все эти проклятые андревы дружки а знали об авторстве тоже многие владимир михайлович не в счет яков и владик не в счет и иван конечно не в счет однако сколько безымянной сволочи художники графоманы собутыльники он же повсюду читал отрывки только непонятно откуда в статье все эти детали явно кто-то близкий

а у билла друг китаец профессор мы иногда ходим вместе в ресторан он все заказывает сам на своем языке и дети по воскресеньям ходят в китайскую школу хотя совсем американцы почему вспоминала да так я его просто люблю он тихий такой и своему дяде старику в гонконг послал денег издать книгу стихов я перевод слыхала так пронзительно и неуловимо похоже на андрея а недавно старик умер и джон это наш китаец ужасно горевал

ты права да ты права это лилипутский цирк грандиозная детская игра только пистолеты и автоматы у этих детей настоящие и тюрьмы вот и приходится прижиматься к земле не поднимать головы если сам не хочешь стрелять да ты опять права — злые дети но я-то чем виноват я здесь родился здесь мой дом я обязан принимать правила игры даже подыгрывать разумеется у вас по-другому но ведь тоже есть правила и тоже нелегко

Как быстро кончился дождь. Последние, самые невесомые капли пролетают почти параллельно поверхности земли и беззвучно падают в лужи, расходясь мелкими кольцами. В просветах между тучами сквозят созвездия, чей рисунок едва различим в эту смутную погоду. Чужой потрескавшийся асфальт под моими ногами сияет отраженным ртутным светом, неузнаваемое российское небо стоит гигантским надувным куполом, да и сам я, мнится, похож на античную тень, без дела шляющуюся по земле и смущающую живых своими запоздалыми откровениями. Кончается мой долгий труд, а вместе с ним и молодость, и некому посвятить ни первого, ни второй...

господи я надеялся будет легче гораздо легче а новые ботинки жмут и это хорошо отвлекает только левый носок сзади совсем набух кровью а небо очистилось только на горизонте ключья облаков и жутковатое зеленое зарево города

я не пью снотворных ты снова забыла мне к девяти на работу

с тяжелой головой нельзя осторченела ты мне со своими заботами спи ради христа спи спи сколько раз можно повторять ну ладно прости нагрубил согласен понимаю сам не знаю отчего я такой взвинченный не злись я наверное болен да именно болен точно пойду лягу на кухне может водки выпью с минеральной водой говорят помогает а ты спи только дай мне простынку нет не эту можно узкую спасибо одеяла не надо ночь теплая да тревожусь да нервничаю да очень и с адвокатом снова встречаюсь послезавтра а ты как полагала что я подписал какую-то сволочную бумажонку и на этом успокоился да у меня на целом свете нет никого ближе андрея да включая и тебя а ты как думала ты хоть отдаешь себе отчет в какой выгребной яме мне пришлось искупаться по милости твоего дражайшего папочки ну не реви не реви видишь я стараюсь все уладить не плачь не плачь не

господи если только ты существуешь

господи хоть от бессонницы избавь меня завтра толкаться в метро и пять высоких этажей до отдела а мне не восемнадцать лет сердце стучит и одышка если не выспаться а дел выше головы бухгалтерия грядущий разыскать ивана к отцу заехать

а ты как думала кто тебе сказал что жизнь состоит из малины с мармеладом

и никакого искупления не будет ты уж мне поверь

завтра в конторе продуктовый заказ магнитофон в комиссионку деньги отцу

А вдалеке — гроза. Так далеко, что даже не слышно грома, не видно молний, которые лишь угадываются по отблескам на стенах и на влажной ночной листве. Впрочем, эти всполохи становятся все ярче. Гроза приближается, одна ветвистая молния обвила шпиль Университета на Ленинских горах, рассыпалась синими страшными искрами, другая застыла над мостом метрополитена, совершенно пустым и темным в этот предутренний час. В Нью-Йорке, напротив, солнечный ранний вечер. Костя Розенкранц, облаченный в униформу русского эмигранта (новенькие джинсы, с иголки джинсовая же, фирмы "Рэнглер", куртка, мягкие итальянские башмаки), отрастивший окладистую бороду, но зато коротко стриженный, принимает гостей — профессора Уайтфилда, жену его Руфь, Диану, Гордона и Клэр. В городе, да и в самой квартире, жарко и душно. Единственное окно Кости распахнуто на задний двор, украшенный ржавым остовом

автомобиля и развешанным на веревках нейлоновым бельем соседей-итальянцев, чья быстрая перекликающаяся речь заполняет собою и собственную их квартиру с выходом на галерею, и весь двор, и даже, в значительной мере, Костино жилье. В отдалении уже добрый час заливается плачем чей-то годовалый ребенок Стульев нет, все пристроились прямо на полу, вернее, на вытертом персидском ковре, подобранном третьего дня на помойке предприимчивым хозяином Костя выставил две огромные бутылки калифорнийского, визитеры — водку и баранью ногу, которую разделявает Диана на ободранном кухонном столе: Клэр заплакана, остальные несколько подавлены — за исключением пьяненького Розенкранца, который, похохатывая, несет какую-то тарабарщину насчет того, как было их в Москве четыре мушкетера, вернейших, можно сказать, товарища

Наверное берет гитару и смеясь рассказывает как ее чуть не разломали в Шереметьево после рентгена бриллианты им почудились и то сказать едет на постоянное жительство а о собою только пара книг белье и ноты

что я сам я ничего вот и сплю на кухне как порядочный а вчера ну вчера не в счет и позавчера я просто не мог спать на кухне было подозрительно

здорово рассадил ногу мерзкий ботинок прямо испанский сапог какой-то

все-таки жестко и холодно

просыпаюсь рано-рано вспоминаю никогда

господи правый зачем ниспослал ты мне испытание это помилуй мя господи святой забери все оставь только покой награди покоем пронеси чашу сия господи грешен грешен я пред лицом твоим господи смрад источает душа моя но ты милостив ты всеведущ ты всемогущ я чист пред тобою господи я только слаб я даже подписывать ничего не хотел ничего ничего не хотел только покоя боже правый зачем ты подарил ее мне и тотчас отобрал зачем лучше убей меня боже я не подыму на себя рук ты знаешь но лучше убей чем так мучить

конечно слаб господи конечно слаб

не могу сразу разрывать все и не в корысти дело ну какая тут корысть просто жалость ведь она меня любит света и зачем умножать зло в мире разве мало его, и без нас ну если станем совсем-нестерпимо тогда но до самых последних сил надо держаться надо-а там постепенно не рубить же топором по живому

и никакого предательства кого я предаю разве что самого себя но пускай всем будет хорошо и спокойно а сам я как-нибудь перетерплю

какой серый рассвет

да чем севернее тем красивей закаты и рассветы

в кириллове всю ночь ловили раков на свет фонаря и иван ругался на чем свет стоит и наталя на него злилась а потом был рассвет и он ахнул от восторга иван

нет не хочу больше ничего вспоминать не могу лишь бы заснуть поскорее чушь какая ну хоть три часа поспать завтра зинаида дмитриевна через месяц партком и выездное дело уже начали но как же я сбегу какая глупость отца это убьет и мать тоже нет уж ежели она меня любит то пускай приезжает сама потом можно развестись и прочее а в визе могут и не отказать мы вечно все преувеличиваем а они небось попросту выбросили это письмо

а если нет

или бежать но сначала притаишься выглядишь лаинькой чтобы ни одна сволочь

а вдруг повезет вдруг забуду

холодная вода что же освежает разгоняет сон

губка такая мягкая струи бьет в лицо

вдруг все-таки засну хорошо бы а назавтра белую рубашу галстук

какое там завтра

день уже начался а крестя все играет на своей гитаре. потряхивая голову при каждом аккорде какие птицы в нью-йорке бог знает воробьи или диковины американские а здесь синицы и однажды снегирь с малиновой грудкой как на картинке из родной речи

птицы небесные

нет родная эта заповедь не по мне, что за добрый дяденька поднесет мне на тарелочке этот завтрашний день, коли сам не позабочусь

говоришь бог позаботится

спасибо он уже так обо мне позаботился по гроб жизни буду благодарен

как ненавижу всех

спать

Глава третья. — Мой авиабилет, краткий финансовый отчет, двенадцать — ой, вру! — восемь ваучеров, из них четыре двойных, все подшито и рассортировано. Чеки на дополнительные услуги я выписывал, как обычно, в отдельной книжке, вот она, со всеми копиями, два чека аннулировано. Сверь с извещением, Мариночка. Три раза транспорт в театр и обратно, сам театр, цирк, три банкета...

— Очень хорошо. Перерасхода нет?

— Наоборот, есть небольшая экономия на питании, рублей двадцать. А с гостиницами, сама знаешь, нигде теперь нет трехрублевых, по смете нам попоженных, номеров. Так что тут, разумеется, есть и перерасход.

— Но все подписано?

— Конечно, каждый писток.

Поскучав минут десять под пязг арифмометра, Марк расклялся с бухгалтером, вручив ей на добрую память пачку жевательной резинки и пакетик колготок от "Вулворта". Оставалось спуститься к Степану Владимировичу, настроичить чисто символический сводный отчет о поездке, всего страниц пять, а марковским мелким почерком — никак не более двух.

Знакомая обстановка Конторы, — стенгазеты с натужными карикатурками, расплывшиеся машинописные копии приказов на доске объявлений (Марку полагалась неожиданная премия почему-то в тридцать два рубля), колченогие стулья, даже душноватый канцелярский воздух, от которого, помнится, падал в обморок незадачливый герой "Процесса", — все это, против ожиданий, подействовало на Марка успокаивающе. Хорошо, когда зубная боль загоняет тебя, наконец, в кабинет стоматолога. Жужжит бормашина, поблескивают никелированные клещи — но больнее все равно не будет. Да и деваться особо некуда.

Самого Грядущего не было. Получив тетрадку от его коренного заместителя, Марк принялся за работу бойко, даже не без извращенного удовольствия. Никого не обидел переводчик Соломин, никого не забыл. Хэлен на каждом шагу превозносила достижения Советской власти, и чета Митчеллов дружно ей подпевала. Профессор Уайтфилд добродушно рассуждал о фундаментальных различиях между двумя системами, но неизменно заканчивал необходимостью разрядки. Коганы увозили подарки от брата, ни в чем подозрительном замечены не были. Мистер Грин фотографировал здание ташкентского аэропорта не по зло-

му умыслу, а от восхищения его архитектурой. Руфь на каждом шагу читала лекции о неравноправии полов в США и нашла, что в СССР достигнуто истинное раскрепощение женщины. Дантист уверял, что каждый вызов "Скорой помощи" обошелся бы ему в Штатах минимум в шестьдесят долларов, так что уколами, кислородом и врачебной помощью он едва ли не оправдал свою поездку ха-ха. Люси, по роковому заблуждению покинувшая родину, на каждом перекрестке рыдала от умиления.

Тут Марк призадумался. Скользко, ах, Господи, как скользко! И с Клэр что прикажете делать? Он не обязан, конечно, упоминать в отчете всех своих туристов. Смолчать — и крышка. Но вдруг уже лежит в сейфе у Грядущего пулковская телега? Для страховки, только для страховки, надо бы добавить пару строчек о "вызывающем поведении туристки Вогель, пытавшейся контрабандой провезти... учинившей... допускавшей и ранее..."

Нет.

Минут через сорок Марк уже названивал в дверь истоминской квартиры. После шорохов и поскрипывания Иван, в барском зеленом халате и тапочках на босу ногу, наконец отворил дверь, вяло пожал приятелю руку, дважды повернул ключ в замке и навесил цепочку.

— Где ты пропадал, дурья башка? — накинулся на него Марк. — На работе нет, дома нет... совсем в бабах запутался?

— Какие бабы. Ты зачем приехал?

— То есть как? С каких пор я должен это объяснять? Я и уйти могу.

— Извини, — сказал Иван все тем же деревянным голосом. — Не хотел тебя обидеть. Ты знаешь, что умер Владимир Михайлович?

— Господи помилуй...

— Да. Пошли в комнату. Прости за бардак. Умер, умер наш старик. Прах, собственно, его племянница уже увезла. И часть книг, а другую соседи разворовали. Пей. Я тоже тебя разыскивал по всему городу.

— Вечная память.

— Вечная память.

— Он успел узнать об Андрее?

— Может, это его и доконало, — вздохнул Иван. — Но умирал легко, чуть ли не во сне, и в гробу лежал, почти улыбался. Так и не написал своих воспоминаний. Между прочим, — ожи-

вился вдруг Иван, — он роскошный финт отмочил-таки под занавес. Ты слышал про его встречу с прозаиком?

— Да. А что?

— Выгнал он его, — сухо засмеялся Иван, — даже, говорят, в рожу плюнул из последних сил. Уж не знаю, долетело ли.

— За Андрея? — поднял глаза Марк.

— И не только. Я не поленился вчера в библиотеку сходить. Поднял там "Литературку" за тридцать восьмой год. "Студент Ч. был одним из тех, кого едва не завлекла в свои липкие сети грязная троцкистско-бухаринская банда шпионов и вырожденков, свившая свое змеиное гнездо в стенах ИФЛИ. К счастью, классовое самосознание помогло ему по-пролетарски принципиально подойти к вопросу... сыграть... важную роль в разоблачении бешеных псов международного фашизма..." Оч-чень вовремя сориентировался твой тестюшка. Дело давнее, а все ж хорошо бы как следует набить твоему родственничку морду. Лично я с наслаждением бы поучаствовал.

— Тебе нужно беречь себя, Иван.

— А на хуя? — вскрикнул Истомин. — Утомлен я, Марк Евгеньевич. Смертельно утомлен. Из института уволился. Почему? Долго рассказывать. Зато новая идея пришла в голову. Последняя. Больше идей не будет. Изящный такой замысел... ты пей, дружище.

— Мне на работу возвращаться еще.

— Не хочешь пить, так погоди, сейчас кофе принесу.

Кофе, сваренный с большим знанием дела, прихлебывали в молчании. Щадя больную ногу, Иван сидел, по обыкновению, как-то боком, почти не обращая на собеседника блудливых глаз.

— Адвоката наняли?

— Ефима Семеновича.

— Пронырлив, — определил Иван, — алчен, но довольно честен. Инна бегаёт по городу, тоже какие-то подписи собирает. Я не стал подписываться, — сообщил он хладнокровно, — не время еще. Что смотришь на меня, как солдат на вошь? Сам ведь тоже не подпишешь? То-то же. Обращение Костино я слышал. Подписались, в числе прочих, чуть ли не Сол Беллоу и Апдайк. А я зато могу деньгами, денежками могу поспособствовать. Расчет получил, премия подоспела.

Из потайного отделеньца в верхнем ящике комода он извлек пухлый конверт.

— Возьмешь?

— Спасибо, — недоумевал Марк, — сам-то ты на что жить будешь?

— Мне в тень надо уйти, Марк. Я теперь живу анахоретом, тихо-тихо, даже телефон выключил. Тебе свидание дадут?

— Обещали, — вздохнул Марк.

— Скажи, что я уехал. Много бы я дал, чтобы очутиться на его месте, — вдруг сорвалось у него с языка.

— Постой, — вдруг сообразил Марк, — как же твоя хваленая наука?

— Завязал, — сказал Иван. — Есть вещи поважнее. Надоело. Семинары к ебням собачьим, суды-процессы туда же. Знаешь, как было на фронте? Всякие там герои грудью кидались на танки. Танки шли дальше, а трупы героев штабелями сваливали в ямы. И поливали хлоркой — для дезинфекции. Терпеть не могу этого запаха.

Тут в дверь позвонили, потом еще и еще раз. Иван прокрался в прихожую и пристроился к дверному глазку. На четвертый звонок, впрочем, отворил, забрал у пожилой женщины-почтальона заказное письмо и огрызком карандаша где-то расписался. Захлопнул дверь, посмотрел на штемпель, хмыкнул, кинув конверт в раскрытый ящик комода.

— От Лены? — понимающе кивнул Марк.

— Из Сибири. Ладно, хватит обо мне. Ты тоже, смотрю, не в лучшей форме. Как съездил? Как профессор? Как вообще твои американцы?

Марк вздохнул.

— Поход в Мавзолей ты помнишь.

— Век не забуду.

— Клэр помнишь?

— Припоминаю. За версту было видно, что через пару дней она тебе непременно даст. Это и есть твоя роковая тайна?

— Иван, давай без шуточек. Я по уши влюбился.

— Поздравляю. Светка знает?

— Я не идиот. Свадьбу отложили из-за брата, но я, Бог свидетель, не смог бы прямо так сейчас... Да и вообще не знаю, смогу ли. Влип я, Иван.

— Ну, — Истомин заметно воодушевился, — еще раз поздравляю. Давай-ка все это дело обмоем коньячком.

Бутылке водки пришлось потесниться, и рядом с нею встала

початая, темно-зеленая, спрятанная до времени в книжном шкафу. Коньяк, правда, был дешевый и резкий, из тех, что в народе зовут клопомором.

Покуда эти двое на тринадцатом этаже бетонного кооператива в Теплом Стане наполняют стаканы, покуда по кольцевой дороге, вздымая едкую цементную пыль, сострашным ревом проносятся колонна военных грузовиков, и медленно, но с тем же ревом, ползут тягачи со строительными блоками; покуда придорожная рощица изнемогает от предосенней жары, и неподалеку от неэластичной бросается в грязноватый пруд одинокий купальщик; покуда вологодская племянница В.М., побряхтывая, лезет под кровать — показать забежавшей подруге урну с прахом московского дяди, которую все не удастся похоронить из-за бессовестных кладбищенских бюрократов; покуда профессор Уайтфилд, несколько поколебавшись, ставит свою подпись под обращением в защиту арестованного московского писателя и советует Розенкранцу тут же бежать на работу к Руфи, которая, конечно, тоже не откажется: покуда происходят, на фоне разливания коньяка и лихорадочного рассказа Марка, все эти занятые события, равно как и некоторые иные — например, болезненно исхудавший и наголо обритый подследственный Баевский, он же Михаил Кабанов, закуривает предложенную следователем сигарету, а потом в сотый раз повторяет фразу "я с вами вообще ни на какую тему разговаривать не собираюсь" — фразу совсем неписательскую, даже откровенно неуклюжую, а Инна трясется в троллейбусе по набережной Хорошево-Мневников, минуя дом, где некогда обитал с матерью Марк, грустно думая о том, как медленно собираются эти, в общем-то довольно бесполезные подписи... так вот, покуда все это имеет происходить, я возвращаюсь домой, ловя себя на том, что музыка, старательная спутница моего романа, начинает умолкать. И вольно бы ей сходить на нет, словно свет в зрительном зале перед началом спектакля — но увы, к ее уходу примешиваются непрошенные шумовые эффекты... да и вообще похоже, что — уж простите за технократический образ — ненароком выключился из сети проигрыватель, и плавная мелодия превращается в стремительно умирающий визг, хрип, стон.

Но я-то виноват в этом меньше всего, поверьте. Я возвращаюсь домой, одетый в коротковатую, но в целом вполне приличную брезентовую куртку защитного цвета, на искусственном негреющем меху. Липы и тополя еще совершенно голы, почва влажна,

по скверам и бульварам, не говоря уж о дворах, лежат подмерзшие пласты неопрятного снега. Ночь пронзительно холодна, а шарф я потерял еще зимой, так что приходится едва ли не бежать. Облака в высоте спокойны, но у самой земли нет-нет да и встрепенется поразительной силы ветер. Он заставляет меня протрезветь — правда, и выпил я сущую малость — и в то же время проносит по шероховатому асфальту прошлогодние сгнившие листья и обрывки чьих-то рукописей, а может быть, и писем. От быстрой ходьбы тело понемногу разогревается, и умирать мне больше не хочется, совсем напротив, становится любопытно наблюдать за нехитрым развитием весенней городской ночи, которая последовательно одаривает меня: марсианским силуэтом грузового трамвая, не совсем еще высыпавшейся папирсой, полученной у симпатичного, пусть и покачивающегося, прохожего, ослепительно ярким огоньком спички и, наконец, видом стоящей у моих дверей пустой винной бутылки. Почтовый ящик тоже пуст, но я вышел из возраста, когда свидания с ним ждут, словно встречи с возлюбленной. Я отношу дурацкую бутылку к мусоропроводу, захожу, наконец, в квартиру, ставлю чайник, пристраиваюсь на кухне — излюбленном месте для тех, кто боится открытых пространств — и, чуть сожалея о миновавшем хмеле, рассматриваю давешнюю фасоль, на днях-таки пересаженную из своего блюдечка в жестяную банку с оттаявшей апрельской землей. Нижние листочки моих растений что-то желтеют и сохнут, но, может быть, так и положено, во имя будущих листьев? во всяком случае, все три стебля упруго тянутся вверх, и музыка, похоже, понемногу возвращается, только до квартиры в Теплом Стане — где сам бы я, к слову, поселился с превеликим удовольствием, район не чета моему, занюханному — доносится едва ли. Там продолжается дерганый разговор между приятелями, вернее, Марк сбивчиво излагает свою историю, перескакивая с Самарканда на Ленинград, с Амстердама на Нью-Йорк, и с профессора Уайтфилда на мисс Хэлен Уоррен. Иван же знай поблескивает глазами, да вставляет какие-то междометия.

— Когда Андрей в свою Литву отчаливал, — сказал он наконец, — мы с ним пари заключили. На твой счет. Я говорил, что ты через год совершенно скурвишься и не будешь нам руки подавать. В лучшем случае два пальца.

— Хороши друзья.

— Как видишь, я промахнулся. И проиграл твоему брату бутылку. Он доказывал, что ты непременно откинешь какой-нибудь фортель, и не через год, а куда раньше. Вот сейчас бы ее и выкушать, а? Ты, небось, уже все варианты перебрал, обсосал, как тот Федя Моргунов — кошачью косточку. Так или не так?

Марк кивнул.

— И пуще всего, милый ты мой, тебе, разумеется, приглянулся самый старинный и удобный? Под названием статус-кво? Оттянуть, отложить, оставить лазейки, не жечь мостов? В добрый час! Забывай свою заокеанскую красотку. Не пиши. Не звони. Зубы сожми, — Иван оскалился, демонстрируя, как именно он советует другу сжать зубы. — Выживай, короче. Ты сумеешь! Ты ведь жизнь любишь почти как я, не ошибаюсь?

Марк снова вздохнул.

— Вот и живи. Через два-три года сам себя не узнаешь. Нравится мой совет? Не очень? Тогда другой. Не лезь дальше в эту паутину. Бросай все. Начинать сначала. Увольняйся. Пошли на хуй свою Светку. Будущим летом устройся в экспедицию, да и давай деру через афганскую, скажем, границу. Ведь других путей смотаться у тебя нет?

— Ну, — пробормотал Марк, — куда же я из Конторы... Сирия... Калькутта...

— В таком случае разговор окончен. Еще вопросы есть?

— Зашел бы к адвокату со мной завтра.

— Не могу.

— Послезавтра.

— Послезавтра, — повторил Иван, — хороший день... но я, может быть, уеду... да, уеду... ты ко мне зайди с утра, отпросись с работы. Вот ключ. Если меня не будет, оставлю записку.

— Ты-токуда? — встревожился Марк.

— План, план у меня созрел, — Иван закурил сигарету и немело затянулся. Раздался надрывный кашель, на глазах у него выступили слезы. — Времени требует. Завтра вечером отбуду. Слухам обо мне не вздумай верить. Уеду далеко, но ненадолго, или лучше так: недалеко, но надолго. Притомился я, Марк, не ты один у нас страдалец. Желаю к синему морю, в маске плавать, ракушки собирать, рыбку из подводного ружья постреливать, девочек трахать под шум прибоя, — приговаривал он, почти выталкивая Марка в прихожую, — ступай на службу, и бабу свою не забывай, я худого не посоветую...

Глава четвертая. Кабинет Зинаиды Дмитриевны Остроуховой, начальника Отдела англоязычных стран, столь же невелик, как комнаты переводчиков, да и обстановка его немногим богаче. Стол Зинаиды Дмитриевны живописно завален письмами и открытками из-за рубежа, деловыми бумагами, скрепками, ластиками, шариковыми ручками и прочей приятной канцелярской ерундой. В жаркие дни, как, например, сегодня, под потолком лениво вращается огромный вентилятор, а окно раскрыто все на ту же площадь Революции — впрочем, в него виден и красный кирпич Музея Ленина, и Могила неизвестного солдата, и даже кусочек площади Пятидесятилетия Октября.

Косые лучи заходящего солнца били Марку прямо в глаза. Покуда он ерзал на стуле, пытаясь от них отвернуться, Зинаида Дмитриевна бесстрастно перебирала свои бумаги. Степан Владимирович Грядущий, скрипнув дверью за спиной у Марка, решительно направился к столу в глубине комнаты — с полдороги, впрочем, вернувшись, чтобы повернуть сиротливо торчащий в замке никелированный ключ. В руке он держал тетрадку с отчетами переводчика Соломина. Тут только Марк заметил, что рядом с Зинаидой Дмитриевной стоит припасенный загодя пустой стул.

— Марк Евгеньевич, — она отложила столь занимавшие ее бумаги, — вы, конечно, догадываетесь, зачем мы вас вызвали.

— Нет, Зинаида Дмитриевна, — отвечал он простодушно, — но если насчет отпуска, то я бы обошелся парой отгулов, прямо сейчас, а потом готов... У меня накопилось за работу с этой группой...

Он полез в сумку за блокнотом.

— Депо не в отпуске, — предупредила его движение Остроухова. — К сожалению, дело гораздо серьезнее.

— Чуть не уголовное дело, — проскрипел Грядущий.

— Что вы, Степан Владимирович, — Марк принял вид оскорбленной невинности. Главное — поскорее выведать их козыри. Про ресторанные махинации они знать не могут... что же тогда... чаевые...

— Товарищ Соломин! — торжественно начала Зинаида Дмитриевна. — В распоряжение отдела поступил ряд документов, связанных с вашей последней командировкой. С группой РАШН АДВЕНЧЕЗ. Мы просим от вас разъяснений. Вы наш кадровый проверенный работник, Марк Евгеньевич. И я от души надеюсь,

точной, мне хочется надеяться, что мы столкнулись лишь с запутанным недоразумением, а не с...

Высоко-высоко поднял брови Марк, и плечами пожал с живейшим недоумением.

— К делу, товарищ Соломин. Прежде всего, еще в прошлую пятницу на вас поступила жалоба из Сочи. Капитан Зубарев сообщает, что вы нарушили его распоряжение, уклонившись от написания спецотчета о туристе Уайтфилде. Из чемодана которого была при перелете изъята антисоветская литература. И так?

— Откуда же мне было знать об антисоветской литературе? — поразился Марк. — Что, капитан, решил со мной в жмурки играть, что ли? Не из пальца же мне было высасывать этот спецотчет. Тем более, все данные я сообщил местной переводчице. А у меня просто выскочило из головы. Один турист тяжело болел, я практически не спал в Сочи. Хотя вины своей не отрицаю, Зинаида Дмитриевна.

— Халатность, конечно, вопиющая, — почти ласково сказала Зинаида Дмитриевна, — но не преступная. А теперь, Марк Евгеньевич, будьте любезны... вот вы пишете, что чрезвычайных происшествий не отметили. А что все-таки произошло на ленинградской таможне с туристкой Вогел. Заодно и охарактеризуйте нам ее моральное и политическое лицо.

— Фогель, — поправил Марк.

— Допустим. Так что же, повторяю, произошло на ленинградской таможне?

— Ничего особенного.

— А товарищи из Ленинграда сообщают другое. Докладывают, что так называемая туристка Вогел, будучи платным агентом ЦРУ, пыталась нелегально переправить за рубеж клеветническое "заявление" одного недавно арестованного диссидента, а также "протест" по поводу его ареста, подписанный группой ленинградских фарцовщиков и тунеядцев. Информировать, что "протест" был передан ей некоей Натальей А. чуть ли не в вашем присутствии. В гостинице "Ленинград". Кому же нам верить, товарищ Соломин?

— Выгораживаешь ты эту Вогел, Соломин, — отрубил Степан Владимирович. — Почему в отчете о ней ни слова? А?

— По недосмотру, товарищ Грядущий, только по недосмотру. — Марка, обрадованного отеческим "ты", вдруг понесло. — Разумеется, Зинаида Дмитриевна, тут я виноват, да, целиком моя

вина, недоглядел, утратил бдительность. О факте получения письма от Натальи А. не знал, не мог знать. Что конфискованный материал был антисоветский, тоже не знал, она утверждала, что это письмо родным, хотя было при мне, да. Морально-политическое лицо не имел возможности выяснить... женщина неожиданная, непредсказуемая, истерическая, много скандалов по поводу обслуживания, капризов... рад был от нее избавиться, тут же забыл, запямятовал, у меня и в мыслях не было ее, как вы метко выразились, выгораживать... да и зачем бы?

— Вот именно зачем бы? — спокойно молвила Зинаида Дмитриевна. — Давайте разберемся и в этом. Ознакомьтесь, Марк Евгеньевич.

Она протянула подскочившему Марку три рукописных страницы, но, поколебавшись, отдала только одну, среднюю.

Писано было по-английски, аккуратным округлым почерком. И сочинял, конечно, носитель языка — все артикли и предлоги на месте.

"...повторить, как я бесконечно счастлива была оказаться в такой замечательной, дивной, чудесной, такой передовой стране, так что моя критика отдельных недостатков — это не злопыхательство, а лишь стремление от души вам помочь, чтобы еще больше улучшить то впечатление, которое простые американцы увозят в свою социально недоразвитую страну капитала. Во-вторых, вызывает огорчение отсутствие воды со льдом, моего любимого напитка в летнюю жару, в большинстве ресторанов. В-третьих, молодые переводчики Конторы, это очень самоотверженные патриотические юноши и девушки, прекрасно владеющие английским языком, но и тут случаются недостатки тоже. Вот яркий пример такого недостатка, это наш переводчик, назначенный еще в Москве, и всю дорогу нас сопровождавший. Поначалу он вел себя образцово, и как пропагандист, и вообще как приятный, исключительно обаятельный молодой человек. Что же случилось, когда мы выехали из Москвы? Он переменялся! Он сблизился с одним буржуазным профессором и одним очень циничным эксплуататором бизнесменом, они вечерами напивались пьяные, а меня не приглашали почти никогда. И главное, он еще "подружился" с одной молодой дамой, с немецкой фамилией, но на самом деле дочерью контрреволюционных эмигрантов-коллорационеров из России, много рабочего времени разгуливал с ней под ручку, а в Ленинграде они оба исчезли на целых три

дня, группа была очень недовольна, и автобус он забыл заказать. В-четвертых, гостиница в Самарканде, где так много исторических монументов, замечательная, но лифты очень медленные...”

Тут страничка обрывалась.

— Ну-ка, переведите, Марк Евгеньевич, — повелительно сказала Остроухова. — Для Степана Владимировича. Вы ведь отлично, помнится, умеете переводить с листа. Так? Или вам помочь?

Марк молчал. Увы, ничто не волновало его в этот момент, кроме спасения собственной шкуры.

Но если среди отрехшихся был даже Петр, если даже он не дождался петушьего крика и не успел согреть тронутых смертным холодом рук у ночного костра, то чего же, Господи, хочешь ты от грешных нас и от этого очкастого мальчика с платком, щегольски повязанным вокруг шеи?

— Клевета, — сказал он наконец. — Эта дура просто приревновала меня к остальным туристам.

— “Эта дура”, — сказала Остроухова, — ответственный сотрудник “Коммунистического завтра”.

— Клерк она в отделе доставки, а не сотрудник, — огрызнулся Марк.

— Член компартии США с 1956 года.

— Что с того? — взбеленился Марк. — Да неужто шизофреникам трудно вступить в эту их партию? А с этой Клэр...

— С какой Клэр? — быстро спросила Остроухова.

— Ну, с туристкой Вогел. Я с ней вообще никаких дел не имел. Если верить всякой жалобе от клиентов, — добавил он почти обиженно, — наша Контора развалилась бы. И очень скоро.

— Мы обычно и не верим, — вмешался Грядущий. — Но не только в письме загвоздка. Тут, парень, гораздо серьезней. Скверные у нас на твой счет подозрения. А ты и цидулки паршивой перевести не желаешь...

В эту минуту в дверь постучали, чернявый Коля из Первого отдела протянул Степану Владимировичу телетайпный бланк — всего в несколько строк — и исчез. Пробежав текст глазами, Грядущий вдруг побагровел, и не то что отдал листок Остроуховой, а прямо-таки метнул его на стол.

— Сволочь, — вдруг пробасил он.

— По... почему? — запепетал Марк.

— Сам знаешь, гнида, — наливался кровью Степан Владимирович, — сам все понимаешь, не зырь тут на меня голубыми глазками. Добрая нынче стала Советская власть, а будь моя воля, я б тебя в расход вывел еще раньше, чем твоего братца. Ты хуже шпиона, Соломин, ты предатель, мы таких в войну расстреливали перед строем, ты власовец! — орал старик, брызгая слюной. — В партию пролезть хотел, Иуда! Отчеты! Семинары! Задушевные разговоры! И я же его, паскуду поганую, в партию хотел рекомендовать... характеристика...

— Вы так разнервничались, Степан Владимирович, — забеспокоилась начальница. — Не стоит эта мразь таких волнений. Выпейте воды.

А виновником всего скандала овладело нечто вроде болевого шока. Пока отпаивали Степана Владимировича, он хладнокровно размышлял о том, как бы ему половчее и поскорее уйти из этого неприятного места. Телетайп, очевидно, сообщал, что Баевский, арестованный диссидент, является Соломину М.Е. родственником, сводным братом по отцу. Добавлю от себя, что это ценное открытие органы сделали безо всяких усилий — по записке при денежном переводе из Ташкента.

— Я бы подвел итоги, — Степан Владимирович застегнул верхнюю пуговицу рубашки, поправил галстук. — Но лучше это сделать вам, Зинаида Дмитриевна, как непосредственному начальнику бывшего переводчика Соломина.

— Долго еще придется распутывать всю эту грязь, — заметила Зинаида Дмитриевна, — но насчет бывшего переводчика вы выразились очень удачно. Я лично составлю ему при увольнении со-от-вет-ству-ющую характеристику.

— Волчий билет? — спросил Марк бесстрастно.

— Если вам угодно, — взвизгнула начальница, — если вам угодно так называть характеристику, которая отразит многократные грубейшие нарушения служебной инструкции о контактах с иностранцами, соучастие в провокационной антисоветской выходке, вступление в аморальную половую связь с агентом ЦРУ — то да, волчий билет! Гарантирую вам, Соломин, что вы больше никогда в жизни не будете работать по специальности. Постараюсь.

— Я бы и сам давно ушел, — сказал Марк. — Да вы же дверь закрыли.

— Молчать! — снова взорвался Степан Владимирович. — Встать! Встать! Я кому говорю, суочь вымя!

— Заткнись, старый хрен, — посоветовал Марк с невыразимым наслаждением. — Заткни хлебало. То-то же.

Он поднялся, подошел к двери — ключ по-прежнему торчал в замке — и прислонился к ней спиной. В ушах у него гудело, колени тряслись. Легко обругать в коридоре беззащитную Марию Федотовну, а каково знать, что по селекторному сигналу тут же явятся бойкие спортивные ребята из подвала. Сначала сами поработают, потом в милицию доставят.

— Что же вам, друзья мои разлюбезные, сказать на прощание? — начал он задумчиво. Вы, Зинаида Дмитриевна, балаган тут устроили. Доносы, телетайпы, риторика идиотская: моральное разложение, провокации, инструкции... иностранцы... Плевать я хотел на вашу инструкцию. Я, знаете, полюбил женщину. Может быть, впервые в жизни. А вы ее у меня отобрали. Вы, в смысле ваша власть. Брата любимого в тюрьму посадили безвинно. Я за него вступиться хотел — вы же на меня кидаетесь, словно псы. Сколько же мне еще на брюхе перед вами пресмыкаться, подумайте сами? Двадцать семь лет, пора и честь знать. Конечно, я вам враг. И тебе, Остроухова, и тебе, Грядущий, и этому, — он махнул рукой на парадный портрет вождя на стене, — тоже враг. Вы вообще не люди. Так, нежить, гниль болотная. Так и подохнете, в смраде душевном, без любви в сердце, а ты, Степан Владимирович, раньше всех. Паскудный ты мужичонка, Грядущий! Одна фамилия чего стоит — сам же небось выбирал, а? И кем бы ты был при другой власти? Пивнушку бы содержал... а то негров по ночам вешал... или евреев...

Зинаида Дмитриевна завизжала, Грядущий сунул было руку к селектору — и вдруг обмяк, осел, расплылся — и покуда у него по карманам выискивали валидол, Марк распахнул дверь и был таков. Через несколько секунд его уже не было в Конторе, а еще через некоторое время он затерялся в толпе пассажиров метрополитена.

Глава пятая. По спирали, по незримой нитке облака вечерние плывут. Там у них и времени в избытке, и пространства куры не клюют. А у нас над городской свалкой вьется ночь, и молодости жалко, и душа остывшая темна. Скверные настали времена.

Впереди — серебряные воды. Обернешься — родина в огне.

Дайте хоть какой-нибудь свободы, не губите в смрадной тишине! Глинистый откос. Шиповник тощий преграждает путь. В пустой руде воздуха и гибели наощупь человек спускается к воде. Не надолго он у кромки встанет, на секунду Господа обманет — и уйдет сквозь гордость и вину в давнюю, густую глубину...

На том берегу Химкинского водохранилища золотился в прожекторных лучах шпиль речного вокзала, блистающий пароход подплывал к пристани, распространяя, как водится, звуки вальса и женский смех. А на тушинской стороне близилась осень, чувствовалось, что молодым ивам и березкам недолго осталось шелестеть листвою на слабом ветру. Марк подставил лицо этому ветру и заплакал. Как случайно и бездарно кончалась жизнь. Полосами и пятнами шли по воде отражения звезд и городских огней, шептались на отдаленной скамейке влюбленные.

"Права Зинаида, никто меня работать теперь не возьмет. Хер с ними. Розенкранц оставил кое-каких телефонов, буду переводить. Или в сторожа пойти?"

Он присел на сырую скамейку у самой воды. Свежело. К пристани подплывали новые пароходы.

"Андрея мне Светка простила. И цена была невелика — понижаться перед ее папашей. А вот Клэр она мне простит вряд ли. И за человека с волчьим билетом, пожалуй, не пойдет. Но все равно, не жить нам с нею".

"Кто же виноват во всем? Розенкранц? Андрей? Клэр? Сергей Георгиевич? Как же так вышло?"

Пора было уходить с этого бедного берега, пора звонить в поисках ночлега. К матери не хотелось. Ивана не оказалось дома. Он снова запихал в автомат монетку и набрал номер Светы. Никого.

Он зажег свет в пустой и гулкой квартире. Постель оказалась убранной, комната — тоже. На веревках, пристроенных им в ванной, развешано белье, в том числе две его рубашки. Прачечной Света не доверяла, стирала сама на старенькой машине, вечном источнике огорчений. Белье завязывалось в узел, насос отказывал. Шутливо чертыхаясь, вычерпывал Марк из машины мыльную воду сначала ведром, потом кастрюлей и, наконец, кружкой.

Хорошо здесь было.

За чаем на кухне Марк принялся размышлять, куда везти вещи. И куда отправиться их хозяину. Мелькнула у него, конечно,

и мыслишка попытаться все уладить, исправить и спустить на тормозах, но немедленно была отставлена за неосуществимость.

Убежавший чайник залил не только плиту, но и чисто вымытый пол. Нагнувшись с тряпкой. Марк обнаружил под столом записку, сдутую сквозняком из раскрытой форточки.

"Марк, — писала Света, — я на даче у отца. Мне звонила Зинаида Дмитриевна. Ты сам, конечно, понимаешь, что между нами все кончено — и навсегда. Мне больно признаваться в том, что я тебя, несмотря ни на что, до сих пор люблю, но мы слишком разные люди. Ты оказался, вдобавок ко всему, еще и подлецом. Я не злая женщина, я многое могу простить — но предательства не могу. Ты меня предал. Особенно вчера ночью... да что там говорить... Ни объяснений, ни оправданий мне от тебя не нужно. Мне гораздо больше, чем тебе".

Ц, написанная по ошибке начальная буква слова "целую", была зачеркнута. Подписи не имелось.

Разрыв.

Поэтов он вдохновляет на стихи, неврастеников — на самоубийства. Сцены ревности, слезы, обвинения и прощения, взлеты страстей.

Вовсе нет. В конце концов, разрыв — это собрание маек и штанов, поиски жилья, покупка новой кухонной утвари и постельного белья, не унижаться же до уноса общих наволочек и сковородок. Вероятно, смертная казнь так и остается для осужденного призраком — кошмарным, кровь вжилахледенящим, но все-таки призраком — до тех пор, покуда не входит в камеру тюремный парикмахер, чтобы остричь ее обитателя в целях деловых, и побрить — для вящего благообразия, и кожа на шею вдруг чувствует никелированный холодок ножниц... а в дверях, кто с постыдным любопытством, а кто и с привычным равнодушием, толпятся: охранники, врач, священник, журналисты... и начальник тюрьмы вносит поднос со знаменитым завтраком, то бишь куском вареной говядины, свежим хлебом и предусмотрительно откупоренной бутылкой вина, в которую не менее предусмотрительно намешана уже какая-то наркотическая дрянь...

И откуда это? из каких французских романов?

Вещи Марк оставил в вокзальной камере хранения. "Вот ты и свободен, — думал он, сгорбившись на скамейке у ног чугунного Горького. — Свободен, насколько позволено судьбой".

В девятом часу вечера он оказался, трезвый и мрачный, у

баптистской церкви. Евгений Петрович вышел из церкви едва ли не позже всех.

— Здравствуй, отец.

— Здравствуй, сын.

Когда через четверть часа отец с сыном брели к Трубной площади, Евгений Петрович, морщась, рассказал Марку, что снова виделся с адвокатом, что свидание — когда кончится следствие — все-таки разрешат, по крайней мере ему, Евгению Петровичу, а кончается оно скоро, и завтра можно будет передать продуктов.

— У меня много всякого в авоське, — вздохнул Марк. — Колбасы копченой два кило. Сыр. Мыло. Орехов купил на рынке, Андрей их любит. Деньги принес. Своих немного, да от Ивана две сотни.

— Орехов нельзя. Колбасы не больше килограмма. За деньги спасибо. У тебя самого-то осталось? Все-таки свадьба, командировки. А?

— Хватит мне. И к тому же две сотни-то не мои, я же сказал. Иван пожертвовал.

— Этих денег, пожалуй, я покуда не возьму.

— Ты что?

— Инна сегодня заходила. Один из их компании получил письмо от Якова. Из лагеря. Твой Иван... в общем, и с теми ребятами, и с Андреем... ну, сам понимаешь...

Марк остановился посреди бульвара, чуть не выронив свою авоську.

— Вранье! — выкрикнул он. — Вранье! И письма никакого не было! Отец, ты же взрослый человек, что ты-то поддаешься на такое? Он просто отказался на них работать, и они ему мстят, злобу срывают!

— Не кипятись, сын. — Евгений Петрович смотрел спокойно и тоскливо. — Я же не спорю, я только повременить хочу. С тобой-то что, милый?

По возможности коротко и бесстрастно изложил ему Марк всю историю, включая и вчерашние события в Конторе. До Светиной записки дошел черед, когда они уже сидели у Евгения Петровича за чаем и нехитрой закуской. Ел Марк с жадностью: с утра во рту у него не было ни крошки.

— Бедный ты мой, — сказал наконец Евгений Петрович и поцеловал сына в лоб. — Я-то думал, хоть у тебя все хорошо.

Дети мои, дети... Чем помочь тебе? Поживи у меня, хочешь?

— Спасибо. — Марк оглядел каморку, где поставленная на ночь раскладушка поглотила бы едва ли не все свободное пространство. — Сегодня переночую, а завтра сразу к Ивану. Поживу пока у него. Там и отыщу что-нибудь. Плохо мне, — начал он, помолчав, — очень плохо, отец, никаких сил больше нет. Ничего не понимаю, только вижу — жизнь кончилась. Послушай, — он снова помедлил, — помоги мне. Ты, говорят, святой. Есть у тебя что-то, мне недоступное. Поделись. Выть хочется. Не могу больше.

Снова поцеловал сына в холодный лоб Евгений Петрович.

— Ты проповеди ждешь? Блаженны страждущие, ибо они утешатся? Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное?

— А что, разве не так?

— Есть одна умная книга, — сказал Евгений Петрович, — там сказано, что виноват каждый — и за всех.

— Не тычь ты мне в нос свои книги! — рассердился Марк. — Я их много читал, и Достоевского твоего наизусть знаю. Тоже мне, моралист. Нижнее белье жены на рулетке просаживал, от кредиторов за границу бегал. О границе, кстати, — он вдруг успокоился, — я в Ереване твоего протеже встретил. Его на другую заставу перевели.

— Он мне писал. Твоя Клэр точно не сможет больше приехать?

— Точно. Забыл сказать тебе, она тоже что-то вроде верующей. Порою страшно терзалась тем, что изменила мужу. Я над ней подсмеивался, впрочем.

— А говоришь, за тобой грехов не числится. Ее Уильям тоже, наверное, хотел бы отвечать только за свои, а не за чужие. Марк, милый ты мой, как ты не видишь, что нет в мире твоей собственной, отдельной от других, свободы. Пойми, ты ничем не лучше других людей — живущих, умерших, неродившихся. У тебя нет ни на йоту больше прав на счастье, чем у них. А ты все тянешься к нему, к земному, будто до горизонта хочешь добежать. Неужели ты до сих пор слеп? Господь Бог показал тебе ничтожество твое, показал, что вся твоя философия, как и моя давняя, никуда не годится. Но он никогда, никогда не наказывает бесцельно, он насылает не только боль, но и что-то новое, бесценное. Что осталось у тебя теперь?

— Любовь, — сказал обескураженный Марк.

— Пройдет.

Евгений Петрович взмахнул рукою, и на безымянном его пальце блеснуло тонкое обручальное колечко.

— Любовь к женщине всегда проходит. И тебе никогда больше не увидать твоей Клэр, забудь о ней. Все пройдет, только истина останется, жизнь останется, а ты бродишь вокруг нее и не хочешь к ней приблизиться. Я не про Бога говорю, — спохватился он, — до него ты и вовсе не дорос... и все-таки...

— Вижу, к чему ты клонишь, — сказал Марк не без яда. — Путь к истине, понимаешь ли, лежит через страдание. Но зачем мне-то страдать? Я хочу выжить, выжить, выжить хочу всеми возможными средствами. Я ужасно люблю жизнь, отец. И вовсе не какую-то особенную духовную, черт с ней, а самую обыкновеннейшую, солнце, море в июле, музыку слушать, понимаешь, ну, прости, тряпки даже люблю хорошие, выпить люблю, и почему я должен в этом оправдываться, милый? Мне страшно все это потерять, я молодой, я женщин люблю, как тебе объяснить...

Тут Евгений Петрович вдруг рассмеялся — негромко и беззлобно.

— Дурачок. Если ты так сильно выжить хочешь, в этом, в твоём толковании — музыка там всякая, море, солнце — зачем же на начальство кидаться, а? Ну, что улыбаешься? То-го же Балбес. Принеси-ка раскладушку из кладовки, ладно? Только потише. Разбудишь соседей — назавтра шуму не оберешься.

Глава шестая. От метро к зоне отдыха близ истоминского дома ходил рейсовый автобус. Пассажиры везли раскладные стульчики, газированную воду, снедь и надувные матрацы. Никому не было дела до несчастий Марка. Позвонив для верности в дверь, он отпер замок приятно холодящим пальцы ключом. В квартире стояла духота. На столе красовалась недопитая бутылка дагестанского коньяка, под разбросанной постелью валялся кружевной женский лифчик.

"Неужто и впрямь смотался?" — недоверчиво подумал Марк. Но чемодан оказался на месте, рюкзак тоже. Что же до обещанной записки, то в верхнем ящике комода, среди старых писем, использованных самолетных и железнодорожных билетов, газетных вырезок и клочков, испещренных загадочными цифрами, он действительно отыскал заклеенный конверт с надписью "МАРКУ СОЛОМИНУ". К большому, страниц в шесть машинописи

письму прилагалась краткая записка. "Марк, — гласила она, — поручаю тебе прилагаемый документ. Распорядись по своему усмотрению. Иван".

"Находясь в здравом уме и трезвой памяти... так начинают завещания, а не заявления, но это, может, и есть завещание... я, Истомин Иван Феоктистович, старший научный сотрудник, правда, бывший, НИИ "СВЕТ", кандидат физико-математических наук... впрочем, все это чушь. Считаю своим долгом составить приведенное ниже разъяснение. Ввиду трагических событий, которые будут иметь место в ближайшем будущем. Или уже произошли, в смысле к моменту чтения.

В связи с тем, что обидно отправляться на тот свет, не оставив никаких разъяснений. Особенно в связи с большим общественным резонансом, который вызовет осуществление моих планов. Пускай все знают.

Для многих, включая моего друга Марка, первым читающего это письмо, мое сотрудничество с КГБ будет неприятным сюрпризом. Обязан разъяснить все лично во избежание искажений. Сотрудничества, в сущности, не было. На этом — настаиваю.

У меня есть свои твердые принципы. Не такие, правда, как у некоторых чистюль, которые, боясь замараться, перестают подавать руку человеку с другими принципами. Как и произошло, например, на похоронах Владимира Михайловича Зверина.

От кого, спрашивается, исходят порочащие мое честное имя гнусные слухи? Особенно после ареста Глузмана и Лобанова и после письма, якобы переданного из лагеря? Слухи, что с момента основания семинаров я был провокатор и агент?

Ложь. Дезинформация, инспирированная советским гестапо.

Я сыграл не последнюю роль в движении за Возрождение России. Семинары под моим руководством в разное время охватывали около сорока человек. Это был зародыш настоящей революционной организации. Я вел широчайшую агитационную работу по подрыву и ослаблению режима. Размножал демократическую литературу ("Архипелаг", три номера "Хроники", книги Авторханова и др.). Распространял ее, несмотря на опасности. Организовал сбор материальной помощи политзаключенным, включая враждебных нам деятелей "конституционного" толка. Помогал левым художникам. Мало кто может представить себе подлинные масштабы этого нелегкого и самоотверженного труда.

Зато широко известна история с надписями. Я считаю, мы до-

бились успеха. Взбудоражили общественное мнение. В западные газеты соответствующая информация не попала, но нашей вины в этом не было.

По глупейшей случайности участники акции протеста были арестованы.

Беспорные улики предъявил Горбунов и против меня. Фотографию, отпечатки пальцев. Предупредил, что дело все равно пойдет как чисто уголовное, поддержки с Запада ждать не приходится, да и внутри страны никто на защиту хулиганов не встанет. Дал мне понять: одного из нас они могут освободить. При наличии доброй воли.

От меня не требовали показаний против арестованных. Гарантировали, что не будет никаких очных ставок. Не требовали данных и о семинарах. Я проговорил с полковником два часа. Говорил и об арестованных, но что? Я всеми силами старался их ВЫГОРАЖИВАТЬ, а не топить. Что было, согласитесь, почти невозможно. Меня выпустили. Взяли подписку о неразглашении.

Пусть распространители грязных обо мне слухов попробуют сами оказаться в таком положении.

У меня появился шанс.

Попав в лагерь, безвозвратно погибла бы моя научная работа, которая уже почти привела к созданию принципиально нового типа лазеров. Непоправимый ущерб был бы нанесен и возможному возобновлению деятельности семинаров. А что бы я выиграл? Написал бы мемуары об условиях в советских концлагерях? Их и так предостаточно.

Я искренне, подчеркиваю, защищал Лобанова и Глузмана. Я выставлял зачинщиком Розенкранца, которому уже ничего не грозило так или иначе. Горбунов мне верил. Обещал смягчить наказание подследственным.

Он обманул меня. На следующей встрече заявил, что вскрылись новые обстоятельства. Дал прослушать несколько пленок. Видимо, на семинарах действительно имелись стукачи. Или хотя бы один.

Попав в ловушку, я решил, в свою очередь, провести своих противников. Да, меня заставили кое-что подписать. Обязательство докладывать, подписку, что я не буду передавать сведений о Глузмани и Лобанове на запад. Я сообщал информацию о некоторых участниках семинаров. Но картину искажал. Намеренно и постоянно.

Советую задуматься над этим.

С начала до конца мое "сотрудничество" с большевистской тайной полицией было только ловкой игрой. Максимум того, что я сделал плохого — не организовал кампании в защиту арестованных Глузмана и Лобанова. Поначалу не хотел рисковать из-за подписки. Потом моя попытка передать материалы на Запад провалилась. Следующая была еще неудачней. После встречи с профессором Уайтфилдом меня задержали и пригрозили 64-ой статьей..."

"Вот оно что! — скрипнул зубами Марк. — Вот почему пропал профессорский чемодан! Ну и артист! Ну и гнида!"

"...конфисковали подаренные им восковки, продержали четыре часа в одиночной камере. Предупредили, что не потерпят двойной игры.

О Баевском и его романе. Авторство установили практически без моего участия. Из намеков Горбунова я понял, что у них действительно есть свой человек в "Рассвете". Я сказал, что Баевский прозы вообще не пишет. Да, я им сообщил кое-какие факты, использованные впоследствии обер-лакеем, так называемым писателем Ч., в его гнусной статье. Но все это легко бы узнали и без меня.

Как видите, я совершенно честен. Я предупредил Баевского о грозящей ему опасности, конспиративно. После ареста сообщил о нем в Ленинград. Несмотря на опасность.

Все это мне надоело.

Приступаю к осуществлению своего плана. Меня затравили. Меня выжили с работы. Ничтожества, подонки, вчера еще воровавшие у меня научные идеи, объявили мне так называемый бойкот. Со дня на день меня могут бросить в застенки Лубянки. Могут убить или искалечить. Им удалось меня скомпрометировать. **Плевать. Но все это донельзя пошло и тоскливо.**

Да, по'шло! Жизнь разменивается на мелочи. Не желаю пускаться в философию. Лень, да и почему я должен выворачиваться наизнанку перед всякой сволочью. Доказывают не словами, но поступками".

"И этот набивает себе цену, — думал Марк, — к чему бы только? Не повесился же он, в самом деле!" На всякий случай он заглянул в ванную — и никакого мертвого тела с высунутым багрово-синим языком, конечно, не обнаружил. Жив, жив Иван, только к чему же он клонит?

"Не вижу дальнейшего приложения своим силам. Распространяющие сплетни обо мне пусть прикусят свои грязные языки, иначе горько пожалеют. Берусь доказать свою правоту. На весь мир. Не хочу лишь превратного толкования. Никакой вины я не искупаю. Ее и не было.

Поручаю этот документ Марку Соломину. Если же он, не Марк в смысле, а документ, попадет в лапы ГБ, то пускай знают, что они обречены. После того, как Иван Истомин покажет, на что он способен, начнется взрыв по всей России. Развалится все, пускай и не сразу. Благодаря мне.

Ждите".

На этом ублюдочный "документ" и заканчивался. Полно, не розыгрыш ли? Не вбежит ли в квартиру Иван, надрываясь от хохота? Нет, если и шутка, то прескверная. Марк снова бросился к комоду, разыскать полученное давеча письмо "из Сибири". Вскрытый конверт лежал в самом низу и содержал в себе отнюдь не политое слезами послание старушки-матери, не мудрые наставления отца, не просьбы жениться и не голубиное воркование. Содержал он самую прозаическую, на дрянной серой бумаге повестку, призывающую гражданина Истомина И.Ф. явиться сегодня к 9.30 утра на улицу Дзержинского, в приемную КГБ. Подписана была повестка полковником Горбуновым.

Не врал.

Зимой, когда до самого горизонта лежали плотные снега — изредка оживляемые серыми и черными пятнами деревень, да еле заметными спичечными коробками дальнего подмосковного городка, вечерами испускавшего зеленоватое слабое зарево, — зимой у Ивана было довольно тихо. В летние же месяцы гул кольцевой дороги мешался с криками детей у подъезда, с радиомузкой из открытых окошек, с лаем выводимых на прогулку пуделей и терьеров. Сквозь эти-то звуки и уловил Марк еле различимый скрип металла. Кто-то осторожно пытался повернуть ключ в замке, закрытом изнутри на собачку. Сквозь дверной глазок он увидел на лестнице озадаченного хозяина квартиры. Потрудившись еще над замком, Иван дважды нажал кнопку звонка.

— Ты давно в квартире? — быстро спросил он. — А я в магазин выбежал, — он взмахнул авоськой с двумя бутылками молока. — Обычно-то молоко у нас в пакетах, знаешь такие, за шестьдесят копеек, а тут вдруг завезли в бутылках. Поразительно!

Он повесил в шкаф свою плотную, не по сезону, синюю куртку.

— И на вокзал с утра съездил, — тараторил Иван. — Решил повременить с отъездом. Вчера вечером валяюсь тут с Лариской, включаю, понимаешь ли, ящик, и диктор, хамская рожа, сообщает, на юге, мол, дожди. Циклон из Турции, черт бы его взял. Говоришь, давно пришел?

Марк молча пропустил его в комнату.

— А-а, — протянул Истомина, — успел-таки прочесть мой документ? Ну и как? Понимаешь, решил и я попытать силы на литературном поприще. Машинка имеется, отчего же не развлечься! отчего не пофантазировать? К тому же бесценные образцы. Классические! Исповедь Ипполита, точно? И Ставрогина. Умел писать старик. Слушай, я случаем не переборщил с убедительностью? Есть риск, что примут за чистую монету? Травили же Достоевского. Орала, что девочку он изнасиловал сам, а никакой не Ставрогин. Ты у меня первый читатель!

Околесицу свою Иван выливал весьма торопливо, проглатывая окончания слов и слегка размахивая авоськой.

— Тянет к перу. К самовыражению. Вокруг меня и поэты толкуются, и актрисы, и художники... что за жара! Ладно, пусти-ка меня на кухню. Молоко в холодильник. Пусти, чего ты стал, как столб. Говорю же тебе, мне надо на кухню, на кухню, ты что, оглох? Или обиделся? Хорошо, согласен, неудачная шутка. Но имей чувство юмора, Марк, не злись, друзья мы в конце концов или нет? И потом, твои личные чувства я постарался пощадить. Что мне стоило присочинить, например, что мой звонок в Ленинград Наталье прослушивали, она ведь мне потом тоже звонила, и таким-то образом и вышли на тебя и на твою...

Короткий удар кулаком, в который Марк вложил всю свою немаленькую силу, пришелся щуплому Ивану чуть ниже пояса. Бедный Истомина жалобно вскрикнул, согнулся пополам, выронил авоську, а затем и вовсе, согнувшись в три погибели, рухнул на пол. Одна из бутылок открылась, и молоко медленно вытекало на пол.

— Идиот... за что?

— Говно, — сказал Марк. — Говно ты и шут гороховый. Убить тебя мало.

По логике вещей, тут бы Марку, свершившему правый суд над предателем, и удалиться, оставив поверженного в прах негодя наедине с его совестью и т.д. Но он не ушел.

— Погоди, — застонал Иван снова, — погоди, погоди, Марк... я должен тебе все рассказать и... ох! объяснить...

— Черт с тобой, — Марк помог битому приятелю подняться, — только поздно уже объясняться. Поздно. Что ты мне можешь сказать?

Истомин на всякий случай отошел от обидчика.

— Прежде всего, что бить товарища и вообще подло, а если он не может тебе ответить, то и подавно. Ну что, повестку нашел, да? И поверил. Ты что думал, я от Горбунова? Мудак! Я с ними завязал, мне бежать надо, меня взять могут в любую минуту! — проорал он и заковылял к креслу, по дороге поднимая полупустую молочную бутылку. — Ты что, ничего не понял?

— Нет.

— Ну и вали к ебаной матери! Я, по-твоему, клоун! Тебе известно, кретин, что я чудом уцелел? что я бы должен сейчас в морге лежать, без рук, без ног? Руки распустил, мститель!

Опасливо миновав Марка, он вышел в прихожую и вернулся со своей курткой.

— На, торопливый юноша, изучи этот предмет. Только осторожно. Один раз не сработала, другой сработает. Нас тогда разнесет — не соберешь.

Озадаченный Марк обнаружил, что к изнанке куртки подшита какая-то сбруя из обрезков кожи, а к ней — приделаны проводочные крючки, в свою очередь державшие штук двадцать спичечных коробков, оклеенных рыжей оберточной бумагой. Коробочки соединялись медным проводом, уходившим в карман. В самом же кармане Марк нашел батарейку "Крона" и небольшой выключатель, вроде таких, какие бывают на настольных лампах. Из раскрытой коробочки на его ладонь высыпалось немного желто-серого порошка, припахивавшего миндальным мылом.

— Ничего не понимаю, — пробормотал он, — это что — взрывчатка?

— Динамит, — сказал Иван отрывисто. — Силикагель, пропитанный нитроглицерином. Не бойся, — хихикнул он, когда Марк осторожно положил куртку на спинку кресла. — Без детонатора не жажнет.

— Постой... ты что, покончить с собой хотел?

— Меть выше. Человек десять бы на тот свет отправил, не меньше. Ну и себя самого, разумеется, за компанию. Я в Мавзолей сегодня опять ходил, — добавил он, помолчав. — С тобой

когда — это была пристрелка. А в этот раз...

Марк по-прежнему недоумевал.

— Снова клоунствуешь?

— Заткнись! — взвизгнул оскорбившийся самоубийца. — Ну-ка, примерь курточку! Примерь, нажми кнопку! А-а! Я очередь вперед пропускал... дети...

Лицо у рассказчика побледнело, заострилось, говорил он жарко и бессвязно. Пронять друга, впрочем, ему не удалось.

— Хули ты мне баки забиваешь? — брезгливо перебил Марк. — Детишек пожалел! Ну, добро бы пожертвовал ты, как говорится, жизнью за правое дело, хотя лично я никакого правого дела не вижу в том, чтобы взрывать никому не нужную мумию — новую бы из воска вылепил в два счета. А ты вдобавок жив-здоров. Сказки мне рассказываешь, а сам молочко себе принес, в холодильник поставить хотел...

— Сволочь! — заорал Иван пуще прежнего. — И удара твоего никогда не прощу, так и знай! Ты мокрица, ты насекомое, ты никогда меня по-настоящему не понимал, ты...

— Отчего же не понимал, Иван? Сильных ощущений захотелось, по Достоевщине пройти? А устройство свое ты отключил — в очереди? или вчера? Или так и замыслил, чтобы не сработало?

Иван, мгновенно и густо покраснев, снова схватил свою куртку.

— И этого не прощу! На, попробуй! Надень! Провода фальшивые, выключатель ненастоящий, Истомин шут гороховый! Да? Только дай мне из квартиры выйти, на лестнице обождать. Слабó?

Сн на само́м деле поднялся с кресла.

— Слабó, — внимательно посмотрел на него Марк. — Так отчего же оно отказало?

— Понятия не имею, — почти прорыдал Иван. — Я вчера и батарейку новую купил. В ГУМе. Старая слабовата показалась. Дай-ка я ее отсоединю.

Среди технического хлама, кучей наваленного в стенном шкафу, он не без труда раскопал украденный некогда с работы армейский, крашеный защитной краской вольтметр. Присоединил клеммы к батарейке. Стрелка прибора рванулась, дрогнула и заколебалась у отметки полтора вольта.

— Погоди... что за дьявол... на ней же написано... черным по

белому... девять вольт... срок годности... гарантия...

Марк посмотрел на злосчастную батарейку, посмотрел на шкалу вольтметра, где тонюсенькая стрелка медленно, но неудержимо ползла в сторону нуля... и вдруг расхохотался неудержимым, нескончаемым, оглушительным истерическим смехом. Сбитый жес толку Иван поначалу порывался что-то лелетать, но вскоре про-светлел, робко ухмыльнулся и, наконец, присоединился к прия-телю. Трое старушек, гревших на солнце свои кости у подъезда, оторвались от вязания и закинули головы кверху, гадая, с ка-кого этажа доносятся эти жуткие квакающие звуки, перемежаю-щиеся всхлипами и пристанываниями, и не надо ли, случаем, вы-звать скорую помощь из психдиспансера.

Вряд ли сумею я толком объяснить, почему, собственно, Марк почти простил своего залутовавшегося приятеля. Может, поверил в искренность затеи с дурацкой курткой, может, внял совер-шенно натуральным слезам, блиставшим в истоминских глазах, может, как всякий отчаявшийся человек, полпросту ухватился за надежду, поданную ему Иваном в тот же день. Возможно, озарило его и справедливое соображение, что и безо всякого Ивана большинство событий, описанных в этом романе, развер-нулось бы своим чередом. Возможно, все возможно — чужая ду-ша потемки. Во всяком случае, через час с чем-то молочная лужа на полу исчезла, Иван с Марком сидели каждый в своем кресле и довольно мирно приканчивали бутылку, начатую еще позавчера.

— Все у меня погибло, — хмурился Иван, поднося зажженную сличку к своей исповеди, — мы с тобой теперь одного поля ягоды. Прежняя житуха кончилась, гангрена с ней произошла — и выход один, сам понимаешь. Я улетаю в Сибирь, сегодня же, проживу в деревне у школьного приятеля. А вернусь — с подробным планом. Ты в нем, думаю, заинтересован не меньше моего, так?

— Что мне остается, Иван?

— Вот и славно. А гости незваные нагрянут — скажешь, Исто-мин на юге, оставил тебя квартиру стеречь. Будет и на на-шей улице праздник, потеряли только. Веришь?

— Верю, верю, Герострат несчастный, отвяжись только. Да и что мне, повторю, остается?

Глава седьмая. После обложных московских дождей, после жгучего холода ветреных октябрьских ночей, после серых, стесненных городским горизонтом, утренних зорь и замешанных на мокром снеге — вечерних, после гнусных своих запоев и злобных бессильных слез, после унижительнейшего прощания с Конторой и отвратительных, числом двух, допросов "в качестве свидетеля по делу гр-на Баевского А.Е.", словом, после всех своих драм и трагедий Марк попал, наконец, в земной рай. Покружив над серебристым, цвета лебяжьего пуха, морем, самолет мягко приземлился на узкую полосу батумского аэродрома, и стюардесса не без лукавой улыбки объявила, что за бортом ни больше, ни меньше как двадцать четыре градуса тепла. Он по привычке пересчитал эти цифры в градусы Фаренгейта — и вздохнул.

По-домашнему маленький аэропорт был почти безлюден. Лишь у железной ограды летного поля, в двух шагах от самолета, стояла небольшая терпеливая толпа — отъезжающие. На площади испускал короткие гудки полупустой автобус, да выглядывали из своих запыленных машин ленивые таксисты, покуривая и взмахами фуражек приглашая разомлевших северян. Цвет отдаленных гор с расстоянием менялся с зеленого на желто-серый, а там и на синеватый, с белыми пятнами ледников; невидимое море насылало влажный ветерок, насыщенный запахами яблок, винограда, жухлой осенней листвы. Марк снова вздохнул. В фанерном павильончике закусочной — и это снова наводило на мысли о новой жизни, воскрешении и тому подобной ерунде — предлагали пресный грузинский хлеб, красное вино, сыр, пучки зелени. Впрочем, для русских патриотов имелись вспухшие соленые огурцы, да и та же водка, по сто грамм которой осушили Марк с Иваном еще в Домодедово.

"Цихидзири! Зеленый мыс! Кобулету! Очамчире!" — со вкусом провозглашал Иван названия окрестных поселков, считывая их с плаката, где жизнерадостно скалилась парочка молодых курортников. Получив в багажном отделении свои маленькие чемоданы и увесистый ящик с лазером, они втащили все хозяйство в автобус и отправились в путь. Двум сотрудникам общества "Знание", которые решили совместить отдых у моря с некоторым заработком, через чтение лекций по современным достижениям оптической физики, торопиться было некуда. Иван, тот даже захватил ласты, маску и подводное ружье, а теперь настаи-

вал, что для начала надо обосноваться близ какой-нибудь турбазы, и "непременно отодрать по одной-две золотозубых провинциалочки — юг, осень, романтика, дают безотказно, Марк, по опыту знаю..." Марк все больше отмалчивался, но в конце концов тоже слегка развеселился. Особо его привлек живописанный болтуном Иваном мандариновый сад, виноградник и хурма — плоды, по замыслу Истомина, должны были сами падать в рот постояльцам.

От остановки автобуса спустились они на пустой пляж, пахнувший водорослями и одиночеством. Дымка над серой водой скрадывала контуры дрейфующих вдали рыбацких кораблей, море и небо над горизонтом почти сливались. Направо взгляд наталкивался на стрелу Зеленого мыса, налево тускнели краны батумского порта и расплывчато мерещился сам город, а за ним не то различался, не то чудился еще один мыс, уже за турецкой границей. Марк пристроился было на гальке пляжа, но ненадолго хватило осеннего тепла, исходившего от камней — сыростью потянуло от них, могильным холодом. Между тем приятель его тыкал суковатой палкой в груды мусора, выброшенного морем. Иные корешки и обломки были отполированы водою до поразительного благообразия.

— Видишь, — он протянул Марку очередную находку, — с одного боку — птица феникс, с другого — автомат Калашникова. Готовое произведение для выставки "Лесная фантазия". Знаешь, в бывшем храме Симеона Столпника. На Новом Арбате.

Марк, сгорбившись, безмолвно рассматривал море.

— Охота тебе, — сказал он. — У меня этого добра было чуть не два чемодана. Камешки, открытки, черепки, значки, свечи, керамика. С Кропоткинской съезжая, все выкинул к чертовой матери, только драконы остались. Так и стоят теперь у Светки.

Гудел батумский порт, поблескивал изморосью и туманом. Рыбаки, сгрудившиеся на пирсе, вытаскивали то крохотную, в палец, ставриду, то бьющуюся в судорогах рыбу-иглу. Два дымящих буксира заводили в гавань огромный океанский корабль. "Санта-Клаус", кажется, назывался он — Марк с грустью подумал, что очки ему, наверно, пора менять. В другое время, по всегдашнему юродству столичного интеллигента, он непременно купил бы в сувенирном ларьке залитый грязноватым прозрачным пластиком портрет Сталина при всех регалиях, приспособил бы его под пепельницу, дивил бы девочек отвагой и либерализмом

— но в этот раз ограничился местной газетой. "Санта-Клаус" неторопливо двигался к причалу.

"Девчата были радостные, с трудом скрывали свое торжество, — читал он. — На лицах светились улыбки."

"Как же нам не радоваться, — сказала Нана, — ведь нашему совхозу присвоили звание отличного!"

"И заслуженно, — заметила Катя, — ведь тысячи тонн отличного чая сдаем мы ежегодно государству!"

"Небось, если б не было социалистического соревнования, туго бы вам пришлось?" — сказала бригадир.

"Да, оно здорово помогло нам достичь намеченных рубежей..."

С процессом тянуть не стали — всего два месяца с небольшим пришлось провести Андрею в Лефортовской тюрьме. Вызывали на допросы и Марка. Он быстро сообразил, что отнюдь не только "Лизунцы" интересуют следствие. Откуда-то всплыло и слово "семинары", обросло плотью намеков и неосторожных косвенных показаний, так что если б не упорное молчание Владика, специально выписанного из мордовского лагеря, вполне могло бы переключиться в обвинительное заключение. Следствие только разворачивалось в полную силу, когда Ярослав вдруг улился в Вену — такое бывало, плохая была координация между отделами органов. И Истомин, главный злодей, исчез с концами. Побесился следователь, да и успокоился — на Баевского-то материалов было предостаточно. И черновики он не все уничтожил, и от авторства мюнхенской книжки не отказывался. А Марк молчал — не так, конечно, как брат, кое-что говорил, да все не то. Да, учился с Розенкранцем на одном курсе, потом как-то разошлись. Как, он уехал в Америку? Припоминаю, об этом говорилось в статье прозаика Ч. Прискорбно. Поступок брата оценить никак не могу. Романа не читал. Как он передал его за границу? Понятия не имею, сами разбирайтесь.

— Ваш почерк? — Струйский протянул ему написанное по просьбе Сергея Георгиевича письмо. — Ваша подпись?

— Мои, — сказал Марк.

— Как же прикажете расценивать данный документ? Видите, тут черным по белому — поступок моего брата Баевского А.Е., то есть изготовление антисоветской литературы и передачу ее за рубеж, решительно осуждаю. Вы же взрослый человек, Марк Евгеньевич. С высшим образованием. Вам ясно, что подразумевается этой фразой?

— Видите ли, — Марк взглянул на Струйского с чувством, которое испытывал в жизни, может, раза два. С ненавистью. — Меня вынудили составить это заявление путем шантажа. И ты учти, лейтенант, мне терять нечего, я человек конченный. Не вызывай меня больше на допросы. Не стоит. Провалишь свое первое дело. А что я сказал насчет шантажа — занеси в протокол.

Через пять минут побледневший Струйский выписал ему пропуск на выход — и больше, действительно, не вызывал.

Психиатрическую экспертизу Андрей прошел благополучно, а слушание дела устроили почему-то в Волгограде. Уложились в полдня. В три часа начали разбирательство в небольшом зале областного суда, в восемь вечера зачитали приговор. Не обошлось, кстати, и без дешевой символики — Марк против воли все время косился на окно, где маячила, размахивая мечом, пресловутая скульптура Родины-матери, склепанная из огромных стальных листов.

Когда зачитывали недлинное обвинительное заключение, публика в зале — местные чины ГБ, комсомольские активисты да досужие пенсионеры — помалкивала. Зато когда Андрей признал авторство, признал, что читал отрывки вслух и давал копии романа приятелям, но виновным себя не считает, возмущенно зашумелись. С глазами у подсудимого стало совсем неважно, пришлось на суд надеть дымчатые очки — то-то было толков в фойе насчет нахального вида московского диссидента. На улице шел мокрый снег, воздух в зале суда стоял сырой и спертый. Кое-кто сидел прямо в пальто, другие держали верхнюю одежду на коленях.

Честно отработывал свой немаленький гонорар Ефим Семенович, хоть и диковато звучали иные его пассажи об искреннем раскаянье подсудимого. Обильно потел, осушил почти весь графин с желтоватой водой, перед ним стоящий, к концу речи пришел в порядочное возбуждение. Разумеется, говорил он, нельзя отрицать антисоветского характера "Лизунцов". Но оснований обвинять подсудимого в антисоветской агитации и пропаганде, на что напирал товарищ прокурор — нет! Не со злым умыслом имеем мы дело, товарищи, а с легкомысленным, безответственным характером подсудимого. Судить нужно не столько Баевского, сколько предателя Родины Розенкранца, обманным путем вывезшего преступное сочинение за рубеж. Подсудимый же искренне

полагал, что оно носит чисто юмористический характер. Наивность? Да! Наивность на грани преступления? Тоже да! Однако обратите внимание, товарищи, именно на грани!

Поздним вечером после суда в дурно освещенной столовой ели какие-то сомнительные котлеты с короткими толстыми макаронами. Ефим Семенович, с которого уже слетел весь гонор, объяснял подавленной Инне, что брак с Андреем ей удастся оформить разве что чудом, а без этого — ни о каких свиданиях не может идти и речи. Евгений Петрович молчал, мать Андрея поминутно прикладывала к раскосым глазам розовый кружевной платок. "Не убивайтесь, что вы, — разводил руками Ефим Семенович, — три года общего режима — это же до смешного мало! А ссылка после срока — ну подумаешь, и в ссылке люди живут. Отбудет свое, молодым еще вернется... Ох, совсем забыл, Марк. Андрей просил передать вам стихи. Держите".

Покуда в аэропорту утешал Евгений Петрович плакавших в обнимку женщин, Марк стоял в сторонке. Стихотворение, оно же последнее слово подсудимого, выучил наизусть, и отдал листок папиросной бумаги с накарябанными строчками Инне. А само оно, строчка за строчкой, теперь против воли всплывало в памяти, сливаясь с ревом улетающих самолетов.

"Листопад завершается. Осень мельтешит, превращается в дым. Понапрасну мы Господа просим об отсрочке свидания с Ним. И не будем считаться с тобою — над обоими трудится гром, и небесное око простое роковым тяжелеет дождем.

Все пройдет. Успокоятся грозы. Сердце вздрогнет в назначенный час. Обернись — и увидишь сквозь слезы — ничего не осталось от нас. Только плакать не надо об этом — не поверят, не примут всерьез. Видишь, холм, как серебряным светом, ковылем и полынью порос,

И река громыхает в ущелье, и звезда полыхает в дыму, и какого еще утешенья на прощание дать своему брату младшему? Мы еще дышим, смертный путь по-недоброму крут, и полночные юркие мыши гефсиманские корни грызут,

И покуда свою колесницу распрягает усталый Илья — спи спокойно. Пускай тебе снится две свободы — твоя и моя".

Глава восьмая. "Темно-то как, Господи", — не удержался Марк.

"Не волнуйся! — наперебой закричали вокруг. — Сию секунду! Тут и электричество есть! Дай только собраться!"

Как отрезало — замолкли, принялись в полутьме рассаживаться вокруг стола, с противным скрипом ворочая тяжелыми табуретками по земляному полу. Наконец затлела под потолком дрянная коммунальная лампочка. Марка клонило в сон, а собравшиеся выглядели оживленными, даже довольно веселыми.

"И ты присаживайся, Марк! — жизнерадостно сказал Иван. — Боишься, что для тебя табуреточки не припасли? Только уж поодаль, пожалуйста, вот тут, у стеночки, да. Хорошо? Ну, не ерепенся, право же". Он извлек из-под стола толстенный фолиант, раскрыл его на середине. "Видишь, чего написано: в необходимых случаях созывается специальная комиссия из числа местных обывателей, которая и решает дело. Неужто не ясно?"

"Всегда был туповат", — сказал из угла Струйский.

"Скорее глуповат, сынок", — поправил его Горбунов.

"Да неужто для такого обормота бестолкового — еще и спецвагон из Дергачева выписывать, неужто Петра Евсеича отрывать от государственных дел?"

"Ни в коем случае, Марья Федотовна", — сказал Иван. — Это было бы против духа и буквы нашей конституции". Он зазвенел невесть откуда взявшимся председательским колокольчиком. "К порядку, граждане, к порядку, а то до утра не кончим! Да и вы лучше садитесь, Соломин, а то так у нас сядете, что не встанете".

В углу захихикал кто-то невидимый. Марк сел.

"Так-то лучше", — молвил Иван наставительно.

"В ногах правды нет", — вставил на чистом русском языке профессор Уайтфилд.

"Ну и начнем, — продолжал Иван, — скажем, с Михаила Кабанова, как самого красноречивого. Как-никак, писатель!"

"Он тебе нравится, Клэр?" — Андрей кивнул на Марка.

"Мало сказать, — она сощурилась, будто в попытке что-то припомнить, — я его люблю. У него мужественное тело, большие голубые глаза, близорукие, но поразительно красивые. Густые брови, длинные, как у скрипача, пальцы. Он помнит наизусть многие стихи своего несчастного брата, и всегда помогал ему. Он чудесный любовник, — она чуть зарделась, — его

ночной голос глубокий и чист. Он приветлив, умен, нежен, добр”.

”Я слышал, он излечил тебя от одной застарелой страсти, — отозвался бородатый, — и покровительствовал одному московскому старику. Доставлял ему дефицитные лекарства, на чаепития не являлся без торта или горсточки конфет”.

”Он был моим любимым гостем, — подтвердил Владимир Михайлович. — Мы часами играли в шахматы, он слушал мои рассказы и сочувствовал мне. Приносил билеты в кино, а однажды даже в кукольный театр, и денег никогда не брал”.

”И я ходила с ним в кукольный театр, — подала голос Света, — он помогал мне учить французский, охотно делал всякую работу по дому. Отдавал мне на хозяйство всю зарплату, ни гроша ни утаивал. По утрам в выходные, по ночам или просто среди бела дня мы часами валялись в постели, он развлекал меня смешными историями, он рассказывал, как счастливо будем мы жить с ним, какие у нас будут замечательные дети, мальчик постарше, девочка помоложе. Он вскопал землю отца моего и засеял ее полынью”.

”Он купил у меня картину, когда голод стучался в двери мои, — сказал Глузман, — и в глазах его, когда снимает он очки свои, светится настоящая ветхозаветная тоска”.

”Он любил свою мать, — сказал Евгений Петрович, — по ее настоянию он много лет не виделся с отцом. А когда его товарищ решил бежать в Америку, он устроил ему хорошие проводы. Больше Господу радости об одном раскаявшемся, нежели о сотне праведников — а он, если и отрекался, то горько плакал о своих отречениях”.

”Несколько ночей провел он у постели одного больного дантиста, — сказал Профессор, — у него ясный ум, у него есть зачаточные представления о добре и зле — не так уж мало для русского!”

”Когда на площади Гуманизма играли на кошачьем пианино государственный гимн, когда поднимали флаг, он всегда пел вместе с ликующим народом, а потом снимал шапку и подбрасывал ее в воздух, — похвалила Марка Марья Федотовна. — Он шел в гору, он едва не стал заслуженным кошководом...”

”Приятелей своих, уголовников, отговаривал антисоветчиной заниматься, — сказал Струйский, — без особого, правда, успеха, но ведь искренне же, от души!”

”Вижу, всем он тут нравится, да и я не исключение! — вос-

кликнул полковник Горбунов. Был он сегодня в форме, с десятком орденов на зеленом кителе. — Правда, я с ним едва знаком, через Сергей Георгича только, ну да на допросе пришлось однажды над ним потрудиться, отпрыску своему единородному помочь. Но что такое допрос, товарищи вы мои задушевные! Не та на нем ситуация для настоящей дружбы! А ей-Богу, по душе мне этот паренек синеглазенький, барашек наш ненаглядный, сойтись бы с ним покорооче на пикничке с шашлычком, потолковать по вашему, Профессор, выражению, о добре и зле. Чертовски занятная материя. Верно, Глузман?"

"Шутите, гражданин начальник".

"Какие шутки, — засмеялся Горбунов, — какие уж тут шутки, гражданин заключенный №653/158АГ, коли я со студенческих лет еще твердейшим образом был убежден: добро и, так сказать, зло находятся в диалектической взаимосвязи! Поясню для иностранных подданных — всякое добро может обернуться злом и наоборот, при недоучете классового момента. Особенно тебя это касается, Евгений Петрович. Ну признайся честно, неужто ты всерьез веришь, что надо, мол, отвечать добром на зло? Во дурак старый, а? Слушай, Евгений Петрович, заруби на носу: если я у тебя отсужу рубашку, не нужно мне твоих милостей в смысле верхней одежды — сам отберу, коли нужно будет. И если попрошу тебя идти со мной одно поприще, а потребуются два — поташу на веревке, на хуя мне твое согласие. И щеку вторую не подставляй — оно, конечно, и удобней, только не знаю, товарищи, лично мне при виде такого идиотизма захочется не то что по правой щеке вдарить, а просто всю морду разнести фарисею. Не выйдет, господа мракобесы! Помню, заключал один реакционный писатель: если Бога, якобы, нет, то все позволено. Я же наоборот перед вами выражусь. Анархического, мелкобуржуазного своеволия мы никому не позволим, вы уж простите. Но нам, которые сплоченные единой идеей борьбы за счастье всего прогрессивного и уничтожение всего реакционного человечества, позволено, извините, все. Это факт, граждане, а против факта никуда не попрешь. И следовательно, никакого вашего Бога в наличии не имеется!"

"Бог есть", — сказал Марк.

Тут часть присутствующих расхохоталась, а пуще всех Иван.

"Ну даешь! — вскричал он, привскочив с места. — Скажу тебе по дружбе, Марк, — он перешел на доверительный тон, — забыл

бы ты, приятель, все эти басни религиозные, пока не поздно. Скажи, родиться ты хотел? Страдать хотел? Погибнуть — хочешь? По глазам вижу, что нет. Тебе все условия создали для жизни, а ты..."

Тут дверь избушки приоткрылась, и внутрь заглянула какая-то бритая голова в армейской пилотке. "Потом, потом!" — зашипел Горбунов, и голова исчезла. А Марк украдкой распрямил затекшие ноги — табурет ему попался на редкость неудобный.

"А тебе не жалко его, Клэр?" — снова раздался голос Андрея.

"Ночи напролет плакала я от разлуки с ним, — отвечала она тихо, — перечитывала его письма и разглядывала ту фотографию, где он сидит на самаркандской скамейке со своими драконами. Конечно, сердце у меня разрывается от жалости. Он родился в таком жутком государстве, а родину все-таки любил. Всю жизнь стремился к счастью, и теперь сам не может понять, отчего потерпел поражение".

"Он не захотел со мной в Америку, — сказал Костя, — да его бы и не пустили".

"Ни методы нашей не понимал, — сочувственно сказал Струйский, — ни в целях наших не сек. Какие шансы упустил, мудила грешная!"

"Ежедневно, если не ежеминутно, ему приходилось кривить душой, чтобы заработать на кусок хлеба с маслом".

"Он не верил в Бога и пренебрегал Его утешением".

"Ох, граждане, товарищи вы мои! — засмеялся Иван. — Он у вас прямо святой какой-то выходит! Среда его, видите ли, заела, агнца Божьего!"

"Ладно, хватит болтать, — взвился полковник Горбунов. — Как же все-таки нам быть с гражданином Соломиным? По имеющимся у нас сведениям, он намерен с помощью поддельных документов сотрудника общества "Знание" проникнуть в погранзону, якобы для чтения лекций. Вкрасться в доверие к командиру одной из застав, и, улучив момент, пересечь госграницу, в дальнейшем попросив у властей сопредельной империалистической державы политического убежища. Каков подлец, а?"

"Это вы загнули, гражданин начальник, — сказал Глузман. — Лично я никакой подлости в этом не вижу. Хочет человек жить в другой стране, и пускай себе живет".

"Ты еще Декларацию прав человека помани, — беззлобно ог-

рызнулся полковник. — Дурень, не зря в лагере сидишь. Как же мать его? А отец? А родина, которая, как известно, дороже матери? Не-ет, не можем мы себе позволить терять людей. С иностранкой переспал? И что с того? Так у нас пол-Москвы за границу навострится — вон сколько этих иностранок развелось, задницами виляет! Он, понимаете ли, обиделся! Он несчастный! А мы что, счастливые?" — Горбунов ухмыльнулся собственной шутке.

Собравшиеся оживились. В дальнем углу кто-то закурил в кулак, распространяя удушливый запах махорки. Снова зазвенел истоминский колокольчик.

"Светает, граждане, прошу покороче, — сказал Иван. — Нас ждут. Все мы люди, все мы человеки, всем нам, конечно, в известной мере жаль Марка Соломина, поскольку он, простите за высокопарность, должен за всех нас принять страдание, пойти, иными словами, на крест".

"Глупости вы какие-то говорите, Иван Феокистович! — обозлилась Марья Федотовна. — Какие страдания? Какие жертвы? Чего человеку нужно было? Здоров, как бык, детей нет, сто двадцать рублей зарплаты, да от иностранцев вечно что-то перепало, квартиры не было, так вступил бы в кооператив, как порядочный. Страдалец!"

"Он меня предал, — с обидой отозвалась Света. — Изменил, да еще концы спрятать пытался. И не просто изменил, а вдобавок влюбился в какую-то заезжую потаскушку. Вдвойне мерзавец. Отца моего, кристального человека, совестью мучаться заставил".

Тут Марк заметил, что сидит Света рядом со Струйским, обнимающим ее за талию. Но ему было уже все равно.

"Когда его друг навсегда покидал Россию, он не поехал в аэропорт на проводы, опасаясь неприятностей по службе".

"От которых-таки не убежал", — со смешком добавил Струйский.

"Всю жизнь он продавался тоталитарному режиму, — сказал Профессор, — всю жизнь он беззастенчиво..."

И тут Марка, наконец, прорвало.

"Замолчите! — он вскочил, со страшным грохотом опрокинув табуретку. — Замолчите! Что я вам сделал? Кто вы такие, чтобы судить меня? Дайте мне дышать, дайте выйти отсюда, оставьте в покое!"

Народ удивленно зашептался.

"Странный человек", — пожал плечами Иван.

"На улицу просится, — прокомментировал Горбунов, — может, ему до ветру надо, прошу прощения у дам?"

"Он уйти хочет", — возразил Андрей.

"Уйти? — раздался общий хор. — Куда? Зачем? Сумасшедший!"

"Может быть, кто-нибудь пойдет со мной?" — спросил Марк.

Никто не отозвался.

"Может быть ты, Клэр?"

Но она посмотрела в сторону, словно не слышала. Между тем кто-то настезь распахнул дощатую дверь избышки, и Марк увидел бесконечную дождливую равнину, где сквозь клочья тумана угадывался силуэт не то церкви, не то силосной башни на горизонте.

"Ступай, Марк, ступай", — сказал ему Владимир Михайлович.

И Махинджаури, и Батуми остались внизу: уже третий день Марк с Иваном обретались в горной деревушке, где и летом-то курортниками не пахло. Со своей раскладушки Марк увидел раздетого до пояса приятеля у жестяного умывальника. Обливаясь ледяной водой, тот сладко покряхтывал. Рядом с ним стоял невозмутимый индюк, по двору бродило полдюжины мечтательных кур во главе с красавцем-петухом. Сразу за оградой начиналась гляцевитая зелень чайных кустов.

— Ну и скверно же ты спал сегодня, — Иван, с махровым полотенцем через плечо, вошел в комнату. — Стонал, метался, кричал. Смотри, отправлю тебя обратно в столицу нашей родины. Мужик ты или нет?

— Кровать жесткая, — поморщился Марк, — и холодно тут ужасно. Ты оставил мне воды в умывальнике?

— Два ведра, дорогой, хватит на целый взвод. Хозяйка дала нам яиц и хлеба. А обедом пускай уж кормят на заставе.

Завтракали на улице, в обвитой виноградом беседке. Утро выдалось солнечное, акварельные горы вокруг деревушки настаивали на самый беззаботный лад. Прокравшийся в беседку индюк склевывал обильно роняемые Марком хлебные крошки, куры оскорбленно кудахтали невдалеке.

— Сколько, говоришь, получим, если попадемся?

— Ты, с помощью Ефима Семеновича, никак не больше трех

лет. А твой покорный слуга — до пятнадцати. На высшую-то меру не потяну. Ты не забывай, что мы не самоубийцы. Если ни на одной заставе не будет растяпы-командира — вернемся. И ради Бога, поменьше болтай. Молчи, кивай, улыбайся. Голограммы не побились?

— Нет.

— Водка цела?

— Что с ней сделается.

— Ну, давай собираться. Двенадцать километров не шутка.

Вскоре они уже неторопливо шагали по горной дороге, грунтовой, но вполне приличной, разве что иногда малость крутоватой. Щадя товарища, Марк замедлял шаг на подъемах, иной раз они присаживались на обочину, а не то, скинув рюкзаки, забирались в колючую чащобу за каштанами и орехами.

— Слушай, Иван, — Марк освободил очередной каштан от сухой шипастой шкурки, — скажи-ка мне одну вещь напоследок. Ты кого-нибудь в жизни любил?

— Изволь, — отозвался Иван, — жену свою первую Тamarку любил отчаянно. Какие штуки она в постели выделывала — конец света. Жаль, глупа была, как пробка.

— Серьезно.

— Коньяк люблю, но это тебе известно. Анашу не очень, кокаин бы любил, если б не похмелье. Опасность люблю, даром что с ГБ так обосрался. Даст Бог, вернусь в Россию разведчиком, коли это племя еще не вымерло. Потом, если уж серьезно...

Из-за поворота дороги послышался надсадный шум мотора, и через несколько секунд возле ребят остановилась зеленая полуторка. Припекало солнце, в кустах посвистывали невидимые птицы. В просвете между горами, словно на открытке, сквозило море с дымящим пароходом. Проверив у друзей документы и выслушав объяснения Ивана, улыбочивый лейтенантик предложил подбросить ученых физиков из Москвы, и они в два счета докатили до заставы, где об их лекциях уже получили телефонограмму из батумского отделения всесоюзного общества "Знание".

Эпилог. "Ну же, Рекс, ну!" — почти жалобно прошептал ефрейтор Романенко. — "Что с тобой сегодня, псина?"

С самого развода беспокоилась его красавица-овчарка. Ску-

лила, подрагивала, повизгивала, даже наверняка бы разлаялась, если б не намордник. В такую морозящую осеннюю погоду собаки, как и их хозяева, бывают подвержены беспричинной тоске.

"Заболела, наверно", — тем же шепотом предположил со своей верхотуры Скворцов.

"С чего бы?"

Притихший пес снова пристроился у сапог ефрейтора, дежурившего со Скворцовым в секрете, читай "в месте наиболее вероятного пересечения границы". Пограничники скучали: охраняемая тропа по старой памяти звалась турецкой, но уж лет десять как не пробиралось по ней ни одного вшивого контрабандиста, о шпионах и говорить нечего. Пете секрет был в новинку, и он, даром что не раз до того патрулировал границу, поначалу заметно волновался.

Невдалеке от их поста... собственно, какой там пост? дощатый, весьма некомфортабельный помост на развипке столетнего вяза — для Пети, да кружок примятой сырой травы под деревом — для ефрейтора с собакой... невдалеке от поста, за рощей, зарокотал газик, направлявшийся на их заставу — и вдруг замолк.

"Уж не физиков ли обещанных к нам везут", — сказал Романенко.

"Наверно. А остановились-то что?"

"Мало ли".

"Поможем?"

"Спятил — пост покидать. Сами справятся".

Напрасно, ах, как напрасно настаивал ефрейтор Романенко на соблюдении буквы устава караульной службы! Всего метрах в трехстах от героев-пограничников совершалось не что иное, как государственное преступление. Марк с Иваном вконец отчаялись за последнюю неделю — лекциямаплодировали, кормили до отвала, водили показывать границу, только без надзора ни разу не оставили. Вот и прибегают они к тому самому насилию, которое на апрельском, печальной памяти, семинаре так гневно осуждал Ярослав: запихали мохеровый шарф Ивана почти целиком в рот оглушенному шоферу газика, вяжут бедного киргиза заранее припасенной веревкой, да и отволакивают в кювет. Негодование пленного не поддается решительно никакому описанию — не сам ли он, растяпа, только что выболтал диверсантам, что машина проезжает мимо знаменитой Турецкой тропы?

Но ни ефрейтор Романенко, ни рядовой Скворцов обо всем этом, понятно, и не подозревают. У Марка же с Иваном хватило ума на то, чтобы во-первых, переговариваться тишайшим шепотом, а во-вторых, пуститься в свой недолгий путь не по заросшей тропе, а чуть поодаль, сквозь заросли. Удовольствие было сильно ниже среднего: терновник, акация и какие-то колючие лианы вскоре в кровь исцарапали им лица и руки, да и передвигаться удавалось лишь с черепашей скоростью. Когда же до них донеслось очередное повизгивание Рекса, они и вовсе замерли на месте.

"Ч-черт, — шепнул Иван, — близко-то как".

"Идем, Иван, идем, — выдыхал Марк, — метров сто всего осталось. Ножницы приготовь, нож. Еще с полчаса у нас точно есть".

То ли Рекс ухитрялся в шелесте дождя и листьев улавливать шорох шагов, то ли ветром доносило до него запах чужих, но беспокоился он все сильнее. Вдобавок был обижен: увлекшийся разговором хозяин непрестанно одергивал честного пса.

"Давно хотел тебя серьезно спросить, Скворцов, — задрал голову, Романенко пытался в желтой листве разглядеть лицо собеседника, — почему тебя всякие божественные умствования вообще как-то колышут больше, чем нормальная жизнь? Ты не сердись, я безо всякой подначки. Невесты у тебя нет. Солдат ты, прямо скажем, неважнецкий, хоть и стараешься. Кино привозят — торчишь в казарме. Не керосинишь с ребятами, даже курить не куришь. От скуки же сдохнуть можно!"

"Вовсе нет, — возражал Петя. — У меня есть мечта. Вот демобилизуюсь, уеду в Сибирь и соберу новую общину из молодежи. Где-нибудь на БАМе".

"Так тебе и позволили".

"Я добыюсь. Я хочу стать, как Евгений Петрович".

"Носишься ты с ним, прости, как дурак с писаной торбой. Ну, читал я его письма — ничего особенного, тоска зеленая".

"Ты его не знаешь, — настаивал Петя. — Он удивительный, он себе из зарплаты оставляет пятьдесят рублей, остальное отдает бедным. И утешает, кто приходит. Он у нас самый образованный, он университет кончил, и не кичится совсем. Евангелие часами толкует, все понятно становится. У него Бог в сердце есть".

"В смысле, совесть".

"Бог", — упрявился Петька.

"Кстати, — сказал Романенко, — Богу, разумеется, Богово, но и насчет кесаря у меня к тебе, Скворцов, серьезная претензия. Ты воинскую присягу принимал?"

"Конечно", — насторожился Петька.

"Что у тебя позвякивает в левом кармане?"

"Ничего".

"А все-таки?"

"Гильзы пустые", — растерялся Петька.

"Очень интересно. А с какой целью?"

"Так".

"А еще баптист. Зачем ты мне-то лапшу на уши вешаешь, Скворцов?"

Петька шумно вздохнул.

"Хорошо, на первый раз прощаю. Даю тебе одну минуту ноль ноль секунд. Готово? Теперь те холостые, которые ты из магазина вынул, кидай вниз. Молодец. — Романенко поймал несколько брошенных ему патронов и со всего размаху зашвырнул их в кусты. — Не перестаю на тебя дивиться, рядовой. О душе ты можешь часами распространяться, а сам присягу нарушаешь. Как это называется?"

"Я... я чтобы по учебному нарушителю случайно не вмазать... и не все заменил, а только самые первые..."

"А вдруг настоящий враг? Матерый? Так и поперся бы на него безоружный? И сам бы погиб, и нарушителя упустил".

Советская граница охраняется надежно. Настоящий нарушитель — птица такая редкая, что его впору бы занести в Красную книгу. Как встрепенулся бы, как взвился бы ефрейтор Романенко, если б узнал, что чуть ли не в сотне шагов от него целых два "настоящих врага" продолжают, перебравшись за первое заграждение, торопливо преодолевать колючую проволоку следующего! Марк уже сверху донизу разорвал рукав одолженной ему другом синей куртки, плащ на Иване тоже висел ключьями, но уже рукой им было подать до бешеной, вспухшей от осенних дождей пограничной реки. Однако и сигнализацию они, разумеется, задели. Заставу поднимали в ружье. Молодые солдаты — кое-кто еще и бороды не брил — бойко разбирали из пирамиды свои автоматы, в полной уверенности, впрочем, что сирена тревоги ревет по милости очередного кабана или лисы.

"Я не знаю, — проямлил обескураженный рядовой, — я счи-

таю, Бог дает человеку жизнь, и другой человек не имеет права ее отбирать”.

”Гуманист сраный, — засмеялся Романенко. — Это у человека жизнь отбирать нельзя, а у бешеной собаки — как? Дай таким как ты волю, тут бы турки давно всех армян перерезали”.

Упорное беспокойство пса передалось, наконец, его хозяину. Он поневоле насторожился — и вдруг услышал в шуме дождя нечто вроде приглушенного стога со стороны дороги.

”Слезай, подежурь на моем месте, — он вздрогнул, — там что-то неладно”.

Через минуту-другую до Петьки донесся его крик.

”Рядовой! Ко мне!”

Эти слова, вместе с заливистым собачьим лаем, услышали и Марк с Иваном. Первый от ужаса выронил ножницы, за что и получил от второго гневное:

”Кретин! Успеет еще! Режь!”

Между тем шофер Теймуразов, едва изо рта у него вытащили шарф, заорал, что ”шпион оба туда в лес пошел!”, всем подергивающимся связанным телом указывая направление. Натянув поводок, Рекс с сердитым лаем кинулся по свежему следу. Увы, ефрейтор не поспевал за четвероногим другом. Взбудораженный пес в конце концов дернул поводок так резко, что хозяин упал, здорово расшибив колено о случившийся камень. Налетевший на него Петя ухитрился как-то удержаться на ногах.

”Рядовой Скворцов, приказываю! За Родину! — крикнул Романенко, пытаясь привстать. — По уставу, вплоть до применения оружия! За Рексом! Беги! Физики эти проклятые диверсантами оказались, беги!”

И снова повалился на землю, держась за ушибленное колено.

Пете можно было и не приказывать. Охотничий азарт — штука заразительная. Не чувствуя боли от царапин и ссадин, не замечая, как хлещут его по лицу набрякшие сыростью ветки, он припустил за лающим Рексом. А тот уже выскочил из рожицы, с лету перемахнул через первое заграждение, через второе — и рванулся из тумана прямо туда, где копошились двое лекторов, шпионов, диверсантов, или черт знает кого.

Завидев пса, тот из них, что стоял ближе к проволоке, почему-то не устремился в почти совсем прорезанный проход, а пропустил своего сообщника. Рекс тут же сбил замешкавшегося нарушителя с ног, предупредительно зарычал, и кинулся на вто-

рого, как раз входившего в воду.

Умная собака совершила роковую ошибку. В руке у второго преступника оказался порядочных размеров охотничий нож, который он с неожиданной ловкостью и всадил, испустив злобное хаканье, в горло бедному Рексу, привычному к ласкам и законному сахару после задержания учебных нарушителей. Несчастный пес захрипел, получил еще один удар — в живот, и неловко повалился набок. Диверсант же обернулся на подымавшегося товарища, крикнул ему "Скорее!", и кинулся в быструю воду. Сердитая река, колотя его о камни и переворачивая, понесла пловца вниз по течению, и как он пристал к турецкому берегу — никто не видел.

А его менее везучий напарник при падении угодил лицом прямо в клубок колючей проволоки, не выколол себе глаз разве что по счастливой случайности и промешкал слишком долго. Из чащи летело: "Стой!", над рекой и зарослями разнеслась автоматная очередь в воздух. Обливаясь кровью, мелко дрожа от животного отчаяния, он, наконец, выпростал из проволоки ногу и также кинулся к реке.

"Стой! — раздалось ему вслед. — Стой, стрелять буду!"

Стрелял Петя из рук вон плохо, и времени прицелиться не было. Зато и расстояние до преступника было всего шагов сорок, от силы шестьдесят. Он вскинул автомат и прямо с опушки дал по нарушителю основательную очередь.

Шпион тут же упал, даже перевернулся кубарем, потом как-то сжался, а затем подергал ногами и затих — лицом к дождливому небу, совсем рядом с трупом Рекса.

Из рожи уже спешило на помощь растерянному герою человек шесть во главе с сержантом.

Давешний охотничий азарт вдруг покинул Скворцова. Он сгорбился, сник, приотстал от солдат, с опаской державших путь к распростертому на берегу нарушителю. Тот оказался жив и даже в сознании. Только куртка на груди так набухла кровью, что отчетливо виделось, как падают в образовавшуюся густую темно-красную лужицу капли дождя.

"Господи помилуй, Господи помилуй, — дрожал Петя, одолевая проволочное заграждение. По лицу его, мешаясь с кровью, потом и грязью, неудержимо текли слезы. — Господи святой, помилуй меня, грешного, — шептал он, приближаясь к товарищам, склонившимся в кружок над обезвреженным шпионом.

"Где второй? — спрашивал того сержант. — Где второй, сука?"

"Жив! — раздался голос Романенко. — Он-то жив, а Рекса моего убили, сволочи!"

Сильно хромая, он проковылял к мертвому псу, присел на корточки и положил ладонь на его теплую еще голову.

"Где второй?" — продолжал допытываться сержант.

Петя, наконец, нашел в себе силы посмотреть на диверсанта, вздрогнул, широко раскрыл глаза. Окровавленный шпион был как две капли воды похож на сына Евгения Петровича, и даже разбитые очки валялись неподалеку. Он протиснулся ближе к лежащему. Нет. Этого никак не могло быть. Никак. А блуждающий близорукий взгляд умирающего наконец упал на Петю.

"А.. хр... баптист... — прохрипел он. — Баптист... ты... страшно... баптист... больно..."

"Марк Евгеньевич! — вскрикнул Петя каким-то заячьим, пискливым голосом. — Марк Евгеньевич! Ма-а-арк Евге-е-еньевич!"

Остолбеневший сержант и остальные пограничники так и не поняли, отчего рядовой Скворцов испустил этот нечеловеческий крик, далеко разнесшийся по долине и, может быть, достигший самого Господа Бога, отчего он пал на колени над трупом диверсанта, а вскочив с земли, схватил за ствол автомат и принялся колотить прикладом своих боевых товарищей, метя в головы и в челюсти. Ловкий удар ребром ладони, полученный от сержанта, мигом свалил Петю на землю, а вскоре его, спеленутого по рукам и ногам, с кляпом во рту, отвезли вместе с трупом шпиона в больницу районного городка. Там их пути разошлись: тело отправили в морг дожидаться судебно-медицинской экспертизы, а истощенно вопящему Скворцову вкатили основательный укол и определили его в отдельную палату.

"Реактивный психоз, — пояснил доктор ефрейтору Романенко, — вот до чего эта религия доводит".

1978—1984

Алексей Татаринев — псевдоним известного русского поэта, живущего в настоящее время в Америке. "Русские приключения" — его первое большое прозаическое произведение.

Кико, молодой мальчик, почитал, что негоже ему ходить без любви и подруги, и стал их искать. Несмотря на имя, внешность у него мужественная, он плечист и, в известном смысле, яйцист. Через год он должен пойти в армию. Женщин он не знает, потому что в четырнадцать лет была у него неудачная попытка со взрослой соседкой, и теперь он стесняется. Кико не курит, пиво попробовал один раз — мыльное, он второй сын в семье, мама и папа его относительно не стары и здоровы, всего в доме хватает, особенно еды. Кико чистоплотен — умывает кожу рук и лица водой с мылом, очищает зубы рта от ночной жизни. Тело его сильно гудит от энергии здоровья, и Кико в гостинной передвигает наследный бабушкин буфет времени румынского царя Михая. Вперед и назад, вперед и назад. Он один дома, ходит по комнатам и не отделенной стеной кухни между маминими вышивными салфетками и картинами, пуфиками и цветочными горшками, и ему нравится, что он так гибок и упруго сдержан. В раскрытом окне все тот же вид — “раннее летнее утро плоскогорья”, но “свежо, как в Польше”, по выражению однажды случайно проспавшего отца. По этому виду идет боль-

Марк Зайчик

**ВОСПОМИНАНИЯ
ЖИЗНИ СЕМЕНА**

(главы из романа)

шая женщина, большая и возрастом, и членами тела, и так у нее все слажено в такой внутренней такт, так все движется попеременно и вместе гладким, отрегулированным, здоровым организмом, что Кико хочет эту женщину полюбить навсегда, но она проходит за окном вполне, на вид, достижимым соблазнительным и далеким идеалом. Кико улыбается и вздыхает, потому что есть по чему вздыхать. "До смерти еще далеко", — думает Кико. Он терпеть не может запаха старости, нечистоты, тления, запахов бабушкиной квартиры, проданной дочерью по случаю смерти хозяйки вместе с содержимым ухватистому быстрослову в сползающих джинсах. Только буфет оставила, да пару вышитых крестиком по регламентированному стандарту картин, которые бабка называла "гобелены мои, моя надежда в старости". Школьная мамина подруга, несколько надменная ухоженная бездельница, берущая частные уроки живописи, сидя у мамы Кико в гостях, за кофе, честно и нелицеприятно произносит суровый приговор бабушкиной "надежде в старости". Затем говорит о линии и цвете у Матисса, и Кико видит, что отец явно хочет бросить в нее пирожное с кремом. Но не бросает. Мать краснеет, неизвестно за кого ей стыдно, кажется все же за всех: за себя, за подругу, за умершую маму. Потом подруга хвалит мамины пирожные — чрезмерно и тоже справедливо. Кико, глядя на ее сильные, высоко открытые ноги, на подвижные зрелые чресла, вспоминает, что она с ним и со всем своим богатством вытворяла в его сне после предыдущего визита, и даже прикрывает двойной кожей век горячий цвет этого сна.

Отец Кико, рожденный в другой земле, крепкий мужик со своей думой и своим понятием, человек нервозный и вспыльчивый, любит выпить. Придет с работы измотанный, возбужденный, хлопнет стакан и потом долго обедает, изредка добавляя по рюмке-другой. Пьет он обычно водку "Голд", но как-то не настойчиво, может выпить и другого. Лицо его разглаживается и к нему можно подойти и даже поговорить. Но о чем?

Отец Кико инженер на важном заводе, строит механизмы, чтобы было лучше убивать солдат врага, но, выпив дома к вечеру, он бормочет за столом стихи на своем родном языке, который никто в доме не понимает.

Я закрыл Иллиаду и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово.

Что-то ярко светило — фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового.

— А это кто написал? — слышит Кико хрипловатый голос своей младшей сестры Лаваны. Одна она сидит за столом в этот час. Мать, кажется, стесняется, старший брат в армии, но даже если бы и был, не спросил бы.

— Это русский поэт Гумилев, офицер флота, — говорит отец по-русски.

— А еще ты какие знаешь стихи, папа? — спросила Лавана.

— Вот еще: Заболоцкий:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Кико понимает отдельные слова в глуховатой отцовской мелодике: "слово", "окно", "фонарь", "луна", "шляпа" и "тетрадь". Смысла из этого не сложишь, хотя звук и музыку Кико чувствует, и эти чужие слова вкладываются в лад его души. Кико любит своего отца, считая его очень умным, добрым, сильным, замечательным человеком. Кико тяжело наблюдать отца в эти, довольно частые минуты его жизни. Он не понимает, что происходит с отцом и, наверное, не поймет никогда — души у них генетического похожего узора, а судьбы разные.

Карий пристальный взгляд отца велик, и насытить, наполнить его объем, казалось, никакой едой цвета, звука, чувства невозможно. От этого, казалось, тень недовольства, складка горечи лежала на его лице, но это было не так, это только казалось. Просто вот такой полнокровный, сильный человек сложной судьбы с чуткой нервной системой, с чуждым культурным, зрительным витаминным прошлым, почувствовавший почти внезапно уколы возраста: некое неудобство тела, будто за ворот рубахи насыпали колкой травы, и судороги души, как бы приболевшей "дальневосточным" гриппом, создали оптический обман — раскрасили лицо трагическими морщинами возраста и боли. А это было почти не так.

В неделю два раза отец навещал дальнего родственника, жившего с женой обособленно в обособленном религиозном районе обособленного города обособленного государства "обособленно-

го" народа. Те жили во внутреннем районе Иерусалима, лежавшем как бы отдельно от других — новых, торопливо-уютных, мощно и красиво утверждавших молодую государственность. А этот район лежал внизу, вернее — по склону огромной лощины вниз, сбегал несколько несуразно, но все равно впечатляюще, если смотреть сверху, с соседней, обжитой горы. Они были два пожилых человека, говоривших отдельно на диалекте для общественной жизни в магазине, синагоге и жилом подъезде, отдельно между собой на диалекте плюс русском (диалектический русский). С отцом они говорили когда на диалекте, а при дочке на русском. У них была отдельно жившая от них дочь, каждый день к ним прибегавшая помочь чего и поговорить. Чудесная женщина, вся на винте, смешливая, нервная, в руках все горит, ногой перебирает легко, походка выдает образование — Ленинградский текстильный институт — любо-дорого посмотреть. Даром, что одинока. Кико считал, что у нее с отцом что-то есть, шашни, что не мешало ему о ней сладко мечтать. Иногда, впрочем, глядя на отца, сгибающего не без грузной грации в тележку мясной, овощной, фруктовый и прочий предмет в ближнем магазине перед поездкой к старикам, Кико смущенно думал, нежно глядя на его усталое, рассеянное лицо, поджатое уже возрастом сороковки, что все эти шашни — плод его воспаленного, возрастного (?) бреда, и надо кем быть, чтобы подумать такое.

— Когда это пройдет? — спрашивал тихонько себя Кико.

Старики торжественно и любовно присаживали гостей к большому обеденному столу, накрытому российской праздничной старой скатертью, похожей на занавес закрытого театра.

Вносился чай с жидкой заваркой в отдельном чайничке, подавалось сладкое, оставшееся с субботы, а также клубничное, очень густое варенье.

— Ну, Сема, ну что? Как оцениваешь? — спрашивал старик, улыбаясь, и его лицо, сделанное из столь характерного еврейского материала — кремня, — расползлось.

— Ничего, Овсей Самуилыч, стоит отечество, — с удовольствием говорил старику отец.

— Дай Бог, — говорил старик, щурясь от любви, — дай Бог. А то мне позавчера, встретил Вениамин Давыдыча, знаешь Сема, Вениамин Давыдыча?

Отец мотал головой.

— Жаль, очень, очень знающий человек, так вот он меня напугал.

— Что такое, дядя Овся?

— Его волнует наша северная граница, Сема, — трагически произнес старик.

Дочь его двигалась непрерывным хороводом из кухни к столу и обратно с обеденной тарелкой и садком. За ней тенью, помогая голосом, передвигалась мать. Все эта женщина-дочь делала не резко, округло, помогая движением тела жизни мужчин. Глазом не секла, а вела, бедром не рубила и, вообще, пылала умеренно.

“Вот уж даст, так даст”, — подумал Кико, не стесняясь мысли.

— Подожди, Сема, ты же пьешь — я припас, — гордо сказал старик. Большими шагами коротких ног он прошел в спальню, и когда вернулся, свету в комнате прибавилось от сосуда его души, — называется “кальвадос”.

Отец потрясенно крикнул.

“И что она в нем нашла? Ну просто пьянь, хотя и отец, — подумал бездельный Кико. — Сейчас выпьет и будет читать стихи”.

— А закусить и нечем, а? — осудил старик. — Полный стол, а заесть и нечем. Вот я тебе, Сема, сейчас хренку.

В раскрытую дверь кухни Кико увидел, как старик осторожно умыл под краном ладонью тяжелый корень и на терке стер в блюдечку отцу горку суховатой массы.

— Теперь можно выпить, — удовлетворенно сказал он.

Дом старика славился закуской, едой еще в России дореформенной.

И вот все отобедали, отведали всего: фаршированной рыбы — карп из кибуцного пруда, в малинового цвета желе; салата овощного, политого лимонным соком и посыпанного травкой; бульона — супа с вермишелью; куры жареной и вареной; так называемого цимеса и тушеного золотистого картофеля. Про суп старикова старуха убедительно сказала:

— Лечебный.

А также запили. Вернее, выпил все отец, старикова дочь тоже несколько, на два такта меньше. Кико алкоголя не любил ни в каких проявлениях, даже французских. Старик выпил одну, но полную рюмку за гостей для расширения сосудов. Отец был надежно и привычно пьян, но еще в допоэтической стадии, еще когда должны были читать ему, и он мог слушать.

— Почитайте, рэб Овся, воспоминания, — попросил отец.

— Воспоминания уже здесь, ждут вас. Еще сорок шесть страниц

приписал за прошедшее время, — старик привстал и извлек из-под себя огромную папку.

Отец подлил себе и выпил еще рюмку. Кико его поступка не одобрил. Дочь старика одобряюще улыбнулась. Отец, морщась, по-особому жмуря кожу век, закусил ложкой знаменитого хрена, который еще по заграничным слухам в умеренных количествах излечивал от простуды, импотенции и ангины.

— Маленький городок, — несколько монотонно, хотя внятно и громко, начал читать старик, — большой лес кругом, рощи, сады. Поют птички, гудят пчелы. Дачная местность. Можно хорошо отдохнуть. Мне десять лет. Вокруг живут разные люди. Выделяется сосед Колокуйский, по национальности белорус, себе на уме. Он еще нас позже обкрадет, во время отступления в восемнадцатом году.

В канун праздника Кущей 1915 года в наш город вошли немцы. Мировая война, которая началась раньше и наделала много шума в мире, была вначале не страшной. Немцы ехали на сытых гладких лошадях. Офицеры были любезны, не устали, улыбались и говорили между собой по-немецки...

На пятой странице описания своей жизни старик стал уставать, что было немудрено, так как жизнь была тяжелая. Почти все присутствующие подустали вместе с ним, и только отец, нагнувшись корпусом вперед, напряженно вслушивался в старикову речь. Одновременно отец углядывал старикову дочь, которую звали Мила, наблюдая линию края ее тела, а также свежее и зрелое милиного тела наполнение, а также ее волнующуюся душу, а также сердитое лицо Кико, а также советскую настольную лампу с матовым зеленым абажуром, под светом которой старик писал свою книгу, а также...

Только образ Милы никак не мог сфокусироваться в глазах отца, и это ему мешало. Вообще, ему часто, почти постоянно что-то мешало достичь спокойствия, гармонии и счастья, и эти препятствия, большие и малые, и досадливо-болезненные, делали его жизнь похожей на задыхающийся кросс по пересеченной местности. По лесу и оврагу, по заросшей корнями тропе и по скользкому рыжему косогору, по каменистой пустыне, и по сизому плато среднегорья, и по мокрому песку морского пляжа, под небом вечной глубины.

Бежать-то бежал, но одновременно на бегу, задыхаясь, собрать все, что можно и нельзя, и как можно больше женского мяса,

мяса еды, формы вида и цвета жизни, как можно больше необходимых знакомств, тщеславия, образования, музыки песен... В пользу отца можно было сказать, что безалаберность жила в нем вместе с наивностью, удивлением и, главное, с тем, что ничего из этой огромной жизненной силы путного, толкового не выходило, а сплошной, никчемный запой, служивший отцу пешеходным мостом из его двадцатилетней давности Ленинграда в двадцатилетний Иерусалим.

Мысль отца скользнула по милиному нефокусированному облику и не плавно, болезненно перескочила на двадцать лет назад состоявшийся отдых, от института имени Ульянова-Ленина, когда он остался в летнем городе, не поехал со стройотрядом, не поехал отдыхать в прибрежный сосновый лес на бело-желтый песок. Почему-то он стал записывать прозу, как тогда было модно, без подлежащих, которая как бы сама текла неорганизованно ритмично, что опять же было тогда модно, но он этого не знал, вдохновенный юноша, а просто так получалось. Шел июль 1966 года. В Лондоне проходил чемпионат мира по футболу — Эйсебио, кричали телевизоры во всех окнах. Где Маркаров и Стрельцов? — спрашивали граждане СССР — советские люди.

Семен гулял по Старому Невскому в сторону площади Восстания душными вечерами, в бесцветном воздухе так называемых белых ночей, изредка попадая под летний ливень, вечерний "Июльский дождь". Он познакомился с ВЭКА и ВЭША. У ВЭКА была своя комната в родительской квартире. ВЭКА пил с Семеном сухое вино "кабернэ", слушал Вивальди с Семеном и читал свои замечательные стихи Семену сильным учительским голосом. ВЭКОВА девушка в такт стихам начинала постукивать рукой по столу, но ВЭКА взглядом немедленно прекращал постукивание. Белая ночь вольно лежала вокруг них, рассекаемая молниями ВЭКИНЫХ строк.

ВЭША на парковой дырявой скамье громко читал Семену свои тоже очень хорошие стихи, разницу между которыми резко подчеркивая глотками крепленого советского вина из толстой литровой бутылки, которая тогда прозывалась "фугасом".

Выпив бутылку, отправлялись гулять, вступали в Куйбышевский район, торжественно переступая границу. Горели фонари, как бы обернутые ватой, о медленный взгляд милицейского на углу Литейного проспекта можно было порезать кожный покров тела и мышечный до кости, и девушка в капюшоне, кото-

рая шла с ними от Старого Невского, прикоснувшись к этому взгляду, болезненно и восхищенно вскрикнула. Некоторые на этот взгляд специально ходили посмотреть издалека. Миновав его, уже беспрепятственно пошли по Литейному к Неве. Там, вдали, за рекой, в длинном неуклюжем доме, в довоенной квартире с высокими потолками, обставленной трофейной немецкой мебелью, их ожидали.

Семен, который одновременно с творческим переживал процесс национального возрождения, вдруг скромно заикнулся об этом.

— Да нет, он чудный человек, у него язва, — сказал девушке пьяный ВЭША.

А уже дошли до Большого дома — малоосвещенного, действительно большого здания. Широкий мокрый тротуар вдоль и вокруг него был безлюден, черен и блестящ — выжженная советская земля.

— Посмотри, о Боже мой, на свои дела... — сказал ВЭША, — вообще, что такое. Сема, вы же талантливый человек.

— У меня нет язвы, отстаньте от меня, ВЭША, — обиженно сказал Семен.

— Все же вы должны мне рассказать, в чем это выражается, национальное возрождение, — сказал ВЭША.

Вышли на мост, на нехолодный ветерок, пахший рыбой. Закопченный буксир с привязанными поверх бортов покрывками, вяло плеща невской водой, тихо тархтел свой путь. С набережной человек в шляпе ловил русскую рыбу. Клубился в сером небе черный дым над трубами рабочей Охты. Заката не было, рассвета не было. Был тусклый, дождливый вечер, называвшийся белой ночью.

— Это постоянное горение души, новый язык, — начал рассказывать Семен.

— Все же вы, Сеня, должны мне объяснить, — сказал Вэша.

Лицо Вэша, неорганизованное в арийском смысле, как, впрочем, и в любом другом, в гармоничный профиль и анфас, было требовательно обращено к Семену. Тому было необходимо объяснить, как схватывает тебя и сжимает эйфория нездешней жизни, как новый по звуку и рисунку язык изменяет тебе голосовые связки и сухожилия кисти, как розовый туман знаний из неизвестной прежде Книги приобщает тебя к людям с другим

строением лица и души. Не лучшим, не худшим, а другим. Назло вам всем я другой. А кому всем, Сема?

И это вот все Семен объяснил, как умел.

— Есть в этом, вероятно, что-то, — сказал Вэша, — что-то провинциальное и антихудожественное, хотя я и допускаю, как это может увлечь и стереть все остальное, как маловажное и могущее подождать. Очень жаль.

Вэша совсем не был советским дикарем и даже кое-что знал из так называемых “библейских легенд”. Он отличал христианство от иудаизма и считал и вслух повторял, что “поэт обязан во что-то верить”. Так как другие люди и их жизнь его не занимали, стоило бы отметить и его вопрос, и то, что он дослушал ответ и отреагировал на него. Вэша слушал только себя, за это его не любили женщины, но это его не слишком задевало. Удивление, злость, смех, восторг возникали у Вэша только по поводу собственных мыслей, слов и поступков.

А вот девушка как-то вскинулась. Она еще и хотела, чтобы Семен ей понравился, он ей и понравился, так сказать, внешне, плечист, хотя и не речист, но так как она была знакома с определенными людьми вольных профессий и дарований, то необходимо, чтобы этот человек был не просто так, — с радостью она это обнаружила — этот молодой человек сильной и привлекательной наружности был не просто так.

Она обернула к нему свое еще неотчетливое, еще неопределенное овальное лицо с молодыми узковатыми глазами и сказала:

— Ах, как это все интересно, Сема.

И эти слова, и ласковый взгляд и светлых, и серых глаз хотя и сказали и повлияли весьма основательно на состояние семинной души, но все равно, так уж он был устроен, ему важнее был Вэша. Вэша, потеряв уже почти девушку, не собранно и несколько надменно шел рядом являя собою желанную и доступную добычу хулиганов Петроградского района Ленинграда и других районов этого славного города тоже. На улице Вэша еще кое-как справлялся с грехом пополам, с помощью Бога, друзей, милиции, но вот жизнь, жизнь. Бедность. А Вэша при всей надменности, углубленности был готов к компромиссу. Он желал быть напечатанным, быть популярным, в славе, вине, цветах, деньгах, дамах. Он был готов на многое для этого. В принципе, на очень многое, почти на все. Он был советским молодым чело-

веком. Но, вероятно, он слишком этого хотел и был чуть слишком одарен для этой важнейшей малости.

Отношения Вэша со стихотворным словом и его музыкой не вызывали зависти. Чудес в его стихах не было, и холодный восторг не пробирал слушателей, хотя голос у Вэша был и место его было почетно выше среднего. Он шел сейчас возле Семена и девушки отстраненно-тонкий, широкогрудый, хорошо, даже тщательно одетый, похожий на юного кандидата от траектории или топологии, и его строгая, четкая внешность говорила о многом. "В зеленом с ног до головы выходит... Робин Гуд", — сказал Семен.

Вэка все же говорил:

— Ни за что, — хоть ему и так никто не предлагал. — Я кончил их аспирантуру, так им еще и мои стихи отдать, — опрометчиво говорил он.

И все они в этот вечер направлялись к Тане, выпить-закусить, посидеть-посмотреть. Все были в нее немножко влюблены, она была киноведем и соответственно чудесной красавицей со счастливым лицом.

— Скажи мне, Таня, когда в СССР сделали первый цветной фильм, — спрашивал Вэка.

— "Груня Карнакова, или Соловей-Соловушка", — как на экзамене отвечала Таня, для самой лучшей отметки, поправляя волосы и добавляя от себя: — 36-й год, а звуковой — "Путевка в жизнь" — в 32-м году.

— Давайте зачетку, ставлю вам пять, — нежно говорил Вэка.

Он очень любил женщин. Всех. Считал их справедливой частью пейзажа, любил их за женский дух, за походку, за посадку головы и таза тела, за линию ноги и бока, за капризное выражение лица, за слабость, за некоторую известную непоследовательность, за их особую одежду и за наготу. Любил потереться возле женщин, послушать их, как говорят, как дышат, как курят, как и что одевают, как неритмичными рывками наступают счастье — и не переставал удивляться.

Татьяна была человеком интересной судьбы и редкого характера — два раза была замужем и три раза разошлась. Все были в нее влюблены. Женской конкуренции она не боялась. Любая и моложе ее. и стройнее ее. вызывала у нее искреннюю гримасу сожаления и сочувствия: "Что, мол, поделать, милая, так уж получилось". Она готовила уху "царскую", как говорил, прислушиваясь

к запахам кухни Вэша, обожавший покусать и поговорить о еде. "Одна, — выговаривал он строго, и темные глаза его вспыхивали, — но пламенная страсть". Видно было, что он говорил правду.

...а также разнообразные вторые блюда различных народов мира.

а также танин папа, Сергей Павлович, живший в комнате за стеной с таниной мамой, почему-то просто Юлей, а и правда, очень молодой, русалочьего вида павой. Изредка она заходила на сборища у дочери и внимательно слушала стихи, стоя у стены, руки сложены за спиной, гладкая, так называемая "балетная" прическа, и сразу видно, чья Таня дочь, а может быть, сестра.

Когда танины родители, мама и папа, выпивали по лишней рюмке-другой, то мама Юлия обычно начинала неожиданно низким голосом петь: — На горе стоит ольха, а под ольхою вишня, ах, полюбил цыганку я, а она замуж вышла.

Голос ее разлетался, и дочь Таня собирала его осколки своим смурным, молодым и тоже низковатым голосом: — Эх, раз, еще раз, еще много-много раз... и странный юноша Дима медленно вылезал из левого угла стола, взмахивая гибкими руками, как птица лебедь, на свободное место у дверей и там довольно складно и долго топтался, шлепая ладошами рук по своим башмакам и коленям. Это называлось "цыганочка с выходом".

— Ах, загуляли юльки, — восторженно говорил танин папа Сергей Павлович.

Затем он выходил из комнаты и через мгновение возвращался с огромным инкрустированным аккордеоном роскошного белого цвета немецкой трофейной марки "хохнер". Он растягивал меха, и танец немедленно прекращался. Сергей Павлович утверждал стул, занимал место танцующих и начинал петь, аккуратно себе подыгрывая, "на позицию девушка..." Неизрасходованная российская лиричность перебивала тихий восторженный романтизм немецких мехов. У Сергея Павловича не было претензий к творцу. Он всех простил, и за войну, и за лагерь, и никого. Сергею Павловичу нравилась жизнь во всех ее проявлениях, даже кожаный, новый скрип ботинок во время его музыкальных упражнений.

Некий летательный аппарат, по всей вероятности вертолет с кинооператором, довольно низко пролетел над полем, мягко и мощно продувая проплешины в густой, в полчеловеческого роста траве, разгоняя перед собой свежую, холодную, зеленую вол-

ну, как вдруг на неожиданной полянке остановившись, заснял струнный квартет, расположившийся кругом. Четверо музыкантов в белых фраках, с вдохновенными лицами, играли свою песню, и даже знающий человек мог бы определить что, так как слабо, но отчетливо слышна была мелодия. "...проводила бойца".

Все-таки последний номер программы был излишен.

— Невозможно, — негромко сказал Вэка, — только драки не хватает.

Однажды, гуляя, Вэка забрел к Тане, на чай и сеанс красоты, как он выражался — "голубой огонек". Тани не было, и Вэка побеседовал с Сергеем Павловичем целый вечер на дорогую обоим тему о фотографии. Когда Сергей Павлович понял, что это не какой-то там чумной, подозрительный, не русский тунеядец, а вполне нормальный аспирант, молодой комсомолец, хотя и поэт, то невероятно обрадовался. Прихрамывая, чуть приседая на шаге, он принес из другой комнаты фотоаппарат кубической формы, в который, знаете, прицеливаются, заглядывая сверху, "маленькую", не нуждающуюся в дополнениях словом, так как она является и эпитетом, и подлежащим одновременно, и эмалированную миску с солеными огурцами. Рюмки хозяин достал из буфета, повертел, обдул и обдумав признал годными.

Вэка показал ему за все это знаменитый журнал "Чехословацкое фото", который носил в последнее время всегда с собою.

— Зарубежные выкрутасы, — полистав лоснящиеся листы, констатировал Сергей Павлович. — Давайте я вас сфотографирую в анфас. Прямо, просто и честно.

— Я прошу вас, потом, нет, правда, потом, я не люблю своего лица, — сказал Вэка.

— Потом, так потом, — легко согласился Сергей Павлович.

Он пододвинулся к столу поближе и начал есть соленые огурцы, так как водка уже кончилась, а огурцы еще нет. Соленые огурцы никогда у Юлии не кончались, будучи предметом онтологичным. Потому, что были полезны и питательны и вкусны, потому, что Юлия умывалась рассолом по утрам, а Сергей Павлович поправлял внутренние органы здоровья утренним стаканом, приправленным кайенским молотым перцем, потому, что рецепт засола переходил в юлиной семье по всем женским поколениям со времени отечественной войны с Францией.

А фотографии своим "контаксом" с цейсовским объективом, приткнутым байонетовым штыком, Сергей Павлович делал очень

хорошие: приглядится, прижмура и так узкий глаз, “приподыми подбородок, подберись, так, хорошо”, вспыхнет магний, и вот фотография — моложавая, сбереженная жизнью женщина с вольно распущенными волосами, резкоглазая пава, белолицая и задумчивая. Мама Юля перед гуляньем — название Сергея Павловича.

В этом чехословацком журнале была высмотрена Вэка небольшая фотография в самом конце номера и немедленно показана Семену. Два молодых человека на фотографии, в черных шляпах и сюртуках, молились, вероятно, подняв белые отчаянные лица к небу. Подпись под фотографией гласила: “Израиль”. Израиль... Как Сема за эти фотографии схватился, как они пришли в лад его душе, подошли настроению, вмастили. Он радовался похожему строению своего и их благородных и тонких лиц, общей тайне, причастности, принадлежности. Полистав альбом, проглядев его, наудивлявшись на такое обилие мастеров объектива и их чуть вычурных, почти гениальных, чуть искусственных из-за красоты и выразительности работ, Семен сказал Вэка, с которым был на ты:

— Ты мне должен этот журнал ссудить на парудней.

Вэка пригляделся к Семену почти с сожалением и кивнул, конечно. Семен, писавший прозу с огромным количеством оговорок, поехал к своему учителю иврита. Тот жил возле Балтийского вокзала в буром петербургском доме на шестом этаже в коммунальной квартире на четыре семьи. Ну, конечно, одиночество, запустение, с необъяснимо возникшим необходимым словом конечно. Этот человек, одержимый другим языком, должен был быть в Ленинграде вот таким: в железных, круглых очках, в бедной рубахе, с распадающимися, мягчайшими волосами, средних лет подвижник, живущий Бог знает где. Когда Сема торопливо входил в его парадное, то там возле батареи обязательно кто-нибудь лежал отдыхал. Во дворе стоял пивной ларек, окруженный пружинной очереди. Подельник лежавшего, повернувшись ватной спиной, писал в углу. Квартиросъемщица с первого этажа обращала внимание “гадости в ватнике” на запах и журчащую неточность:

— Что же ты, пьянь горбатая, делаешь? На что льешь? — орала она, вставши у двери.

— От пива писают криво, — популярно пояснял дядя, застегиваясь, встряхивая стан.

Глагольные формы счастливо узнаваемого языка, перебира-

емые Семеном и учителем за чаем в граненых стаканах, звучали странно под поднимающиеся снизу крики пьяной шпаны. С одной стороны, счастье, что вот я в другой команде, не с вами, с нескрываемой гордостью "я не ваш". Еще был стыд, как бы неловкость, потому что этот, как говорили в футболе, "переход" в команду гостей был слишком очевиден... Легко и понятно было встать на эту сторону от этих. Сему тревожило что-то неопределимое, чему он боялся дать название, и никакой разум, никакая память ничем не помогали. Новые звуки эти высушали Сене горло и рождались с огромными непропорциональными усилиями на этот не подходящий для них свет.

— Но все равно это безумие, безумие, — сказала Таня. У нее был роман с Семой, который оба от всех скрывали.

— В этом городе ничего нельзя скрыть, — говорил Семе Вэша. — Как и в любом другом; кроме того, что скрыть можно.

Об этом романе знали и Вэша, и Вэка, который не смирился и надежды не терял. Причины скрывать "факт наличия любви", как говорил серьезно Вэша, у них видимой не было. Просто так пошло и пошло — скрываем и скрываем. Таня была его старше на семь лет. Учитель Сеню бы осудил. Не вслух, конечно, но осудил бы, покосившись и скривив худое лицо. Учитель считал, что в страсти люди перестают различать хорошее и плохое.

Был, был у Сени размах и полет. Был изыск в изучении этих глагольных, никому как бы не нужных форм, построении абсурдных фраз в этом Ленинграде на краю цивилизации. Вообще, он, в каком-то смысле, и учил этот язык из-за некой несовместимости его (языка), этой земли и себя. А эту женщину он просто любил. Да, у них был роман. Они соединяли губы и рты в том, что называется лопающимся по слоговому шву словом "поцелуй", они соединяли тела на таком любовном звуке, что немедленное несоединение могло принести смерть. Соединение тоже со смертью граничило близко-близко.

Конец недели на чьей-то скрипящей дачке в Разливе. Субботнее "утро после боя". Семен, спавший навзничь, открывает глаз и обнаруживает себя одиноко лежащим в колющем ворохе крахмальных простыней. Взгляд его перебирается по крашеному дощатому полу до обнаженной женской ступни, поднимается по теплой ноге, выше, выше к лицу, укрытому вуалью, сотканной из тени от тюлевой занавеси, висящей на раскрытом в сад сияющем окне. Лицо Тани, которое он никак ни с чем не мог

сравнить, с серьезными глазами, было невозможно далеко от него, на длину его нынешнего взгляда. Таня не шевелилась, только глядела на него, не могла сойти с портрета.

— Здоровье как? — спросил Сеня.

— Невесома, — сказала Таня.

Она пошевелилась, но с места не сдвинулась. Отличное было место, в простенке, усуженное. Она сидела на венском, ажурном стуле, оттеняя цветом своего тела цвет утра. Она еще слышала обморочные звуки минувшей ночи: шершавый всплеск чиркающей спички, гулкий перекат по полу упавшей бутылки, музыкальный перебор дикторской речи на светящейся шкале приемника. Ее кожа и душа помнили еще натруженное дыхание его легких и набухающий стук его сердца. Она еще вдыхала хвойный, морской воздух этой ночи, наполненной теплым гулом залива и окрестных роц.

— Не спи, не спи, художник, — ласково сказала ему Таня.

— Я не сплю, — ответил Сеня, а ему надо было сказать “я не художник”.

Они попили чайку в неожиданно городской кухне и вышли из дому в значительный пустынный день. Они пошли по бедной немощеной улочке, вдоль забора, за которым росли гладкотелье желтые сосны, к станции. Пахло кошеным газоном и нагретым живым деревом. Они шли, попрыгивая из тени в тень, засвечивая лица на ходу, и она прижимала весомую лиру своего тела, на которой Сеня сыграл ночью свою незамысловатую и чудесную песню, к его широкой плоской стати, не специально возгорая тлеющий между ними огонь.

Но уже им навстречу деловито и сплоченно шли три мрачных молодых человека. Временами ритм их движений распадался, и они должны были перестроить ряды, чтобы восстановиться. Нет нужды говорить о дисгармонии их душ, метавшихся между боями с тяжелыми увечьями, и боями с просто увечьями, и просто боями. Извечная российская проблема. Их лица пригородных злодеев не несли на себе блаженной печати выходного дня. Они были в тяжелых пиджаках, но в одежде их наблюдался беспорядок: один был бос, у другого не было рубахи. Души их, как уже было сказано, метались.

— Ты что с ним идешь? — спросил один постарше, повыше, без нарушений в одежде костюма, в галстук и со значком в лац-

кане пиджака. Художественный руководитель, так сказать. Начальник команды. Руководитель проекта. Старший тренер.

— В чем дело, ребята, нельзя? — затревожилась Таня.

— Ладно, дай два девяносто четыре, — сказал второй, под стать первому, но без рубахи.

— Что два девяносто четыре? — спросила Таня в ужасе.

— Рубль сорок семь, портвейн два раза, захмели, хозяйка, — попросил первый.

— Да я бы с удовольствием, только нету у меня, нету денег, — сказала Таня.

— Не кричи — верим на шепот, — сказал первый, — а ты хмырь, у тебя что, тоже нет?

И наш Сема чего-то вспылал.

— Пошел на... — весело сказал он.

Лишней тени не набежало на их лица, наоборот.

— Горячится видишь, рубля рабочему человеку жалко, реки вспять повернул, — непонятно буркнул первый и повернулся к третьему, босому участнику так резко, что галстук его взметнулся, показав гладкую желтую подкладку: — Покажи ему, Коля.

Слаженно первый и второй расступились, и Сема увидел перед собой в четырех шагах этого Колю, круто наполнявшего розовую оболочку своего тела, от этого даже толстоватого, в костюме частного пошива, краснолицего от вина и здоровья.

Призванный Коля чуть присел к Семену, боком сжав руки возле бедер. Все это могло бы быть смешно, а было страшно.

“Вот он, конец мой, смертушка моя, и не убежать”, — судорожно подумал Сема. Он тоже принял некую боевую стойку — неуверенное подражание средневеку Фролову. Его подташнивало, хотелось повернуться и уйти, забыть, но это было невозможно. Надо было здесь стоять, как дураку, и ждать этого Колю. Таня начала с треском, упираясь ногой, выдирать из сплошного забора доску. Коля сделал один боевой шаг вперед, ноги его скрестились, тут его надо было ударить, но Сема не ударил, не решился, и заплатил за это. Коля сделал второй, быстрый и вкрадчивый шаг и, подняв ногу и отогнув тело, нанес толстой ступней бойца Семе удар по корпусу между локтями и предплечьями. Сема захлебнулся воздухом, начал падать, и Коля, азартно застывший возле в угрожающей позе, нанес ему сбоку двойной догоняющий удар по голове, у Семы сразу пошла кровь из ушей и носа, и он упал на землю лицом вниз в густую лужицу из его натекающей кро-

ви и дорожной пыли. Страх смерти не пробрал его до самого дна души, не пронзил его сердце, так как сознание сразу оставило его тело. Даже заболеть ничего не успело.

Коля отошел в сторонку, осматривая одежду. У него от всех событий лопнули по шву брюки, и вид одежды огорчил его. Он качал головой, цокал и ругался матом. Парни потоптались возле лежавшего Семы вроде бы смущенно, и первый в рубаше сказал второму без рубахи:

— Вот дал бы денег, видишь, и цел бы остался.

— Что говорить, два девяносто четыре пожалел. У таких души нету, наверное. Впредь наука будет, дрянь такая, — сказал второй без рубахи, — пойдем, Коля.

Парни ушли по улице очень недовольные. Коля все время разглядывал свои брюки, пытаясь рассмотреть на ходу свои ягодицы, что являлось делом трудноосуществимым. Тогда друзья Коли тоже осмотрели его брюки с двух дружеских сторон и нашли урон, в один голос, невосполнимым никак. Тогда Коля очень разозлился, развернулся и быстрым шагом подошел к лежавшему Семе, над которым хлопотала Таня. Коля отодвинул Таню рукой и несколько раз попинал Сему ногой. При этом Коля сказал, что “гад такой, брюки выходные из-за тебя порвал”. Про отсутствие ботинок он не вспомнил, хотя без них он из дома выйти все же не мог. Затем он как-то внезапно опомнился, остановился, примолк, пошел очень быстро, уносил ноги, но Таня углядела в нем что-то, в выражении его лица, некое смущение, досаду, даже ужас, который он тоже пытался забыть своим странным частым бегом, с высоко поднимаемыми коленями, со стучащими по земле пятками. А может, он просто отбил ноги об Сенью, и это был не ужас на его совсем не зверском лице, а боль.

Привести Сенью в себя было трудно. Таня безуспешно, хотя и умело, по-сестрински, хлопотала, но посадить, вернее, прислонить Сенью к забору с неотломанной Татьяной доской смог лишь кособрюхий малый в шортах, намывавший свою машину радужной веселой струей из садового шланга. Мальчик этого плантатора, тоже голенький, в шортах, пытавшийся зафиксировать папу через водяную стену на отечественную фотопленку, вдетую в фотоаппарат “Смена-2”, принес из дома полотенце, и мужчина, намочив его, повяко обмыл сенино окровавленное лицо, руки, шею, грудь. За ухом к затылку тянулась обнаруженная кровоточащая глубокая рана, и мальчик сбежал домой еще раз, принес картон-

ную коробку с инструментом и материалом здоровья, и мужик сноровисто и прочно рану обработал и заклеил, бормоча себе под нос:

— Ничего себе рана-раночка, топором они вас, что ли?! Ах, ногой! Нога-то, верно, в 45 сапоге? Ах, максимум 37-й, ах, бо-сой, потрясающе, не верю, уж эти мне русские хулиганы, вот и все, кончено. Хорошо работает хирург Козодоин Г. И., СССР.

Мальчик все же успел чикнуть навсегда улыбающегося до ушей отца своего возле навсегда неотмытой машины, навсегда целуемого таниными благодарными теплыми губами. И все это на фоне прежнего забора и прежних деревьев и побитого, виновато пытающегося улыбаться Сени с опухшим ухом и подбитой скулой.

Было непонятно, как они добрались до города. Правда, электричка была пуста. Местные тетки и редкие мужчины на вокзале стеснялись смотреть в их сторону, а дачники и вообще опу-скали глаза к полу, и Таня, обняв Сеню за талию, нашептывала ему на ухо:

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет, я расскажу ему
Про девушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет! я должен рассказать.
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

- Кто это? — спросил Сеня.
- Гумилев, — сказала Таня.
- Ужасно, — сказал Сеня.

За окном под нарастающий гуд рельс летел еловый пейзаж Лахты с желтоватыми и густо-голубыми пятнами пологого мо-

ря с кусками плоского пляжа. Привычный скромный пейзаж, убегавший от Сени навсегда — только он этого еще не знал.

— Как он тебя с воздуха, ты помнишь?! — сказала Таня. Ее счастливая улыбка обнажила клыки ее рта и, заметив взгляд сенин, она, как бы поперхнулась, смутилась.

— Знато, конечно, обучен, — вяло согласился Сеня, осторожно пальцами касаясь уха.

— Но ты понимаешь, чему я восхищаюсь? — тревожась спросила Таня.

— Кажется, — сказал Сеня. “Почему я должен всех понимать, а не плакать”, — подумал он сердито.

— Мне просто очень нравятся мастера своего дела, — объяснила Таня.

— Заслуженные мастера мордобоя, — сказал Сеня, — только обидно, как в школе.

Сеня посмотрелся в дрожавшее окно, не узнал себя. На раме было выцарапано матерное ругательство с ошибкой посередине. “Коля постарался”, — подумал Сеня, как бы сквозь сон.

И только когда они уже сошли на Финляндском вокзале, пересекли малолюдный гулкий зал и спустились за пять копеек в метро, где тетки в рабочих халатах выметали мокрыми опилками гладкий пол, его душу охватило страшное предчувствие будущей тоски. Он испугался и заплакал. Ничего нельзя было поделать. И Таня на дальней скамье перрона в неживом воздухе подземелья гладила его ладонью по голове, на которой две макушки обозначали огромное личное счастье.

Состояние наружного тела не позволяло Сене ехать домой, и они решили поехать к дяде Овсе, как его в семье называли. Жена овсина была работником медицинского профиля, одаренной представительницей русско-еврейской кухни, ореховое нутро буфетной горки являло очередной алкогольный секрет для тоскующей сениной мечты, не говоря об общей Овси и овсиной жень дочке, у которой была, правда, своя жизнь, но кто знает, да и потом праздничный отдых глаза. И даже рефрен овсиного воспоминания — непреходящий памятник литературного наследства, — поехали, Таня.

Квартира овсина, не здесь будь описана, была полторакомнатным домом с двумя одинокими соседками, вдовами от советского безумного жизненного распорядка, у каждой из которых была тоже своя комната, свой дом, свой столик, покрытый клеен-

кой в общей кухне, своя работа за малые советские деньги, свои вдовья прическа, своя вдовья одежда, свои вдовьи страсти, свои вдовьи привязанности и своя одинокая кровать.

Жена овсина, женщина не светская, зато очень добрая, тоже вполне могла остаться вдовой. Дядя Овся отсидел с 38-го по 48-й год (соседских мужей взяли без права переписки в 37-м) в так называемом заключении. хотя не сделал ничего плохого ни людям, ни фауне, ни флоре. Исчитали, что он мешал развитию общества, что было неправдой. Где был он, Овсей Самуилович, и где новое общество, покорявшее время пространства человека? Дядя Овся и его тихие дружки по вероисповеданию, не члены партии, были далеки от грома победных маршей и расстрельных сухих револьверных щелчков на расстояние развернутой книги, то есть на бесконечное далеко. Как вода от имения, как говорили люди немолодые, со старорежимной памятью.

Дядя Овся сел, и место его заключения было возле Воркуты. Когда он вернулся в Ленинград, то ходил боком от общей слабости, а также, чтобы его видели меньше, а он так и совсем никого. Он не совсем понимал, что происходит вокруг. Он знал, что есть его жена и Бог на небе, а остальные гады, суки, волки, воры, вертухаи, опера. Овся не стал повторником — хранил его еврейский Бог. Одна соседка при клокотавшем молчании второй долго мучила овсину жену в кухне, говорила дрожавшим злым голосом в сумраке ленинградских сороковых обидные слова за то, что ее мужа посадили и не отпустили без права переписки, а Овсе вот и посылки посылались, и письма, а потом он и сам домой пришел живой. И, вообще, неизвестно где Овся был, может, у Гитлера в плену, как кот в масле, на нашей-то кровушке.

И овсина жена, приглядывая за супом, глотала слезы и бормотала:

— Что вы такое говорите, как вам не стыдно?!

А потом как-то сорвалась и заорала низким страшным голосом:

— Замолчи, дура сучья, ты нас ненавидишь, а я тебя, гадина, еще больше.

После этого они уже не беседовали, и слава Богу. Кому Овся мог объяснить, что самый спокойный его год у хозяина был 46-й, когда посылки ему от жены по какой-то причине не было. И хотя безнадежное, привычное чувство голода и ужаса осталось, зато

свалилось и ушло тошнотворное, сводящее с ума чувство, с которым надо было идти в каптерку, получать распотрошенную вохровцем посылку, затем торопливо есть в боковой комнате, как можно больше и скорее. Затем надо было выйти на улицу, прийти в барак к каторжникам, которые могли украсть, отнять, избить, забить, убить, потому что были голодны, хотели курить, хотели убить, и все это делали. Потому что если на свободе люди это делали, то уж в неволе для этого были созданы условия.

С Овсей дружили, надеясь на его посылки. Обязательно надо было принести лагерному доктору Пилипчуку папирос. Пилипчук был летчик, а не доктор, но жена прислала ему ящик марганцовки и его назначили врачом. Пилипчук был здоровый, не злой человек, смотрел на мир, как на цель для бомбометания, и потому ладил со всеми. Замолил слово Вовочке, хозяину блатных, и Овсе в столовой давали черпачок погуще с придатком.

Но папиросы, и колбасу, и сгущенку в тот раз молча забрал Фиксатый, слезший с верхних нар от Вовочки, оставив Овсе полпачки “Казбека” и черных душистых сухарей, остаток которых утром у Овси украли. Пять папирос тем же утром Овся отдал бригадиру Королеву — был обязан, а с пятью оставшимися сбегал в санчасть.

Пилипчук, впустивший Овсю, только поглядел на черное овсино лицо, на мятые гильзы папирос, обернулся к окну и напугавши сухожилия и мышцы своего нежносмуглого малоройсского лица, которое еще не прихватила каторга, благодарно улыбнулся, сверкнув круглыми, черными глазами:

— Спасибо, Овсей Самойлыч, большое спасибо, да вы садитесь.

Овсей присел на стул возле стола, устланного двухмесячной давности номером “Воркутинской правды”.

— Отняли все псы, да?

Овся кивнул.

— Выпейте вот, погрейте душу, Овсей Самойлыч, — и Пилипчук налил в настоящий стакан из стекла белой водки из московской зеленоватой бутылки. Заполовинил, заполонил, смягчил. Овся не видел стеклянного стакана и белой водки восемь лет и забыл, что они еще есть на белом свете. Они осторожно чокнулись, медленно выпили, закурили по “казбеку” и прилегли на дымные сладкие облачка. Бумажный черный репродуктор играл музыку того года “хороша страна Болгария, а Россия лучше всех...”, окно врачевальни было завешено пушистой морозной занавесью,

чистым оранжевым цветом калила прерывистая спираль круга электроплитки.

— Пойду я, Петр Андреич, пора. Большое спасибо, — с трудом вставая, сказал Овся.

— С Богом, Овсей Самойлыч... — Овся вышел на улицу, в рабочий бодрый день.

На старости Овсей начал писать воспоминания. Исписал аккуратными рядами слов двойную тетрадку. Это было только начало, потому что он с трудом добрался до восемнадцатого года от начала века. Еще столько всего было. Он думал об этом с удовольствием, точил бритвой карандаш, прибирал дочкин стол перед окном с видом на Адмиралтейство и записывал свою жизнь, уместя ее в слова.

Сенины раны залечили, он умылся водой с мылом, рубашку его зашила незаметным швом овсина дочь, мастер шва, иглы, текстиля, они с Татьяной дружно пообедали райской еврейской едой из коммунальной пустынной овсиной кухни, выпили с Овсей, который с ними был заодно, молдавского коньяка душистого янтарного цвета, затем выпили еще раз, затем еще раз с Таней, потому что Овсе было достаточно, затем Сеня сам, сам, сам. Затем Овся извлек папку с тетрадами и сказал: "Воспоминания моей жизни".

Склонившись на убранный уже стол с рюмкой в руке перед дымящимся стаканом с чаем, Сеня слушал уютную овсину скороговорку, зарисованную мягким карандашом фабрики Сакко и Ванцетти, оставлявшим жирный след частого овсиного почерка. Голос овсин был похож на его почерк — высокий сильный баритон, огрубевший и потолстевший на морозе. Тюрмароза. Овсина дочь, таинственная юная девушка сюрреалистического вида, живо вязала в углу шарф с кубическим желто-черным рисунком на шею безвестного принца. Она уже слыхала эти вдохновенные строки, Сеня тоже, ну и что?

"Маленький городок, большой лес кругом, рощи, сады. Поют птички, гудят пчелы. Дачная местность. Можно хорошо отдохнуть. Мне десять лет. Вокруг живут разные люди. Выделяется сосед Колокуйский, по национальности белорус, себе на уме. Он еще нас позже обкрадет во время отступления в восемнадцатом году.

В канун праздника Кущей 1915 года в наш город вошли немцы. Мировая война, которая началась раньше и наделала много шума в мире, была вначале не страшной. Немцы ехали на сытых гладких

лошадях. Офицеры были любезны, не устали, улыбались и говорили между собой по-немецки...”

На пятой примерно странице Сеня терял понимание происходящего, плывя в мелодии слов, по океану моря качаясь на волне, которую придавал этому тексту Овся голосом горла и темпераментом крови. Прихлебывая из стаканчика, покачиваясь на ритме, Сеня узнавал вдруг какие-то слова из овсиного туманного наговора: “революция”, “бандит”, “махорка”, “самогон”, “Буденный”, “Махно”. Из них одних можно было сложить повесть.

“Как пишет!” — восхищенно думал Сеня. Ему нравилось, что так можно поступать со словами и собственной жизнью, ему нравился ритм мелодии, ему нравился голос Овси и отчасти ему нравилось все это, потому что он мог это понимать.

Овсина жена, безмолвно сидевшая за тем же обеденным столом, кутая тело плеч и тело спины в невесомый, бесконечный оренбургский драгоценный платок, остановила мужа движением руки и неожиданно властно сказала:

— Не лейте мимо рта вино, Сема.

Она не смогла больше терпеть сениного вида и сказала то, что сказала. Таня обернулась и с гримасой Бог весть чего быстро вытерла ему платком мокрое лицо плотным движением ладони. Сеня качнулся в наступившей тишине, но стакана не выпустил. Овсей Самуилович кашлянул и порокотал дальше вдоль своего детства, прошедшего до революции при царе Николае, но в черте оседлости, в так называемом местечке в соседстве с белорусом Колокуйским, оказавшимся позже лукавым человеком.

В их компании господствовала тогда утвердившаяся затем повсеместно теория о необходимой известной наивности художника. Овсей подходил под эту конструкцию, построенную Взка на теоретическом досуге, как рука маэстро в лайковую туго-белую перчатку. Сене искренно нравилось это повествование из простых чистых фраз, не изуродованное так называемым изощренным умом писателя. Правда, протрезвев, он к этим мыслям не возвращался, отмахиваясь от них и забывая. Как и многое другое. После выпивки у него по утрам бывало настроение ужасное, он не нравился себе и мрачно думал о будущем.

— Передаем популярную музыку, — сказал под сениным ухом забытый приемник, — сейчас в центре Иерусалима на площади Сиона, когда я шел на службу, термометр показывал 23 градуса

тепла, улица Йоэль Соломон была пустынна и свежа, белесая взвесь остатков тумана висела над моей головой, я был весел и почти счастлив. Шесть часов восемь минут, битлс, помните их? поют для вас песню “кам бэк ин ю эс эс а, там самые красивые девушки”.

Сеня передвигался по своей жизни взад и вперед, как движок на логарифмической линейке, оставшейся лишь в нашей тусклой памяти. В этих передвижениях наблюдался только явный крен назад, как у неправильно груженого судна, что было объяснимо — Сеня был перегружен на молодость, и инженер, проектировавший его жизнь, совершил в плане не ошибку, он не ошибался, просто это был составлен такой план его сениной жизни.

Таня, как человек влюбленный в движение, относилась к словам, сочиненным Овсей, вполне добросовестно, но и без должного пиетета. Вот когда на экране, и неважно каком, и неважно что, или движение слов стихотворения, или движение любви, тогда мерцание восторженной души, или вот плыть в воде, или нырять в нее, прогнувшись, подняв счастливое лицо, раскинув прямо руки, напрягши вытянутые пальцы, вверх и стрелкою в воду без брызг.

“Все-таки Сенька негодяй, так напиться, а люди очень милые, а Овсей и вовсе прелесть, а Мила эта еще все же не соперница, может быть, через год-два дотянется”, — думала Таня, но ошибалась — уже Мила была ей ровня.

Еще Таня любила гремящие репродукторы на улицах, грубо отлитых сладко-праздничных карамельных алых петушков на неошкуренных лучинах, так называемые пестрые раскидаи, обернутые для прочности нитками, на длиннющих резинках, украденных с какого-то хитрого прочного производства, бездельную пьяную толпу с неутомимыми поводырями и, грешным делом, бордовые знамена и лозунги на домах, на которых Бог знает что было написано.

А еще она любила этого Сеньку, что-то в нем расчувствовала, за его как бы резиновой улыбкой, за этой его гладчайшей “персиковой” кожей. Но вот не поэтому, не из-за этого, потому что никто не знает, за что любят люди один другого. Ей мешало, что она старше, что он не все время с ней, она ревновала его к этой Миле, в общем у нее была сложная жизнь. До воспоминаний ли Овси ей было?!

Овся зачел про мешок с неизвестным содержимым, который

больно упирался и натирал ему спину в августе 1918 года, и Сеня тут же увидел, как Таня минувшей ночью, закинув руки за голову, упиралась ладонями в стену, со странной белесой улыбкой внимая его тело, с каким-то глухим полувздохом. Пришлось прикрыть ему глаза лица.

Затем промелькнуло у Овси словосочетание "подставил прямое плечо" и так далее, в общем глаза сенины были закрыты для посторонних, и по гладкому куполу век, изнутри их, двигались медленные оранжевые его и ее тела.

После этого дня Сеня начал ходить по инстанциям, и надо было видеть, как на него смотрели чиновники, секретарши и прочий другой советский люд, когда Сеня излагал достаточно внятно свою желанную и законную просьбу о воссоединении со своей теткой из города Натанья. "Такой молодой, а уже еврей", — говорили взгляды одних; "такой молодой, а уже, бедняга, помешался", — сожалели глаза других. Еще был испуг, смущение, потрясение, чего только не было у этих людей в глазах, но дело как-то двигалось, как и все в СССР, медленно, но верно, кроме тех дел, которые движутся быстро и тоже верно. Сеня часами заполнял анкеты, выслушивал уговоры и угрозы, еще было время старое, которое как бы шло медленнее, чем потом и сейчас, советские люди были сентиментальны и наивны. Одна женщина в шерстяной кофте с нарукавниками, в юбке кринолином, подтянутый солдат кадров, сказала при Сене второй чиновнице за соседним столом:

— Какой взрослый юноша, как будто войну прошел.

Она искала на полке нужную папку, приподнявшись на цыпочки, натянув спину и ноги. Сеня глядел на ее стати с должным вниманием, намеренно не понимая, что речь идет о нем.

— Они все быстро взрослеют, южане, — неодобрительно сказала вторая женщина.

— Южане хотят жить на юге, я правильно говорю, молодой человек? — улыбнулась первая, тяжело присаживаясь к столу.

Она начала выразительно что-то писать авторучкой, графоманский почерк чернил, в толстую конторскую книгу, изредка прицеливаясь взглядом на Сеню и клевком обратно к бумаге, видно, писала нечто интереснейшее и увлекательнейшее о Сене и его жизни. Сеня сидел перед нею, в разговор не вступал — так он для себя решил заранее. Эта женщина в югославской кофте должна была государственным лиловым штампом утвердить сенину судь-

бу, которая вся уже была записана давным-давно в другой книге, в которой, как известно, изменить ничего нельзя, тем не менее без этого штампа сенина жизнь должна была бы сложиться иначе. Но уж, по-моему, всем ясно, даже самым яростным кузнецам своего счастья, что с той, верховной, невидимыми чернилами записью сделанной никто не сравнится, а эти скудные печати самых всемогущих и могущественных организаций лишь подтверждение той силы, и нечего спрашивать, почему так, а не эдак, и за что, и почему? Никто знать не разрешал. Живи, пока живется, или не живи. "А мы с тобой, дружок, предполагаем жить..."

— А это кто написал?

— Мандельштам.

А с платформы говорят:

— Это город Ленинград.

Одновременно с этими хлопотами тяжело заболел Вэка. Он лежал дома с воспалением легких, пожилой, сухопарый врач озабоченно выслушивал вэкову грудь, считал с вэкова городского запястья пульс и слишком спокойно говорил в прихожей вэковой низко посаженной маме о том хорошем, что он узнал о вэковом здоровье из осмотра вэкова тела. Врач вытирал руки колющим от крахмала парадным полотенцем, тщательно разглядывая свои чистенькие новенькие пальцы. Весь его визит и вид как-то не внушал большого оптимизма. К тому же он впервые за тридцать пять лет знакомства не взял денег за визит.

Сеня пересек вэкову комнату с письменным столом у окна, из которого виделся простолинейный питерский пейзаж с проспектом и рекой. Слева от стола на стене висел фотографический портрет дамы с беспорядочными волосами. На пустой поверхности стола лежал черканый одинокий лист бумаги из ученической тетради в широкую линейку. Дальше в углу стояла вэкова кровать, застланная огромным зеленым одеялом, под которым едва выделялся, скорее угадывался сам Вэка, неожиданно больной, маленький и худенький.

Обычно Вэка сиживал у этого стола чуть боком к нему, заложив ногу на ногу, в вольной куртке, пошитой ему мамой, и внимательно и как бы брезгливо, из-за вниз опущенного рта, поглядывал в окно на северо-западное бледное небо родины, на так называемую Неву, на уходящую перспективу Литейного проспекта. Карандаш чудом не падал из его расслабленных пальцев. Как и всякий декадент, Вэка хорошо знал и понимал жизнь. Ему очень

нравилось, что этот обреченный столько лет Ленинград все еще обречен. Его продолговатый прохладный профиль напоминал, что все возможно в этой огромной земле. И такого возможно встретить русского поэта, из другой истории русской жизни и литературы, только на век течения русской жизни позлее, потоньше фигурой тела, поизощреннее.

Вэка выглядел ужасно. Сеня испугался его уменьшившегося лица, мерцавшего от температуры. "Ну что?" — спросил Сеня, дрожа от сострадания. Инстанция, которая решала вэкову судьбу, все уже определила и подписала, только Вэка этого еще не знал. Сознание его и так было замутнено. "Сто лет, как город обречен", — прерывисто повторял он свою строчку. Вэка уходил в сумеречный город Лим, в котором после смерти живут поэты. Неделю назад он говорил о Лиме, его прохладном, полезном воздухе с Сеней и был вполне здоров, как может быть здоров блокадный ленинградский ребенок. У него был неудачный роман в последнее время, даже два, но это еще ничего не значило. Поэты люди сильные и достаточно рациональные, особенно поэты декаденты. Вэка отнюдь не принадлежал другому времени, как можно было ошибочно подумать. Он был земли своей и страны своего народа сын. Век его не пугал — он его огорчал.

Сеня неподвижно посидел у его кровати час ленинградского времени, глядя на ускользящее вэково лицо, впалое, потное, исходящее. Ужас, жалость и сострадание держали Сеню на стуле сильно и безжалостно, как и положено этим чувствам. Птица покружила перед вэковым окном с вздувшимися занавесями и припорхнула на подоконник. Это был обшарпанный, бойкий питерский воробей. Непонятно было, чего он ждал, спугнуть его было невозможно.

Сеня подумал, как прекрасно все то, что люди делают друг с другом при участии своих совершенных для этого тел, начиная общего ребенка. Мысль эта не показалась ему вульгарной или бестактной в этот момент, а наоборот, и умной, и точной. С потолка слетела дневная звезда, скользнула, шипя о воздух, по стене, по вэкову лицу и сгорела где-то на полупространстве между кроватью и полом.

отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгорания,
сбегала на подушку по щеке
быстрее, чем я загадывал желанья.

— Кто это написал?

— Это еще не написано, это будет написано чуть позже за границей, в почетной эмиграции.

Месяц назад Вэка с серьезным видом катался на дамском велосипеде кругами по двору, будучи в круглом котелке и парадном костюме, без пиджака, зато с жилеткой и распушенным галстуком. Было это на даче таниных родителей в Стрельне на другой день после дня Победы, и два месяца, а не один прошли с тех пор. Таня смотрела на него через окно, потом не вытерпела и вышла, подседа к нему на руль, и они сделали вдвоем пару кругов, ухитрившись не упасть. Вэка губами вытаскивал заколки из таниной неорганизованной прически, напевая, что ему нравятся женщины с распушенными волосами. Так роскошно они показались, не хватало молодых плодов на голых яблоневых ветках, соседский мальчик, сидя на заборе, пускал на них мыльные пузыри, и Сеня очень ревновал. Потом вечером Таня ему сказала, когда он попросил ее собрать волосы в так называемую балетную прическу:

— Одному распусти волосы, другому заколи, поди угоди всем.

— А не надо всем, — сварливо сказал Сеня.

Татьяна осталась очень разговором довольна.

“И душу ей занять успел”, — говаривала она про себя любимую строчку, думая о Сене, о его душе, о телесной оболочке ее.

Вэка умер в середине ночи, как все умирающие, не дожив до очередного рассвета. Вэка своей смерти не почувствовал. Он половину ночи цеплялся за то, что называется жизнью, шершавым красным дыханием, неясным, как бы молочным взглядом, ледяными руками за простыни, какими-то гортанными птичьими звуками. Но он умирал, умирал неуклонно, неотвратимо и страшно. Он как бы скользил по гладчайшему наклонному желобу в черную, чудовищную мглу бесконечной пропасти за счет веса собственной жизни. Он выдохнул, на вдох у него сил не было. Его горящее лицо разгладилось, посветлело, гримаса боли растаяла, мелькнул звук его отлетевшей, сопровождаемой решительной не местной тенью, души, и его мама, сидевшая подле в воспаленном световом круге от настольной лампы под зеленым абажуром, беззвучно заплакала. Ее полные плечи и грудь запрыгали вверх-вниз в такт ее безутешному горю. Жизнь вэкова изошла в мокрой перспективе Литейного проспекта, подгоняемая твердой ангельской рукой не сильно и настойчиво. А душа его, по убитой многи-

ми до него дорожке, отправилась в город Лим — сумеречное пристанище с вооруженной охраной, для лишних людей. Вэка в Лим, а Сеня, значит, возле, в Иерусалим.

Уже Сеню подталкивала эта жизнь, уже все его раздражало, чудились на каждом углу провокации спортивных курносых ребят в подпоясанных одинаковых плащах из еврейского отдела гэбэ, только что созданного по личному указанию хозяина, как нашептали Сене новые все знающие друзья. Он просто не хотел больше здесь жить и не то, чтобы искал этому оправдания, а они сами находились в таком количестве и такие убедительные, что более опытного человека это даже могло бы заставить остановиться и подумать.

Минуты слабости и горя. Разгул и запустение. "...так глотай же скорей рыбий жир ленинградских ночных фонарей..." А кто это написал, знала и Таня, и Сеня знал. Поэт Мандельштам. Вот.

"Поедем в Пулковку, дружок, там дует голый ветерок", — написал некоторое время назад Вэка без видимой причины, без посвящения. Эту строчку говаривала в последние дни Таня, думая какую-то свою думу.

— О чем задумалась, дочь? — подыгрывая себе на парадном аккордеоне, поинтересовался отец, Сергей Павлович.

— О Станиславском Константин Сергеевиче, о ком же мне еще думать, папа, — ответила дочь от стола, не поднимая головы.

Как в детстве свертывались листы рисовального альбома от чрезмерного употребления акварельными красками — мрачно-синим бушующим морем и сторожевым стальным катером на нем и пикирующими складными самолетами, которые получались у Сени лучше всего, с дружественного тяжелого облачного неба — так закрывалась для Сени советская жизнь. Он поймал себя на том, что не понимает, о чем пишут писатели в литературных журналах, что происходит в советских фильмах, для чего и куда играют в футбол ленинградские форварды. Такое затмение мозга, частичное и временное затмение. Часть мозга, ведающая видениями, снами, галлюцинациями, работала столь активно, что помимо собственно продукта выделяла продукт побочный — постоянное облако будущего, в тумане которого и пребывал Сеня. Как говаривала сенина многоопытная мама, оглядывая его и озабоченно, и несколько презрительно наутро после ночи, проведенной за письменным столом за изучением языка страстных молитв и военных приказов и за так называемым

творчеством, являвшимся близким подходом к господскому владению праздничным текстом прозы:

— Не знает, на каком свете.

Сама себе потихоньку, жалеючи материнскую долю.

Отъезд был неизбежен. Так Семену было предначертано, и он был этим предначертанием счастлив. Его, казалось, уже не интересовали рассуждения Вэша о том, что Россия кончилась пятьдесят лет назад, как и некоторые другие империи, и приобрела новый облик, какой смогла, приспособившись к другой власти. Все, что мы думаем об общественной и государственной жизни, это лишь чужие воспоминания, приобретенные знания и неоправданные мечты, и так нам здесь удобно, у нас такой панцирь, как у муравьев после атомной войны, а не в послеядерной зоне померем или дураками станем. Дураками, как в народе называют ненормальных.

— Ну что вам там надо, Сеня? — спрашивал Вэша.

— Я решаю национальную проблему, — говорил Сеня.

— Ах, оставьте, — искренне огорчился Вэша, — они же ничего не прощают и не забывают.

— Пошли они в жопу... Надоели, жить не дают, от них и еду, — сказал Сеня. Он надолго запомнил досадливое и несколько брезгливое выражение костистого лица Вэша, с которым он произнес это "ах, оставьте", взмахнув рукой, похожей на неторопливый перелет белой бабочки-капустницы в огороде, в ленинградский умеренный полдень, где-нибудь в Вырице.

— Я понимаю, что своя душа отрада, но это непозволительно, в конце концов, так бросаться. У вас что, Семен, две жизни, или вы хотите жить сто лет?

— Да перестаньте вы, Вэша. Я уезжаю поселиться и жить в центре мира, и несмотря на издержки вам меня не сбить, я уезжаю, как сказано, "за все", — ответил Сеня.

Ну кто может предсказывать будущее? Прежде всего этого делать нельзя, потом опасно и очень трудно. Но если бы кто-то мог, и не по наитию, не от врожденного отклонения, а холодно и достаточно отвлеченно подсказать, когда это требуется, что "вот так и так у тебя сложится, и если тебе не нравится такое, то соверши в этом случае полшага в другую сторону, или пойдешь на компромисс, или еще что-то, даже поступаясь, отступи, уступи, промолчи".

Через примерно тысячу семьсот дней после приезда в Иерусалим Сене стали казаться в мирных соседях по дому совсем дру-

гие люди: соседа по лестничной площадке, иракского сизогубого, упрямого человека, назвал Витей, у его жены спросил по-русски в подъезде: "Как дела, Танюша?!" — та бесспорно этого имени и вопроса заслуживала, что не мешало ей подумать о странной человеческой "русской" породе, а начальника проекта по месту его завода — Сеня закончил Политехнический институт в Хайфе и работал "в заводе" — религиозного, озабоченного "поляка" назвал дядя Жора. Тот остановился, очки его съехали по носу, взгляделся в Сеню и мрачно произнес:

— Меня зовут иначе, молодой человек. По-моему, вам пора уже знать истинное имя вашего начальника.

У "поляка" чудесно звучал русский язык — "отсчелкивал", щелкал акцент, недобрый голос не обещал сениному инженерному будущему многих лет расцвета. Несколько нет назад у "поляка", как он сам говорил, кончилось чувство юмора. И правда, "поляк" был мрачноват.

— Извините меня, Мечислав, бес попутал, — сказал Сеня, смутясь.

Длиннокрылый нарядный пассажирский самолет на четыреста семьдесят размещенных на двух этажах пассажиров, шел за окном на посадку, шумя мотором и шурша металлической обложкой огромного тела о суровый местный воздух.

"Поляка" пару лет назад изгнали из другой родной страны за недостатки происхождения и извращенное строение души. "Даже не убили!" — удивлялся "поляк".

Перед отъездом мама купила Сене часы. В коробочке лежала бумажка, на которой было в типографии отпечатано: "часы — прибор для измерения текущего времени". Надежный советский прибор этот мерил неотвратимую сенину единственную жизнь мерно, резко, неотвратимо, каждым движением стрелки отсекая часть сениной жизни. Эти отсеченные части жизни сразу становились так называемым прошлым, которое так наполняло сенины сны. Дядя Жора, которым Сеня назвал "поляка", был прежде сениным соседом в Ленинграде. Соседей, вообще, было немало в этом пролетарском питерском доме, а почему-то этот Жора все время лез на поверхность нынешней сениной жизни из ночных снов, которыми некий бутафор обставлял сенину действительность.

Жора не лез, а, точнее, спускался со своего четвертого этажа от своих семейных детей, жены, заряженный едой, мужской икрой,

стаканом водки до предпоследнего отказа. Вечерний смутный час. Послеобеденная ежедневная охота. На мгновение смолкает дворовый гул — Жора вступает в уличные подмостки, выходя из тьмы парадного. Это плотный немолодой человек с несколько слишком откровенным, как бы податливым лицом, неуловимым взглядом, резиновым ходом. Вкрадчива его походка, тяжел его кинжал. Видно, что Жора передвигается не на всю силу мышцы и не на полный градус сустава, что у него еще есть в несокровенном запасе пороховницы и амплитуда, и скорость, и напор. А так он идет медленновато, гудя от нынешней проживаемой и в будущем прожитой ожидаемой жизни. А еще также видно, что он хорошо и надежно в жизни и танце ведет женщину к всеобъемлющему счастью. Дама от него, и это тоже ясно видно, никакая не уйдет никуда никогда. Рот его насыщен поцелуями своих и женских губ и вкусом женских белых тел. Вот так Жора и выскакивал еженощно из своего парадного, в душном облачке пролитого одеколona, в сенин заморский сон довольно долго.

Уже родился сенин первый сын. Уже Сеня отухаживал с переменным душевным, но постоянным сексуальным успехом за некоторыми местными чародейками, которым несколько не хватало легкомыслия. Имеется в виду человеческая разновидность легкомыслия, а не ее женское производное, которого, кстати, хватало у этих женских девушек с избытком. Его будущая жена произвела на него впечатление молочно-сливочной тяжести, морского совершенства музыкального тела, сияющей кожи и вместе с тем полного отсутствия агрессивности, хищности, того, что называется когцезубостью. Она все время ошибалась в покупательных возможностях своей весьма скромной зарплаты не в свою пользу. Она училась на биолога, но эта реальная наука не смогла приблизить ее знание о деньгах к их реальной стоимости. Плюс к тому же регулярное изменение названия этих самых несчастных, трудноживущих, странных денег путало ее дополнительно, как и необходимое то прибавление нуля к сумме зарплаты, то его удаление, в зависимости от очередной финансовой реформы. Конечно, все эти цифры путали милую организацию ее головы. Она с трудом, несмотря на счастливую внешность, балансировала на поверхности жизни, умудряясь не потонуть в долгах, ошибках, неточностях, неловкостях. Выйдя замуж за Сеню, она как бы выправилась, хотя бы перестав пользоваться деньгами, чеками, банковскими счетами.

— Только из-за полной невозможности постичь, — объяснила она Сене.

— Да ну тебя, — не без удовольствия буркнул Сеня.

Они пили чай рано утром. Начинаясь март. За кухонным окном был виден небольшой каменный дворик и густо-бело цветущее ореховое дерево в углу его.

— Подожди, — сказала жена, наискось нарезая батон, — скажи мне, какая она была, эта твоя подруга в Ленинграде?

— Что это ты вдруг?!

— Так. Расскажи, — попросила она, намазывая масло по плавной касательной.

Будильник, купленный ею по случаю за большие деньги в антикварном магазине за весомую и устаревшую форму, показывал без пяти восемь. Этот будильник периодически или шел, или звонил побудку. Сейчас ему было время идти.

— Ну, какая, какая! Обычная, — сказал Сеня, поглядывая в окно, — длинноглазая, большеберотая...

— И все?

— И все.

— Любила тебя, наверное.

— Это неизвестно, видишь, она где, а где я.

— Ничего не значит.

— Давай этот разговор прекратим, милая.

— Как ты это произносишь — милая? Скажи еще раз.

“Женился на иностранке, говорю на другом языке, человек меняет кожу, просто супермен”, — насмешливо подумал Сеня о себе, произнося это чудесное слово с искренней интонацией влюбленного.

Через четыре года после этого разговора, а всего значит семь после отъезда сениного из Ленинграда, однажды субботним утром Таня постучала во входную дверь его дома. Сеня ничего не знал, почитывал, лежа в спальне, газету выходного дня размером с хороший роман начинающего ленинградского прозаика. Газету, написанную людьми способными, энергичными, но, правда, недостаточно изысканными, хотя требовать изыска от газеты вряд ли справедливо.

Открыла ей жена, и на разговор, произошедший между ними, Сеня внимания не обратил.

Таня прошла по коридорчику в спальню, постучала в дверь ленинградским пальцем с бледным маникюром, и Сеня поспешно

произнес "да". Все же он был удивлен. Таня была все такой же — желанной, соблазнительной — приближаясь к сороковке. Сеня ничего о ней не знал — не получая и не отправляя писем в Питер — и тяжело замер, скрипнув кроватью. Глаза ее блестели, розовый газовый шарфик вокруг шеи отбрасывал тень на ее бледное не изменившееся лицо.

— Видишь, я приехала, — сказала она тихо.

"Как было бы прекрасно, если бы я мог сказать все, что я сейчас чувствую, как бы это ее обрадовало, но это просто невозможно", — подумал Сеня, глядя на нее, как она тяжеловато и осторожно присаживается на табурет у шкафа. Откуда-то снизу из-под занавеси, журжа по воздуху пыльными крыльями, поднялась темная толстая бабочка, оставшаяся в комнате с ночи.

— Ты не изменился, только отяжелел как-то, — сказала она глухо.

— Ты тоже совсем нет, — пробормотал Сеня.

— У меня тоже семья, дети, — быстро сказала она.

— Муж кто-нибудь знакомый?

— Детей двое: мальчик и девочка. Нет, мужа ты не знаешь. Он инженер-механик. Папа умер год назад: выпил, поиграл на аккордеоне, прилег и все. Мама уехала жить к сестре в Керчь.

Таня немного успокоилась. Золотых дел мастер, отправивший ее маму жить в Керчь, а ее саму в Иерусалим, почему-то пожалевший ее лицо и вообще общее состояние ее души и тела, и на этот раз дал ей передышку. Лиловая полуночная мгла будущего, изредка освещаемая вспышками надежды, с некоторого времени совсем застила ей все. Не без удовольствия Татьяна иногда отмечала, что окружающий ее мир стал меньше, доступнее, контуры его сместились, основы покосились, он покачивался и готов был вот-вот рухнуть. Она удивилась, увидев, что Иерусалим не похож на азиатский японский краткомгновенный рисунок.

— Когда ты приехала?

— Позавчера, и в первый же час все про тебя узнала.

Таня улыбнулась. За стеной в детской проснулся и заплакал ребенок. Слышно было, как отчетливо прошла в коридоре жена, открылась дверь и зазвучало нежное ля ее материнского голоса.

Давешняя бабочка торопливо ползла по стене куда-то вверх, делая это суетливо, неловко, но очень быстро. Вот она здесь, а вот нет ее, если не перевести вовремя взгляд. Мохнатая тень ее двигалась подле — так же быстро и так же суетливо.

Сенина греховная любовь к этой женщине представилась ему сейчас, как драгоценный подарок судьбы, как представлялась ему вся эта жизнь кругом, не в период его довольно частых, слишком частых для его полнокровия депрессий.

— Я вижу ты освоился, обжился, — сказала Таня, — и это не про тебя сказано: “вам чужд и странен Вифлеем...”

— Нет, не про меня, — сказал Сеня.

— Это строка из Мандельштама, — ответила она на его взгляд. — “Кровь горячую пролил?”

— Что ты вдруг? — Сеня растерялся этим ее вопросом и не по делу отвечал вопросом.

— Совсем не вдруг, это меня много лет занимает, — сказала Таня.

— Это совсем про другое сказано, во всяком случае не про меня, не про нашу ситуацию. Ты специально меня дразнишь.

— Не дразню, никогда тебя не дразнила, а волновалась о тебе, — пожаловалась Таня.

Матерчатый поясok при платье нетуго лежал на ее бедрах, и вообще, хотя ни душа ее, ни паспорт свободны не были, тело ее было свободно, так сказать, “для свободы”. Таня посмотрела на вышитый плотным ярким крестом портрет плачущего слезами мальчика с коричневыми тенями на симметричном трагическом лице. Последнее, наиболее удачное произведение сениной тещи украшало его спальню по совокупности достоинств: трудолюбие мастерицы, ее доброта, непроходящая мода. Таня пригляделась, посмотрела на Сеню, опять пригляделась, начала улыбаться, но Сеня не сдался. Хотя он очень изменился, стал мягче, терпеливее, доступней, непомерно много сил тратил на отношения с посторонними людьми, например, соседями, что-то в нем осталось от сдержанного, несколько надменного ленинградского человека, не могущего позволить себе ответную понимающую улыбку. Во всяком случае, не по этому поводу и не потому, что святое, а потому что я так хочу, и кому какое дело, и кто вы такие вообще, чтобы смеяться. и я не предатель.

— Я, наверное, взяла неверный тон, ты извини меня, пожалуйста, — сказала Таня быстро. — это потому, что я тебя все еще люблю, думала, все прошло, а сейчас смотрю, как было...

Марк Зайчик (рожд. 1947, Ленинград) — прозаик, автор сборника рассказов “Феномен” (1985) и романа “Сделано в СССР” (1988); в Израиле с 1973 года; живет и работает в Иерусалиме.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Предисловие

*“— Как ты думаешь, Юрочка, что в этой стране самое ничтожное, самое дешевое для всех — для власть имущих, и для каждого?
— Человек”.*

(Из анкеты А. Ш., 16 лет)

Эти очерки ни в коем случае не являются историей Ленинградского отказа. Это лишь несколько эпизодов из жизни ленинградских отказников последнего десятилетия. Они были начаты мною около года тому назад. Тогда, осенью 1986-го, казалось, что отказу не будет конца, и на все еще хватит времени. Поэтому книга дописывалась в спешке, в нее не вошли важнейшие события, остались в стороне прекрасные люди — о них невозможно было только упомянуть — и решили так: оставим до следующего издания. Многих буквально приходилось “хватать за хвост”, спрашивать уже на увязанных чемоданах.

Поэтому, если первая часть предисловия — обращение к евреям, не имеющим отношения ни к отказу, ни к ленинградской еврейской жизни, то вторая — непосредственно тем, кто может и должен дописать, исправить, дополнить и продолжить эти очерки.

Годы, прожитые нами, стали частью истории нашего галута. Они не должны кануть бесследно. Уезжая (или пока оставаясь), не отмахиваясь от этих лет — вспоминайте, записывайте

Очерки никогда не были бы написаны без помощи, неоценимой помощи Семена Фрумкина, Бориса Кельмана, Михаила Беизера, Роальда Зеличенка, Владимира Лифшица, Абы Таруты, Иосифа Бегуна, Нели Липович и других.

М. Г., Ленинград, 1987 г.

Маргарита Гимельштейн

ОТКАЗНИКИ

(Ленинград, 80-е годы)

Мы завтра поедем с вами за границу...

В повести Чехова "Рассказ неизвестного человека", где повествование ведется от лица диссидента того времени, есть такие строки:

- Мы завтра поедем с вами за границу, — сказал я.
- Нельзя это. Муж не даст мне паспорта.
- Я провезу вас без паспорта".

(И провез.)

Разумный, взрослый человек в России прекрасно знает, что никуда он завтра, а тем более без паспорта, не уедет. И все же кое-кто в один прекрасный день начинает понимать, что имеет моральное право покинуть страну — временно или навсегда, — руководствуясь при этом только собственным желанием. И, поскольку это его желание не противоречит закону, — оно свято и не подлежит обсуждению, осуждению и рассмотрению никакими государственными органами и учреждениями.

Когда подобные мысли становятся убеждением, возникает соблазн, а потом непреодолимое желание воплотить их в действия. Действуют при этом все одинаково. Почти все те, кто начал действовать в этом направлении лет десять назад, сейчас составляют многочисленную группу людей (или социальный институт), который почти официально называется **о т к а з о м**.

Речь пойдет об отказе.

Для того, чтобы покинуть страну лет 70—80 назад, требовались: паспорт, свидетельство полицмейстера или исправника о неимении препятствий к выезду за границу, свидетельство о приписке к призывному участку или отбытии воинской повинности, талон казначейства о взносе 15 рублей — и все. На оформление выездных документов уходило несколько часов.

Для оформления выезда за границу сейчас необходимы: вызов от родственников, три анкеты, свидетельства о смерти умерших и сведения о работе живых родственников, справки, разрешения от всех близких родственников, выписка из трудовой книжки (3 экземпляра), справка об исключении из партии и 8 фотографий. Через несколько месяцев, если органы не найдут оснований к отказу, вы должны представить: справку с работы об отсутствии материальных претензий, справку о сдаче трудовой книжки, справку о сдаче военного билета, об оплате ремонта квартиры, об отсутствии претензий со стороны жилищного управления, о сдаче занимаемой площади, выписанные паспорта, квитанцию об оплате визы (200 руб.), квитанцию об оплате за отказ от гражданства (500 руб.). После этого, если вы собираетесь уехать без имущества, вы можете это сделать, отметив полученную визу в Москве в двух посольствах и купив билет. Но если у вас есть книги, посуда, музыкальные инструменты и мебель, и вы хотите все это взять с собой, вам понадобится еще много денег, полтора-два меся-

ца времени, а список требуемых справок продолжится до конца страницы.

Сравнивая приведенные списки, очень соблазнительно углубиться в историю усложнения выезда за последние семь десятилетий. При всей грустной подоплке этой истории, она могла бы развлечь и автора, и читателя. Она не была бы длинной (из-за отсутствия долгие годы выезда вообще). Начать ее можно было бы с того времени, когда высылка за границу навсегда, по замыслу Ленина, приравнивалась к смертной казни, а закончить тем, с чего мы начинаем.

Но это не была бы история алии, а только коротенькая повесть, сама же история выезда евреев из СССР, при всей ее краткости по времени, вместила столько обильных еврейских слез, реальных человеческих жизней и событий, которые стали поистине ренессансом еврейской истории и национального самосознания, что — независимо от того, закончится она скоро или продлится еще на десятилетия, — теперь она навсегда останется с нами.

Мотивы

Если выезд не противоречит закону, значит мотивы могут быть любыми. То есть, вы можете ехать куда угодно — в Америку ли, в Израиль ли и пр. — с целью разбогатеть или обрести истинную родину, соединиться с родными (или расстаться с ними навсегда), иметь больше, нежели вы сейчас имеете (или не иметь ничего и, как последний шаг на этом пути, не иметь и родины), по причинам глубокого отчуждения, возникшего по вашей вине или независимо от вашего сознания, между вами и народом, среди которого вы живете, по причине нереализованности своих творческих сил или неустроенности вашего быта, по причинам религиозного, нравственного (или безнравственного) порядка, — словом, по любым мотивам, которые никого, кроме вас, не касаются и никем обсуждаться не должны.

Советская пресса, отражая принципы советской морали, толкует мотивы выезда однозначно.

"...намерение выехать за границу возникает прежде всего у людей, охваченных духом стяжательства, либо преступников, скопивших состояние нечестным путем..".

(Московский рабочий, 07.06.85.)

В лучшем случае — если эмигрант уже там — его одурачили.

"...движение по переселению в Израиль евреев всего мира — это прежде всего широкомасштабная операция по одурачиванию и обману евреев, которую империализм проводит в рамках глобальной психологической войны против коммунистической системы".

(Из телепередачи "Наемники и пособники" — ЛТ, 11.11.84 г.)

В худшем — если он еще здесь — он отщепенец и сумасшедший.

"...со мной беседовали секретарь горкома по пропаганде Новик Людмила Ивановна и инспектор горкома Сергей Константинович

Давыдов... Новик заявила, что из СССР могут уезжать только ненормальные, а потому меня нужно проверить у психиатра".

(Из писем Г. Стешенко.)

Что касается самих отказников (а среди них редко теперь попадают "охваченные духом стяжательства" и совсем нет сумасшедших), то за те годы, когда выезд практически прекратился, мотивы его при всем их формальном разнообразии, постепенно свелись к двум:

первое — уехать, вернуться домой...

"Переселение евреев в Израиль мы понимаем как репатриацию, как возвращение домой после двух тысячелетий бездомности и гонений".

(Из письма в Президиум Верховного Совета (ПВС) СССР от 7 февраля 1984 г., А-Д.)

и второе — уехать...

"Как вообще можно объяснить, что сотни тысяч людей, не знающих друг друга и живущих в разных местах страны, не сговариваясь бросились врассыпную, куда глаза глядят, бросая фактически все — всю прошлую жизнь, не зная, в сущности, что их ждет. Они знали лишь одно — от чего они бегут". (А. Г.)

Отказ о мотивах

Алия — это восхождение. Для нас — это путь. Как стали мы на этот путь? (Иными словами — как дошли до жизни такой?) Какие причины побудили тысячи людей, "не сговариваясь", оттолкнуть от себя все то, чем жили сами и жили их родители, и годы — десятилетие! — все духовные и физические силы положить на то, чтобы уехать, вернуться в неведомую родину, в еврейство, от которого зачастую были оторваны на одно-два, а то и больше поколений?

В подавляющем большинстве своем, оглядываясь на прожитую жизнь, первой причиной и толчком на путь алии называют антисемитизм. Для многих он — первое, самое сильное, незабываемое и незаживающее впечатление детства.

"Помню антисемитизм — дело врачей — как одно из первых детских впечатлений. Семья наша была настроена националистически, говорили в семье на идиш. Но до 1967 г. — до Шестидневной войны — все планы были связаны с этой страной, хотя Израиль обладал притягательной силой. Когда отец служил в Поти, туда пришло израильское судно. Родители показывали нам с горы: "Смотри, какие они красивые", — но близко подойти боялись". (А. Ф.)

"Антисемитизм резко чувствовал с детского сада. Помню этот вечный страх того, что я еврей. Понятие еврейства все детство сопровождалось жутким страхом... Самый жуткий период — дело врачей. Весь урок сидишь сжавшись, ожидая перемены. Вся перемена — битые и попытки защитить себя. Все это очень подогревалось учителями". (В. А.)

"В Ленинграде, в пятом классе (1944), нас так мучили антисемитизмом, что отцу приходилось идти в школу улаживать. Родители моих одноклассников при детях высказывали разочарование, что нас не добились на оккупированных территориях, откуда мы вышли". (Н. А.)

"Мы эвакуировались в Томск, где столкнулись со страшным антисемитизмом. В моих детских воспоминаниях антисемитизм запечатлелся очень ярко. Я постоянно чувствовал себя человеком, которого не любят. Это не вызвало чувства ущербности, но чувство обиды и горечи. На все это позднее наложилось и открытое пресловутое дело Михозлса, и дело врачей. Но именно в эти годы мое еврейство стало существенной частью моей духовной структуры, и этим я уже гордился". (И. Б.)

"Первое горькое разочарование ожидало меня в долгожданный день, когда я пошла в школу. Как только в списке учеников прозвучала моя фамилия, я почувствовала на себе презрительно-ненавидящие взгляды. С каждым днем мне становилось все яснее, что я чем-то отличаюсь от остальных детей, причем в резко худшую сторону. Но чем?

Довольно быстро я сумела понять, что виновата перед всеми этими людьми лишь тем, что родилась еврейкой — "умным жиденком", как они выражались". (М. Ф.)

"У меня никогда проблем не было. Проблема возникла — одна — когда ребенок был во втором классе. Что-то ему тогда сказали в смысле "бей жидов" — и избили, сломали нос. И вся проблема кончилась — надо ехать туда, где он этого никогда не услышит". (Н. Ш.)

"Когда началось это дело (врачей — М. Г.), о его начале я узнал в школе от одной старой еврейской учительницы. Наедине со мной она стенала, чего им надо было, этим людям — то есть врачам? В школе немедленно начались всякие антисемитские инциденты, и мы с приятелем-евреем решили организовать что-то вроде самообороны, чтобы проучить некоторых хулиганов. Одному из них мы всыпали. Кончилось это следующим образом. Он собрал несколько десятков человек, они подкараулили нас у школы, избили до потери сознания и, думая что убили, закопали в огромный ледник, в опилки позади школы. (Это было до эпохи холодильников, лед под опилками сохранялся надолго.) В опилках было сыро, и мы очнулись. Мы понимали, что рассказывать об этом родителям ни в коем случае нельзя. Незадолго перед этим, ночью, я подслушал разговор родителей, и отец сказал: "Если бы не дети, пожалуй, нам лучше кончить самоубийством". И потому мы решили заявить в милицию и пошли в 17-е отделение.

Дежурный добродушно сказал нам: "Сыпьте отсуда, жиденята, а то посажу". И добавил: "Скоро всех вас передавят".

Я перенес это довольно легко. А в приятеле моем что-то сломалось. Он резко изменился, стал очень циничным. Наши отношения как-

то сами расстроились. Мы поступили в разные институты, и встречи с ним оставляли у меня всегда тяжелое впечатление. А потом меня пригласили на похороны — было объяснено, что он случайно застрелился, перезаряжая спортивное ружье. Я в это не верил и не верю: из ружья такого типа застрелиться случайно нельзя — оно слишком длинное".

Пожалуй, все о деле врачей". (Р. З.)

"Можно адаптироваться к суровым материальным условиям, сравнивая себя с большинством других, но нельзя привыкнуть к подавлению человеческого достоинства. Чувство неравенства невыносимо. Очевидно, политика государства направлена на ликвидацию национального самосознания евреев. Говорят, что всему виной эмиграция. Чепуха. Именно из-за этого эмиграция началась". (А. Г.)

У многих позднее, когда дело врачей было спрятано в глубинах памяти, возникло ощущение нереализованности творческих сил, зыбкости завоеванных жизненных ценностей.

"С 1975 года положение резко изменилось... Работу стали спрашивать все меньше и меньше, а липы шло все больше и больше. К 1979 году я понял, что работа никому не нужна". (В. Л.)

"С какого-то времени я начал ощущать дискомфорт в общении с людьми — все равно, касалось дело общих рабочих вопросов или это было какое-то культурное общение. Там, где я работал, было много евреев, и в какой-то момент я понял, что с ними можно было бы добиться большего в смысле работы. И все это — дискомфорт с одной стороны, ощущение, что с евреями можно сделать больше — с другой, натолкнуло меня на решение в сторону национального вопроса... Я почувствовал себя евреем всегда и везде. И еще я знал, что за это я могу бороться. Осталось желание уехать, но теперь — вернуться на родину. Все стало на свое место. В какой-то степени я уже эмигрировал, то есть вернулся — я снова стал евреем". (А. Ш.)

"..Так мы путешествовали. Когда проезжали Жигули, моя попутчица плакала от умиления: какие фрески, какие церкви! А я чувствовала, что это ее история, а для меня — мутная вонючая речка, и все чужое, и все вторично. Но от ее слез и умиления я спроецировала — а что же мое? — Вот если бы я плыла по Иордану! (а он не судоходный — я не знала).

К тому времени я достигла всего, о чем мечтал дед-большевик. Имела "вес", зарабатывала много... Не надо было из кожи лезть вон, доказывая, что евреи тоже хорошие — меня уважали. Но мечтала кое-как, на чем угодно, на отбросах умереть в Иерусалиме — чтобы мои кости не удобряли эту землю. Я отдал им все: свое положение, квартиру, клубничный рай на Синявинских болотах — мне от них ниче-

го не нужно. Я вспомнила свою детскую мечту: чтобы вся школа была еврейская и кругом одни евреи". (Н. А.)

У очень многих желание уехать возникло просто из критического отношения к обществу и государству. Направление исхода было совершенно определенное — на Запад. И только в отказе — иногда естественно и просто, иногда мучительно и трудно — люди стали стремиться домой. Немалую роль сыграло здесь и государство Израиль. Страна не давала забыть о себе, звала.

"Первоначально, если говорить о мотивах отъезда, то они, безусловно, не были чисто материальными. Но пугало и останавливало отсутствие информации, сказывалась советская агитация: признают ли там наши дипломы, как устроимся и пр. И перед этим страхом духовные мотивы несколько смещались и уходили на второй план. То есть, мы не задумывались над тем, что необходимо жить со своим народом на своей земле. По мере того, как поступала информация от тех, кто уехал, возрастал интерес, и эта информация заставляла взрослеть и мудреть. За эти годы решение уехать стало единственной целью в жизни.

Воспитывалась я в космополитической семье, на русской литературе. И не потому, что сейчас узнала больше, — о государстве и народе, но за это время изменилось мое отношение к окружающей общности. И здесь внешние проявления (антисемитизм) не были поводом, но даже русскую интеллигенцию (Обломова — говорит и кается) я теперь воспринимаю с негативных позиций. Оказавшись во внутренней эмиграции, мы поняли, что истина — каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает, и мы стали презирать народ, который терпит такую власть". (А. Ш)

"Намерение выехать возникло, пожалуй, с антисоветских настроений. Антисемитизм я воспринимал как одно из проявлений советского строя. Материальных мотивов не было". (С. Ф.)

"Я провожал своего друга в 1971 году. Он чувствовал себя патриотом Израиля. Я тоже хотел в Израиль, потому что это единственное место, где нет антисемитизма. Но тогда ощущать себя патриотом Израиля я не мог, — идеи Солженицина были мне ближе, чем идеи Жаботинского. Я был невежествен. Постепенно, читая и общаясь с подобными себе, я ушел от этих демократических воззрений и на сегодняшний день считаю себя сионистом". (А. Т.)

"Мотивы отъезда менялись от профессиональных к идеологическим. В 1983 году мы пришли к выводу, что надо ехать в Израиль, чтобы кроме свободы приобрести еще и общину — нацию, в составе которой мы можем жить. Идея отъезда окончательно приобрела национальный характер. Переход был простым и естественным". (В. Л.)

"Проявлений антисемитизма не было до 1952 года и не было никакой идентификации себя как еврея. Первое ощущение дискомфорта — дело врачей. В 1967 году, во время Шестидневной войны, на работе я подслушал разговор инженеров: вот когда мы воевали, они сидели в тылу, а сейчас развоевались. Был первый бунт в молодом запале, попытки истерических объяснений. Потом я познакомился с людьми, которые уезжали на Запад. Возникало ощущение близости проблем, эйфория от их успехов на Западе. Никакого Израиля в помине в плане не было, — только ощущение неутвержденных амбиций и иллюзий. Я первый раз увидел мацу в 32 года. В синагоге в первый раз был в качестве дружинника.

Потом были первые экскурсии с Бейзером, первый пасхальный седер у Когана. Постепенно возникло чувство глубокого уважения к традиции и истории, умеренной религиозности. И мы потихоньку стали двигаться в Израиль. Сегодня, пожалуй, — едем в Израиль". (Б. К.)

И лишь очень немногие ощущали принадлежность к своему народу с детства. И Израиль был и остался для них не только мечтой, но единственным местом в мире, где будет естественно проходить и складываться их реальная жизнь.

"Когда я пошел в первый класс, сознание моего еврейства настолько сидело во мне, что мальчишке — соседу по парте — прежде чем назвать свое имя, я сказал, что еврей. Что же касается израильской ориентации, она сформировалась во время войны 1967 года. Перед ее началом, когда все нагнеталось и ясно было, что война будет, я думал: как это маленький Израиль справится со своими соседями? Первое сообщение: "Как сообщает газета "Аль-Ахрам", израильская армия прорвала оборону..." — и у меня отлегло от сердца, — значит, осталось все в порядке.

Моя национальность — это мое мировоззрение, мировосприятие, часть меня. И, сохраняя симпатии и интерес к другим культурам, я стал националистом.

Еврейское самосознание было реставрировано за счет проникновения Израиля в Россию. Единицы были его носителями в середине 60-х годов, а к концу шестидесятых практически не осталось тех, кто не осознал себя евреем. Другое дело, как они к этому относились — как к врожденному уродству или были счастливы этим. Но главное — что это появилось". (Б. Л.)

"На меня очень большое впечатление производили фильмы, где затрагивалась еврейская тема (польские, югославские), — из времен войны, вплоть до документальных кадров расстрелов. Помню, что все это невероятно затрагивало — было ощущение, что я в той толпе, что все это было со мной. И это восприятие ношу до сих пор. И я думаю, что стал тем, кем стал, еще и от того, что меня тянуло на эти фильмы, как, бывает, нас тянет на кладбище, где лежат близкие нам люди. ...В нас живет эта двойственность — воспитание в рамках чужой куль-

туры и поиски в ней ответов на жизненно важные вопросы. Но стремление к самореализации остается очень сильным, а познание еврейства для меня — сущность, главный элемент самореализации. Есть надежда на определенные перспективы создания здесь очагов еврейской культуры, но — предположим — этого не будет. И тогда альтернативой нашей полной ликвидации в СССР может быть только одно — наш исход на родину предков или в другие общины, где еще существует возможность национального развития для евреев". (И. Б.)

"Мотивы отъезда сразу были чисто национальными. Никакого западного направления для меня не было. Я не могу сказать, что ехал о т с ю д а, хотя к тому, что происходило в этой стране, безусловно относился отрицательно. Но я всегда считал, что строить Россию — дело русских, и если я в чем-то согласен с Энгельсом (или Марксом?), так это в том, что каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает. Моя научная и деловая карьера шла вполне успешно, как у многих. Я научился адаптироваться к окружающей меня реальности, и некоторые специфические черты советского образа жизни, как например, всепроникающая липа, меня не раздражали. Во многих отношениях я был нормальный "гомо советикус". Таким образом, заявление на выезд было чисто рассудочным шагом". (Р. З.)

* * *

"За три с половиной тысячелетия нашего национального бытия нам слишком часто приходилось выслушивать из чужих уст, кто мы, где и как нам надлежит жить".
(Из заявления в ПВС СССР 27.02.84, Ленинград.)

Предоставив право отказникам самим сказать о мотивах, побуждающих их так упорно стремиться к эмиграции, надо отметить вот что.

С "советскими гражданами еврейской национальности" в отказе происходит странная для нашей обстановки метаморфоза. Именно в этот период внутренней эмиграции, наибольшей изоляции от окружающей общности, зависимости и бесправия, гражданину СССР чуть ли не впервые в жизни приходит в голову, что рабство, истинное рабство — может быть только добровольным, и на самом деле лишь он один вправе решать для себя — где и как ему жить. То есть происходит обретение чувства правового самосознания, человеческого достоинства и ... свободы — всего того, что здесь ампутируется с детства.

"...Эта социальная смерть компенсировалась новым знанием, недоступным ранее, открывшейся возможностью сообщить любимым органам, что в действительности хочешь делать — сказать впервые в жизни к сорока годам". (А. Г.)

В таком состоянии души общение с "любимыми органами" и с теми, кто безоговорочно верит и подчиняется их требованиям и нелепым законам, вызывает уже не страх — только горечь и недоумение.

"...А то было ужасно, что со мной разговаривали люди, действительно считающие себя вправе запретить мне говорить по-еврейски, действительно верящие в то, что сама встреча с иностранцем — вещь предосудительная... Я говорил с людьми, совершенно лишенными правового сознания... Я не о себе пекусь. Законы страны я не нарушаю ни в чем, а там — что будет, то будет — я не боюсь. А по большому счету: как жить-то будем, люди?" (М. Б.)

И даже, когда осознание этих простых истин приводит человека в сторону, географически противоположную той, к которой он стремится, чувство свободы не покидает его.

Это писано уже из лагеря.

"...Каждый человек оригинален; неповторим, и каждый сам для себя выбирает свой путь и степень соблюдения кашрута в меру своего понимания. В переводе на эзковский жаргон — каждый крутит свое кино".

И далее:

"...Доброе утро! Сейчас 4.00. Я проснулся и решил дописать. Самое важное для меня сейчас (подч. мной — М. Г.) — сотрудничество всех сил Мира. Самое актуальное (подч. автором) в настоящий момент — защита человеческого достоинства".

(Из писем Марка Непомнящего из лагеря от 18.10.85, 13.11.85, 15.12.85 г.)

Чувство человеческого достоинства неразрывно связано для нас с нашим еврейством. Это не только мироощущение, мировосприятие, — действительно, "познание еврейства — сущность, главный элемент самореализации".

"Все это значит — история, язык, обряды, религия, идеалы, ежедневная жизнь и огромное великое прошлое — огромный мир, который требует полного погружения, чтобы как-то в нем ориентироваться. И при всей невероятной сложности этого процесса я пытался этим заниматься. Я начал понимать ценную идею, что евреем надо становиться здесь, если мы хотим стать евреями. Мне больно было смотреть на своих друзей, которые видели все иначе: вот приедут и начнут. Мне казалось, что главное — это статья, а не приехать".

Поняв для себя всю изначальную необходимость возрождения в себе своего еврейства, я осознал, что в этом нуждаются и другие, что это важно по отношению к каждому отдельному еврею. И, конечно — в целях общенациональных. Я видел потребность в этом других, и эта потребность обязывала меня по мере сил и возможностей помогать им. Так я пришел к пониманию важности возрождения здесь с еврейской культуры". (И. Б.)

Зрелость, духовная человеческая зрелость неосуществима без осознания нами своих национальных корней — без этого самосознание вообще ущербно. Шаг в сторону эмиграции, момент отрыва дает толчок в сторону вопроса "кто же я"? И, если я — еврей, то что же это?

"...Все, чему я был свидетелем, дало мне инстинктивное понимание того, что моя принадлежность к еврейству — это что-то стоящее, а не просто что-то вроде инвалидности". (Р. З.)

Поиски ответа на этот вопрос привели к тому, что полтора десятилетия назад в отказе начался ренессанс еврейской культуры. Сейчас, в связи с начавшимися отъездами, наши ульпаны, альманахи, исторические и религиозные семинары, театральные группы теряют и главных организаторов, и рядовых участников и очень нуждаются в пополнении.

Мы хотим, чтобы люди, долгие годы стоявшие в стороне от еврейской культуры, помогли нам — независимо от того, скоро ли они вернутся домой, или не вернуться совсем.

* * *

Я думаю, что жил уже когда-то.
Был молодым и тоже бородатым.
И черные Иакова шатры
Меня тогда спасали от жары.
А на руках донине не остыли
Прикосновенья царственной Рахили.
И мне уже конечно не забыть,
Где был рабом,
чтоб больше им не быть.
В пустыне я, свободой опаленный,
Внимал словам Великого Закона.
И Адоная, единый и незримый,
Водил меня в атаки против Рима.
Почел бы я высокою наградой
Быть кем-то из защитников Масады.
И меч сжимать рукой нетерпеливо,
Когда благославлял меня Акива.
Я помню все увиденные лица,
Которым
предстояло повториться
В Испании, в России, в Галилее.
Но только обязательно —
Евреем.
Как жизнь,
Возобновляются утраты.
Я думаю, что буду жить когда-то...

Александр Ступников

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Первые уроки израильской экономики приезжий из СССР (сейчас уже не только репатриант, но и "гость") получает в магазине. Ценность этой информации не надо преувеличивать. Однако высокомерно вскидывать брови тоже не стоит. Эта информация обладает по меньшей мере одним явным достоинством: она вполне достоверна. Про многие экономические показатели, кочующие по страницам газет, этого не скажешь.

Знакомство с магазинами дает материал и для кое-каких выводов. Во-первых, в магазинах "есть все": от колготок до автомашин, видео и индивидуальных компьютеров. Конечно, некоторые из этих товаров изготовлены не в Израиле. Но если страна в состоянии их покупать, значит, мы производим достаточно чего-то другого, пользующегося спросом на мировом рынке. Об этом свидетельствует и тот факт, что валютные запасы страны в последнее время растут. С точки зрения баланса не так уж важно, чем мы торгуем. Бриллиантами, оружием, апельсинами, туристскими услугами. Важно, что не сырьем, а продуктами собственного труда.

Во-вторых, иностранные товары спокойно лежат (или стоят) рядом с местными. Импортного ажиотажа нет, поку-

Рафаэль Шапиро

ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ

(Заметки об израильской
экономике)

патель ищет товар, а не заграничную марку. Похоже, по качеству израильские вещи в общем не уступают иностранным. Мы наблюдаем это и за границей. Значительная часть изделий, которыми торгуют лондонские магазины "Маркс энд Спенсер", израильского производства. Магазины не самые дорогие в Великобритании, но уж и никак не самые дешевые. А ведь товар сегодня — это не только "ловкость рук" рабочего; это еще и техника, технология, организация труда, уровень науки. Израильские изделия конкурентоспособны и на внутреннем, и на внешнем рынке — это говорит о многом.

Наконец, цены. В их хитрой механике приезжему разобраться труднее всего. Если, однако, принять, что шекель близок к 40 копейкам (таков официальный курс), то цены примерно такие, как в Союзе, а зарплата выше. Правда, квартира и коммунальные расходы... Но, в общем, кажется, жить можно.

1. История с географией. Израильчанин (все равно — уроженец страны или репатриант со стажем) так не считает. Ему по опыту известно, что денег всегда не хватает: расходы почему-то растут быстрее доходов. И еще он успел побывать за границей. Что ему советские магазины, цены, стандарты. У него теперь другие ориентиры: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Мюнхен, Токио...

Ориентиры не то, чтобы непременно правильные, но естественные. Может быть, по историческим масштабам, сорок лет — мгновение. Однако по нормальным, человеческим, это достаточно большой срок. Целое поколение израильтян родилось и выросло в собственном государстве, ему надоели ссылки на историю. Оно хочет жить по стандартам, которые приняты "всюду". Разумеется, не в Эфиопии, Мексике или даже Испании, а в развитых странах. И если те, кому это положено (правительство? государство?), не способны обеспечить человеку нормальный уровень жизни, он может уехать. Слава Богу, мы живем в свободном мире.

Это проблема, от которой никуда не уйти. Проблема тем более серьезная, что ее значение для настоящего (и особенно — будущего) до конца не понято. Мы упрямо возвращаемся в кругу "вечных" тем (арабы... демография... Ликуд... Маарах... забастовка врачей...), не замечая, что жизнь меняет привычную шкалу приоритетов.

Верно, что от собственной истории с географией нам не убежать. Вопрос в том, как их рассматривать: только как оправда-

ние сущего или еще и как условия задачи, заданной нам историей, географией, обстоятельствами. Первый метод никуда не ведет; второй — может быть.

Экономическую историю Израиля едва ли следует начинать с нуля. Ни турецкая, ни тем более подмандатная Палестина не укладывались в рамки типовой колонии. Еврейский капитал и труд первопроходцев позволили создать ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий, выделяющихся на общем (колониальном) фоне. Однако до передовых, хотя бы по тем временам, заводов и ферм им было очень далеко. Экономика самой Турецкой империи и ее методы администрирования просто не допускали создания сколько-нибудь развитого хозяйства. Что касается англичан, то подмандатная территория вызывала у них смешанные чувства. Конечно, было бы неплохо превратить ее в витрину британской политики на Ближнем Востоке. Но многовековой опыт свидетельствовал, что рост экономики колоний чреват взрывом. Да и место для витрины было не слишком подходящим: евреи, арабы, скрещение сложных имперских интересов...

Трудно сказать, какой вид имела бы экономика Израиля, если бы страна, получившая независимость, развивалась естественно. Как известно, естественный путь включает две основных стадии. На первом этапе преимущественное развитие получает легкая промышленность. Накопленные таким образом капиталы используются затем для создания тяжелой промышленности.

Израилю этот путь был заказан. С первого дня своего образования (а по существу — даже раньше) страна вступила в войну. Эта война, то затухая, то разгораясь, длится вот уже сорок лет.

Бесчисленные последствия такого хода событий вряд ли поддаются учету. Назовем главные. Нарушение нормальных экономических пропорций: перенос центра тяжести на военную и связанные с ней отрасли промышленности. Привлечение в страну иностранного капитала и вложение его в предприятия, которые не сулят прямой экономической отдачи. Результат — многомиллиардные государственные долги, проценты по которым мы платим и будем платить еще долго.

Но это не все. В нашем случае история тесно сплетена с географией. География вынуждала страну почти непрерывно воевать, а в короткие промежутки — готовиться к войне. География лишила ее выгодной приграничной торговли; повысила транспортные расходы при экспорте и импорте; создала множество проблем, свя-

занных с арабским бойкотом товаров, с постоянным присутствием политических мотивов в операциях, носящих, казалось бы, сугубо коммерческий характер. Чтобы убедиться в значении этого фактора, вспомним наши ограниченные торговые связи с Японией, не подписанные соглашения с Общим рынком, панику с "отравленными" фруктами в Италии.

Подведем итоги. Говоря грубо, Израиль сегодня расходует треть бюджета на уплату долгов и процентов по займам, еще треть — на оборону. Две трети бюджета — такова дань, которую мы платим за историю с географией.

Уже этого достаточно, чтобы стало понятно, почему уровень жизни в Израиле ниже, чем в США или в Западной Германии. А ведь есть еще два немаловажных фактора: почти полное отсутствие в стране полезных ископаемых и низкая (по сравнению с Европой) производительность труда.

С ископаемыми просто: их нет. С производительностью труда сложнее. Хотя в оценке общей тенденции специалисты едины, конкретные цифры расходятся. Одни считают, что по производительности мы отстаем от некоего "среднеевропейского" уровня в полтора, другие — в два раза. Впрочем, совсем недавно о португальских рабочих, завезенных в страну на место бастующих жителей территорий, газеты писали, что они работают "вдвое быстрее и евреев, и арабов". Любопытно было бы понять, почему в Португалии, где люди работают столь интенсивно, такой низкий уровень жизни?..

Впрочем, нас интересует не Португалия, а иные земли. Такие, как наша бывшая метрополия Великобритания или продукт послевоенного экономического чуда Западная Германия.

2. Опыт сравнения. В последнее время мои английские знакомые жалуются, что жить стало невозможно. Жалуются не только эмигранты, но и англичане — даже те, кто зарабатывает тысячу и больше фунтов в месяц. Тысяча фунтов — это, по израильским понятиям, очень хорошо, около трех тысяч шекелей. Но, оказывается, и по местным это много, средний англичанин зарабатывает меньше.

Тогда почему не хватает? Налоги, высокие цены на квартиру, общая дороговизна. Тысяча — это, конечно, брутто, 40-процентный налог сразу превращает их в шестьсот. Скромная двухкомнатная квартира под самой крышей обходится в 250–300 фун-

тов. Остается около тысячи шекелей — сумма и в самом деле скромная, если учесть, что в Англии цены на продукты и на товары заметно выше израильских.

Высокие налоги предполагают высокий уровень социальных услуг. Видимо, такова и была идея законодателя: приличные пособия по безработице, государственная система здравоохранения, перестройка старых районов. Но что-то тут не сработало. Даже Лондон производит впечатление запущенности. Многие станции метро похожи на трущобы, грязные дома, выбоины на тротуарах. Есть, правда, кварталы роскошных и ухоженных дворцов, — но это те, что куплены арабами.

О бесплатной медицине газеты пишут, что она разваливается. Публика выражается четче: развалилась. Все согласны, что пора вернуться к системе платных услуг или больничных касс. Но это добавочная нагрузка на семейный бюджет, который и без того трещит по швам.

Начинаешь думать: что же случилось с нашей метрополией? С сорок восьмого года страна воевала лишь однажды, и это была несмертельная, почти прогулочная война. Нефтяной кризис Англию не затронул: месторождения в Северном море позволили ей не покупать, а продавать нефть.

Здесьнее античудо многие связывают с долгим пребыванием у власти лейбористов, с их политикой национализации. Мне самому не все тут понятно. Казалось бы, национализированные предприятия, действующие в условиях свободного рынка, живут по общим законам. Опыт, однако, свидетельствует, что штаты таких предприятий разбухают, а требования к собственной продукции — снижаются. Может быть, люди начинают ощущать за собой "тыл": могучую казну государства, которая поможет, не даст предприятию прогореть? Так или иначе, но себестоимость изделий стала расти, качество — падать. Английские товары никогда не были дешевыми, в них ценилось другое: надежность, прочность, несколько даже старомодная тщательность выделки. Скоро обнаружилось, однако, что если слава фирменной марки создается веками, то теряется в считанные годы.

Консерваторы (и прежде всего, Маргарет Тэтчер) решительно изменили курс, сделав ставку на денационализацию. Но дело идет медленно и со скрипом. Специалисты считают, что самая трудная задача — не снижение себестоимости, даже не повышение качества. Труднее всего, говорят они, переломить психологический

стереотип национализации: англичане разучились работать. В подтверждение вам предложат оглядеться вокруг. Улицы убирают пакистанцы. В магазинах торгуют негры, сирийцы, истанцы, итальянцы. Рестораны содержат арабы, индийцы, вьетнамцы, китайцы...

После Англии Западная Германия представляется необычайно богатой и процветающей страной: ухоженная, чистая, магазины ломятся от товаров, цены умеренные. Так оно и есть — безотносительно к тому, откуда вы приехали. И очень высокий (может быть, самый высокий в мире) уровень жизни. Это мне говорили все: французы, австрийцы, американцы. Все — кроме самих немцев.

Последние четыре года я подолгу живу в Германии и вижу страну глазами жителя, а не туриста. Мне приходилось и специально заниматься этими вопросами: зарплатой, ценами, уровнем жизни. И вот, занимаясь ими, я с удивлением обнаружил, что все обстоит не так просто, как представляется туристу. И американскому, и особенно израильскому.

Начнем с работы по найму. Средняя зарплата в Германии сравнительно высока: две-три тысячи марок (для простоты марку можно считать равной шекелю). Это, разумеется, до вычетов. Манера исчислять зарплату "нетто", по-моему, сугубо израильская: ни в одной другой стране я с ней не сталкивался. И это понятно. Полная зарплата характеризует оценку труда, нетто же зависит от налогов, состава семьи и других индивидуальных факторов, которые прямого отношения к труду не имеют.

Средняя зарплата в ФРГ — не просто средняя, она и преобладающая. Столько зарабатывает обычный чиновник, учитель в школе, квалифицированный рабочий, начинающий инженер, водитель такси. Продавец в магазине или кассирша получают заметно меньше: 800—1200 марок. Работа, не требующая подготовки, специальных знаний, особых физических усилий, ценится низко. Отчасти потому, что на этом рынке труда предложение многократно превышает спрос.

Диплом, ученая степень, специальные знания (скажем, свободное владение несколькими языками) в Германии стоят дорого. Но американские "большие тысячи" для страны не характерны. Четыре тысячи марок — заработок высокий, пять — очень высокий. Дальше начинаются "заоблачные сферы", вход в которые открыт для немногих.

Конечно, это не касается бизнеса. Здесь все зависит от прибы-

ли. Надо только иметь в виду, что частный предприниматель работает в условиях жесточайшей конкуренции. Германия производит больше, чем потребляет. Поэтому проблема “продать”, имеющая первостепенное значение в любой западной стране, тут заострена до крайности. Отсюда — превосходное обслуживание, сравнительно низкие (для такой страны) цены, льготы экспортерам и тем, кто вывозит купленный товар за границу. И напротив — суровые таможенные правила при ввозе. Если, например, в Израиль можно ввезти без пошлины два блока сигарет, то в ФРГ — один. Мелочь, понятно, но показательная.

Жесткая конкуренция вынуждает предпринимателя экономить на всем. В том числе, разумеется, на зарплате. Мой знакомый немец, физик по образованию, много лет работает на крупном предприятии. Его ценят, считают хорошим специалистом. И платят 4000 марок. “Не мало?” — спросил я. — “Обычно”.

Вернемся, однако, к средней зарплате. Тут приходится признать, что израильская практика расчетов тоже имеет резоны. Да, работодатель платит брутто, но работник-то живет на нетто. А это значит, что из средневысоких трех тысяч надо вычесть долги, плату в больничную кассу, необходимые страховки и прочее. Скажем, процентов тридцать. Остается тоже немало — 2100.

Немало, если не считать квартиры, вздохнет немец. Аренда самой обычной, самой заурядной трехкомнатной квартиры в Мюнхене (в черте города, но не в центре) обходится в 1200 марок. Итого, на собственно жизнь — 900.

О том, много это или мало, читатель может судить сам, ибо марка, по покупательной способности, действительно близка к шекелю. Цены на хлеб, овощи и фрукты, сыры, сигареты, транспорт в Германии выше чем в Израиле; мясо, колбаса, машины, электротовары стоят дешевле; одежда, обувь, предметы домашнего обихода — примерно на том же уровне.

Поскольку расходы на квартиру очень высоки, естественно, что многие, очень многие стремятся ее купить. Государство этому всячески содействует. Существуют, как и у нас, кредиты на льготных условиях, рассрочка на 20—25 лет. Проблема лишь в том, что трехкомнатная квартира того типа, о котором мы упоминали, стоит порядка 350—400 тысяч марок, или 115—130 зарплат брутто. Легко посчитать, что у нас (при средней зарплате брутто 1500 шекелей) купить квартиру легче...

Германия — богатая страна. Она уже больше сорока лет не

воюет и тратит на оборону куда меньшую, чем мы, часть национального продукта. И если оплата труда здесь совсем не так велика, как можно было бы ожидать, значит средства расходуются на что-то другое. На что же?

На социальные нужды. Сами немцы полушутя-полусерьезно говорят, что ФРГ — социалистическое государство. В некоторых отношениях это верно. В Германии социал-демократическая партия тоже достаточно долго находилась у власти. Однако, в отличие от лейбористов, которые видели свою основную задачу в национализации производства, социал-демократы уделяли особое внимание справедливому распределению. Прежде всего — в социальной сфере. Огромные средства были вложены в развитие дорог и общественного транспорта, в здравоохранение, просвещение, строительство домов для стариков и инвалидов, в создание фондов по безработице, социальной помощи и т. п.

В результате человек, живущий в Германии, обладает высокой степенью социальной защищенности. Даже безработный (а число безработных в стране колеблется в пределах двух-трех миллионов) знает, что ему гарантировано хорошее медицинское обслуживание, что в любых обстоятельствах семья не окажется на улице, что голод ему не грозит.

Но перераспределение средств путем создания мощных общественных фондов потребления — лишь одна из причин сравнительно скромных заработков. Другая (видимо, не менее важная) связана с тем, что я назвал бы страховкой, стремлением обеспечить высокую экономическую стабильность.

Германия — может быть, чаще, чем любая другая страна в нашем столетии, — становилась жертвой инфляции, депрессии, экономического хаоса. Поэтому здесь очень сильно понимание того, как важно избегать этих потрясений, насколько сильно положение каждого человека зависит от общей экономической обстановки в стране.

Отсюда — особая, непривычная нам психологическая атмосфера. Немец, будь он инженер или врач высочайшей квалификации, не станет высчитывать, сколько бы он мог получать, живя в Америке. Мысль о переезде вообще не приходит ему в голову. Он удовлетворен тем, что зарабатывает достаточно. Достаточно, чтобы вести жизнь людей его круга. А круг этот четко очерчен: квартира (или дом) в таком-то районе, машина такой-то марки, поездки на такие-то курорты с такой-то периодичностью.

Это, разумеется, не значит, что в Германии нет проблем. Одна из самых тяжелых — безработица. Уже много лет безработица стабильно держится на уровне двух-трех миллионов, для такой страны это очень много. Студент медицинского факультета, учащийся на втором курсе, уже сегодня знает, что, став врачом, он скорее всего будет вынужден несколько лет ждать очереди на работу. То есть его (если он гражданин ФРГ), может быть, куда-то и пристроят, но это будет скорее практика, чем самостоятельная работа. Причина проста: свободных мест нет.

За время правления администрации Рональда Рейгана в Соединенных Штатах созданы миллионы рабочих мест. В Германии их число практически не изменилось. Власти предпочитают не рисковать, считая, что лучше выплачивать пособия по безработице, чем создавать искусственные рабочие места или неоправданно форсировать темпы развития.

В позапрошлом году Германия по размерам экспорта вышла на первое место в мире, опередив США и Японию. В связи с этим на правительство ФРГ стали оказывать давление. Партнеры жаловались, что экспортные ресурсы Германии так велики потому, что потребление внутри страны ограничено. Спорить с этим было трудно. После долгих дебатов два германских министерства — финансов и экономики — подписали соглашение. Оно позволит — в течение нескольких лет! — повысить общую покупательную способность населения на семь миллиардов марок. В пересчете на одного человека это составит менее 150 марок в год — сумма мизерная. Немцы слишком хорошо помнят, чем оборачивалась для страны экономическая нестабильность...

3. Чудеса и реалии. Проходившая недавно в Америке конференция по проблемам израильской экономики сильно напоминала анекдот о реббе, у которого все правы. В конференции участвовали крупнейшие специалисты — в том числе лауреаты Нобелевской премии по экономике. Один из них, знаменитый Милтон Фридман привел убедительные примеры того, как израильское государство ("бюрократия") мешает развитию частной инициативы, и предупредил, что подлинный прогресс экономики возможен лишь при условии "приватизации" хозяйства, отказа от государственного регулирования. Другой лауреат напомнил не менее впечатляющие факты благотворного вмешательства государства в экономические процессы. Самый последний — трехстороннее со-

глашение между правительством, работодателями и профсоюзами о замораживании зарплаты, цен и налогов. В результате инфляция, составлявшая три года назад трехзначное число, послушно снизилась до двузначного. Наконец, участники конференции — и уж тут все они, безусловно, были правы — отмечали, что израильская экономика — “феномен чрезвычайно интересный”, что многое тут “граничит с чудом”.

Если уж искушенные в тонкостях лауреаты говорят о чудесах, нам сам Бог велел. Первое и, конечно, главное чудо — превращение чего-то колониально-мандатного в государство с современной экономикой. Тому, кто сомневается в чудесной природе этого превращения, стоит взглянуть на Иорданию. Эта часть Палестины развивалась в несравненно более благоприятных условиях и тоже достигла немалого — только по совсем иным стандартам.

Второе чудо — уровень жизни. Мы считаем вполне естественным, что в Израиле он несравненно выше, чем в Испании или Португалии, и вполне сравним с английским и итальянским. А так ли это естественно? По объективным параметрам (исходная позиция, климат, природные богатства, расходы на военные нужды) каждая из этих стран имеет перед нами явные преимущества. Так что итог отнюдь не очевиден.

Правда, один плюс у нас все-таки есть. Речь идет о том компоненте экономики, который Маркс назвал “степенью искусности наличного населения”. Эта искусность, писал он, “составляет предпосылку всякого производства, следовательно, главное накопление богатства, важнейший сохраненный результат прежнего труда, существующий, однако, в самом живом труде”.

Нет нужды объяснять, как возникла эта искусность. Какие-то знания и опыт (главным образом в сельском хозяйстве) сформировались на месте, другие — привезли с собой репатрианты. Репатрианты из Германии и Соединенных Штатов, из Англии и Советского Союза. И если в жизни заразительны обычно дурные примеры, то в экономике — хорошие. Производство, по крайней мере в условиях свободного рынка, вынуждено настраиваться на лучшие образцы, в противном случае оно не выдержит конкуренции.

Влиянием этого компонента можно объяснить многое, но не все. Да, по степени искусности мы далеко превосходим Иорданию, имеем преимущества в сравнении с Испанией и Португалией. Однако нужно обладать очень большим нахальством, чтобы утверждать, будто средний израильтянин искуснее англичанина, фран-

цуза, немца. А коль скоро преимуществ у нас тут нет, а по прочим показателям положение у нас заметно хуже, очевидно, что в израильском уровне жизни многое все-таки идет от чуда.

Впрочем, в наше рациональное время вера в чудеса никак не мешает искать их источники. Многомиллиардная внешняя задолженность страны — один из таких источников. Состояние общественных фондов потребления — образования, здравоохранения, шоссежных дорог и проч. — второй. Напряжение, которое постоянно присутствует в нашей экономической жизни (при составлении бюджета, заключении коллективных договоров и т. д.) — третий. У нас отчетливо ощутим перекося: нам платят больше, чем следовало бы с учетом производительности труда и реальных потребностей государства.

Нетрудно понять, что страдает от этого не государство, ибо государство — абстракция. Страдаем мы. Но не прямо, через зарплату, а опосредованно — через школы, где сидит по сорок человек в классе; через поликлиники с конвейерным приемом; больницы с многомесячными очередями на операцию, дороги, провоцирующие аварии, лихорадочные прыжки инфляции, цен, налогов, забастовок...

Проще всего обвинить в этом правительство. Но если даже допустить, что нынешняя межпартийная комиссия на паритетных началах может считаться правительством, то следует признать, что оно находится в крайне сложном положении. Для типового израильтянина главный (единственный?) критерий благополучия экономики — собственный заработок. При этом критерием оценки служит не достаточность заработка и, уж конечно, не положение предприятия и страны, а соответствующие показатели в других отраслях и в иных государствах — разумеется, самых благополучных. До Кувейта и Эмиратов Персидского залива, правда, мы не дошли, но сравнение с заработками в Америке и в ФРГ считается совершенно правомерным. Анализом таких вещей, как производительность труда, природные ресурсы, расходы на оборону, никто себя не утруждает. Как и учетом всех этих брутто, нетто, цен на квартиры.

В таких условиях правительству следует проявлять крайнюю осторожность. Стоит поднять зарплату одной категории работников, как возникает цепная реакция требований. Стоит допустить "чрезмерный" разрыв в уровне оплаты с Америкой, как резко возрастает эмиграция. Едва ли не единственная сфера, которой

можно манипулировать почти свободно, — общественные фонды. Они распределяются на всех и, следовательно, не затрагивают никого в частности.

Есть, конечно, еще одна возможность — ввести в действие тот резерв, который связан с нашим отставанием в производительности труда. Говоря теоретически, это отставание не вполне понятно. Техника и технология у нас западные, по квалификации израильский работник в общем не уступает своим коллегам в США или в Германии. Чем же обусловлено отставание?

Я думаю, что это результат действия факторов двоякого рода: организационных и психологических, которые, разумеется, связаны между собой и имеют общий генезис. Говорят, наша беда в том, что хозяйство колониально-подмандатной Палестины было по преимуществу социалистическим. На самом деле его отличительной особенностью была патриархальность. Средства на развитие хозяйства не столько зарабатывались в стране, сколько поступали в нее из-за границы. Поэтому такие соображения, как рентабельность и конкурентоспособность, особого значения не имели. Достаточно того, что еврейское предприятие (сельскохозяйственное или промышленное) вообще производит продукцию. Реализовать эту продукцию в стране было нетрудно. Значительная часть еврейского населения не работала, но получала пожертвования, для английской армии возможность покупать какие-то продукты и товары на месте была благом, ибо избавляла от необходимости везти все из метрополии.

Стремительное развитие израильской экономики после получения страной независимости шло главным образом по линии строительства новых предприятий, оснащения их современной техникой, использования передовой технологии. Сама же система организации хозяйства менялась несравненно медленнее. Израильская экономика и сейчас сохраняет многие патриархальные черты. Жизнеспособность предприятия часто зависит не от конкурентоспособности его продукции, а от личных и партийных связей, контактов с партнерами, традиций.

Конечно, такого рода неформальные моменты присутствуют в хозяйственной жизни любой страны. Но их значение невелико. Только в Израиле они носят нередко определяющий характер. Особенно ощутимо это в деятельности так называемого смешанного сектора.

Смешанный (частно-государственный) сектор — система для

Запада не типичная. Такие предприятия одно время получили распространение в ГДР, довольно широко эта форма практикуется в странах Третьего мира. В Израиле положение осложняется тем, что в деле порой представлен капитал трех партнеров: государства, частных лиц и Совета профсоюзов, Гистадрута.

Уже само это сочетание — предприятие Гистадрута — содержит в себе явное противоречие, нонсенс. Интересы работодателей и работников могут не противоречить друг другу, в частном случае могут даже совпадать. Но система, при которой они совпадали бы всегда, невозможна по условию, в противном случае существование профсоюзов было бы бессмысленно.

Нам объясняют (цитирую по объявлению), что “Хеврат овдим была основана в 1923 году в качестве экономического рычага Гистадрута, чтобы обеспечить создание государства: создать рабочие места для еврейских рабочих, улучшить условия труда и заработной платы, создать плановую экономику, являющуюся собственностью рабочих”. Пусть так. Согласимся, однако, что основная задача (создание государства) давно выполнена, а компания продолжает существовать все в том же странном качестве работодателя, который сам себе и профсоюз.

Хочу уточнить. Дело не в том, кому принадлежит предприятие — частному лицу, акционерному обществу, государству или профсоюзам. Важно, чтобы оно функционировало в тех же условиях, что любое другое предприятие, было подчинено общим законам свободного рынка. На практике происходит нечто иное. Скажем, “Альянс”, завод по производству автомобильных шин, уже много лет выпускает продукцию, которая пользуется дурной славой на рынке. В обычных обстоятельствах завод был бы давно закрыт или реорганизован. Но “Альянс” — предприятие Гистадрута. Понятно, что Гистадрут пытался его сохранить. Однако при этом он выступал в самых разных, взаимоисключающих качествах: владельца, администратора, представителя трудящихся, высшей инстанции для заводского рабочего комитета... Ситуация абсурдная.

Ее абсурдность усугубляется тем, что Гистадрут в наших условиях — не просто профсоюз, но организация почти правительственная или даже надправительственная. Фактическое сращивание с партией Труда позволяет ему блокировать решения коалиционного правительства. Возможность парализовать работу в любой момент и на любом участке дает ему средства давления уже на общегосударственном уровне. Таким образом, сугубо экономический,

казалось бы, вопрос, предоставить ли субсидии строительной компании "Солель боне" и кибуцному движению, повысить ли цены на билеты транспортного кооператива "Эгед" и т. д., сразу превращается в проблему партийную, правительственную, государственную. Насколько я знаю, ничего подобного нет ни в одном государстве мира.

Другая особенность нашей экономической жизни, усвоенная в подмандатное время, — иждивенчество. Оно проявляется на всех уровнях. Предприятие, которое понесло убытки на экспорте, убеждено, что возместить их должно государство. Кибуц, решивший компенсировать свои потери повышением цен на помидоры, не сомневается, что государство не допустит ввоза в страну помидоров из-за границы — ведь кибуц не просто предприятие, а "израильский образ жизни", "национальная гордость". В свою очередь и гражданин, покупающий помидоры по гренландским ценам и возмещающий (через налоги) чужие грехи, свято верит, что государство, если на него "нажать", способно повысить зарплату.

Перед нами чрезвычайно интересный психологический феномен, отчасти знакомый нам по советскому опыту. Мы выросли в уверенности, что источник всех земных благ — решения партии и правительства. В некотором смысле так оно и было. Нам платили не то, что мы заработали, а минимум, который власти считали достаточным для проживания данной категории населения. Все остальное государство изымало либо заранее (при назначении окладов и расценок), либо потом — в форме косвенных налогов. Эти средства оно расходовало вполне произвольно: на финансирование революционного движения в Бирме, на строительство жилья, на снижение цен. Наконец, оно могло и просто повысить зарплату, выбросив на рынок деньги, не обеспеченные товарами. При государственной системе ценообразования это не вызывало даже особой инфляции. Правда, торговля превращалась в раздачу и доставку. Но это был уже другой вопрос, вопрос ловкости и удачи...

До недавнего времени о системе социалистического распределения благ предпочитали не говорить: власти вовсе не рвались обсуждать эту деликатную тему. Вынудили обстоятельства. Дело в том, что граждане, начисто забыв ужасы сталинской эпохи (такое, по Павлову вообще свойство человеческой памяти), хорошо запомнили, что вождь и учитель регулярно снижал цены. А вот при Горбачеве цены ползут вверх и их угрожают повысить вдвое. Мораль?.. Пришлось объясняться.

В середине апреля "Известия" напечатали письмо одного из таких недовольных и большую статью доктора экономических наук Отто Лациса "Сказки нашего времени". Статья эта замечательна тем, что Лацис — кажется, впервые в советской печати — раскрыл механизм социалистической демагогии. Пора понять, объяснял он, что партия и правительство, при всем своем могуществе, материальных ценностей не создают, они лишь распределяют то, что создано трудом народа. Если создано мало, а цены снижаются, то делается это за счет не государства, а все тех же граждан. Автор вспоминает, что даже в столичной Риге, где он жил, в магазинах после войны не было ни сахара, ни масла, что в 1947 году, одновременно с отменой карточек и денежной реформой, цены были повышены так, что общий их уровень оказался втрое выше довоенного, 1940 года; что снижение цен никогда не касалось основных товаров; что значительную часть зарплаты, и без того низкой, власти забирали обратно в виде займов; что крестьяне, составлявшие две трети населения, жили впроголодь; что были еще миллионы заключенных, которые вообще работали без оплаты, за пайку...

Вряд ли нам надо объяснять, что в Израиле положение иное. Что партия (какая?) материальных благ не производит, а зарплата (все равно — высокая или низкая) зависит не от правительства, а от сочетания многих условий. Что если, скажем, хозяин предприятия повысит зарплату выше какого-то предела, то возрастет цена изделия, и продукцию перестанут покупать. Если же государство повысит зарплату служащим, это либо вынудит его поднять налоги, либо возникнет та галопирующая инфляция, от которой мы только недавно избавились.

И при этом, кажется, нет такой категории населения (включая работников налогового управления), которые не требовали бы повышения зарплаты, используя любые средства — в том числе недозволённые. Дело даже не в том, правы ли они по существу. Поражает другое. Ну, положим, правительство уступит. Что за этим последует? Во-первых, инфляция, которая мгновенно слизнет прибавку к зарплате. Во-вторых, повышение налогов. В-третьих, сокращение штатов или закрытие предприятий, от чего пострадают сами работники. Стоило бы, например, всерьез проанализировать историю проекта "Лави". Проект этот был закрыт потому, что стоимость самолета оказалась много выше первоначальных расчетов. А почему она оказалась выше? Не потому ли, что работ-

ники "Таасии авирит" постоянно требовали (и получали) прибавки к зарплате? Процесс этот продолжался даже тогда, когда шло обсуждение вопроса о судьбе проекта. Похоже, все верили, что в последний момент правительство "вывернется".

Откуда эта иррациональная, какая-то мистическая вера в возможности правительства? Увы, из опыта. Из давнего опыта подмандатной территории, куда стекались деньги от евреев диаспоры: благо, евреев в диаспоре было много, а на территории мало, и нужды их были невелики. И из недавнего опыта, когда правительство щедрой рукой брало и безвозмездные субсидии, и вполне возмездные займы, полагая, очевидно, что отдавать их будет кто-то другой. На возврат этих займов и процентов по ним мы и расходуете теперь треть бюджета. А сколько будем расходовать завтра? Но и безвозвратные субсидии совсем не так безвозвратны, как может показаться. Просто проценты по ним мы платим из политического капитала страны, нередко уступая давлению людей, чьи благие намерения не подкреплены знанием бесконечно сложной израильской ситуации. Ситуации, которую понимают только тот, кто живет в этой стране, и которая чудесным образом упрощается, если смотреть на нее из-за океана...

Положим, какие-то тонкости "большой политики" рядовому израильтянину не известны. Но неужто он не понимает даже того, к чему приведет очередной рост зарплаты? И уж вовсе невозможно поверить, что этого не понимают руководители Гистадрута. Ведь все это уже было, и было совсем недавно. Зарплата — цены; цены — зарплата... И так до бесконечности? Какая-то вовсе бессмысленная и бездумная карусель.

Однако же своя логика тут есть. Такая же капризная и извилистая логика, как все в нашем непростом государстве. Поиски этой логики снова уводят нас к подмандатной эпохе, когда власть принадлежала одной партии, а Гистадрут был ее филиалом (или партия — филиалом Гистадрута?). И возвращают обратно — к нынешнему положению хрупкого равновесия двух блоков, когда избирательная система не позволяет реализовать небольшой перевес в устойчивом однопартийном правительстве. Неудивительно, что борьба за повышение зарплаты становится козырем в сложной межпартийной игре.

Один знакомый сказал мне прямо: "Надо, наверно, голосовать за Маарах. Если он придет к власти, Гистадрут быстро с ним договорится. А если победит Ликуд, страну будет трясти лихорадка

забастовок". Я не думаю, что все обстоит так просто. В Израиле распространен принцип, по которому каждый должен "делать свое дело". Профсоюзы — добиваться повышения зарплаты и лучших условий труда для работников, работодатели (в том числе и крупнейший из них — правительство) — этому противиться. От того, насколько энергично они действуют — каждый в своем направлении — зависит их популярность. Предполагается, что такого рода борьба способствует справедливому распределению "национального пирога".

Это иллюзия. Когда десятки тысяч государственных служащих бастуют, требуя "заключения новых договоров" (то есть повышения зарплаты), ясно, что речь идет не о перераспределении, ибо перераспределять нечего — правительство и без того едва сводит концы с концами. Речь идет о том, чтобы правительство, кровь из горла, откуда-то достало несуществующие средства. А источников тут всего два: печатный станок (и следующий за ним виток инфляции) или новые займы. Со стороны даже странно, что "плохой человек" — министр финансов — упорно этому противится. Что мешает ему стать "хорошим"? От инфляции и роста долгов он лично пострадает никак не больше других. Или мы, как маленькие дети, будем потом упрекать его в том, что он, взрослый, вовремя не сказал нам "нет"?

Как-то Япония, страна, чей внешнеторговый баланс давно стал предметом всеобщей зависти, закончила год с убытками: конкурентоспособность японской продукции снизилась. Мгновенно последовало обращение правительства к народу: граждан призывали согласиться на всеобщее 2-процентное сокращение зарплаты. Никто не возражал, и эта мера позволила стране преодолеть кризис.

Будем, однако, откровенны. Нам бы такая мера не помогла — даже если бы (случай невероятный!) была выполнима. И не только потому, что, в отличие от Японии, мы платим дань истории и географии. Главное, мы никак не поверим, что давно перестали быть подмандатной территорией и превратились в независимое государство, которому никто ничем не обязан. Это мы обязаны, если хотим быть самостоятельными, сами удовлетворять все свои нужды и жить не по потребностям, а по возможностям.

Добрые старые времена ишува прошли. В большом мире действуют иные правила, жесткие правила конкуренции, борьбы за существование. С нашими патриархальными нравами, с психологией инживенчества этой борьбы не выдержать. Беда не в том, что

у нас есть предприятия разной структуры: государственные, профсоюзные, частные, смешанные. Беда в том, что одни из них живут по законам свободного рынка, а другие — по каким-то иным, туманным законам. Когда гигантская фирма "Крайслер" оказалась на грани краха, правительство Соединенных Штатов предоставило ей заем в сумме 5 миллиардов на четко обозначенных условиях. Само собой разумеется: фирма или сумеет стать на ноги и вернет долг, или разорится.

Вот этого "или — или" нам и не хватает. Не хватает всем: государству, профсоюзам, Сохнуту, предприятиям. Именно поэтому Гистадрут может позволить себе самоубийственные забастовки (газеты радостно сообщают: "Убытки за один день — 50 миллионов долларов!"); Сохнут — выплату миллионного возмещения отставным директорам банка "Леуми"; завод "Альянс" — выпуск негодных шин; мелкий чиновник ("по идейным соображениям") — волокиту, которая способна отпугнуть самого выгодного иностранного вкладчика. Не зря бытует анекдот: "Как сделать в Израиле небольшое состояние?" — "Приехать сюда с крупным капиталом и открыть дело".

Вопрос, повторяю, не в том, кто будет в стране основным работодателем, хотя по опыту известно, что частные предприятия рентабельнее государственных. Вопрос в том, научимся ли все мы жить по законам свободного рынка.

Рафаэль Шапиро — журналист, постоянный экономический обозреватель журнала "Страна и мир"; живет в Иерусалиме.

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вышел в свет в переводе Гиты и Мириам Бахрах роман Шолом-Алейхема "В бурю".

Стоимость книги (с пересылкой): в Израиле — 25 шекелей, за рубежом — 18 долларов.

Заказы и чеки адресовать: Bakhrach, P. O. Box 170, Yahud, Israel.

Там же можно заказать и роман Шолом-Алейхема "Кровавая шутка" в двух томах. Стоимость каждого тома в Израиле — 25 шекелей, за рубежом — 18 долларов.

Зимой истину предпочтительно искать в домашней библиотеке. Некоторые полагают, что летом тоже, но мы не согласны. Собственно, это мы зря. Может, оно и предпочтительнее, но вряд ли приятнее. А после того, как синоптики сообщили, что ни разу за последние годы выпадение снега в Иерусалиме не представлялось им столь вероятным, мы поспешили согласиться с Майей К.

С тех пор, как в декабре 1987 года в городе Газа начали без стеснения бросать камни, по всей Эрец-Исраэль непрерывно шли дожди. Кинерет переполнился. Говорят, скоро откроют плотину в Дгании, и хорошая, пресная вода хлынет в Иордан, ныне пробавляющийся сточными водами, а оттуда — в Мертвое море. В последний раз такое расточительство имело место в 1973 году, непосредственно перед войной. Не уверен, что мы извлекли урок из этого совпадения — вдобавок, это был год Шмиты — ну, а остальное в руках Всевышнего.

Итак, Кинерет переполнен. Что до чаши нашего терпения, то у нее, кажется, ни дна, ни крышки. Наше правительство попыталось — нет, не подавить беспорядки, до такого мы еще не докатились, — но вообще покончить с конфли-

Александр Этерман

ИСТИНА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

(очерк третий)

ктом на Ближнем Востоке и тем самым вернуть камни на место. Напрасный труд! Бесчисленные каменные ограды, опоясывающие холмы Иудеи и Самарии, потому и продержались тысячелетия, что их возводили, чтобы защитить поля от выветривания, а перед этим ведрами натаскивали из долин плодородную почву. Не политые потом камни никогда еще сами в гору не лезли. Помнится, в свое время О. Бендер уже предлагал быстро и квалифицированно избавить господина Хворобьева от неприятных сновидений. Для этого, по его словам, достаточно было устранить главную их причину — Советскую власть, чересчур зажившуюся на этом свете. Он, разумеется, за это брался, но только на обратном пути. У нашего руководства подобных отговорок нет, и мы снова убедились, что никто не ведет войну с такой страстью, как сторонники мира, — ну, и не мирится с большей готовностью к кровопролитиям. Представляется, что никакая цена не покажется им чересчур высокой за справедливый и всеобщий мир. Говорят даже, что в одной европейской столице состоялась недавно демонстрация членов общества охраны животных, разумеется, против войны, атомных электростанций и загрязнения окружающей среды. Демонстранты обличали повсеместное падение нравов, поджигали автомобили и избивали прохожих.

Разыскивая подходящую цитату под барабанный бой дождя, мы вспомнили, что нельзя объять необъятное. Поразмыслив, мы взяли в руки томик К. Пруtkова и поняли, что, наверно, и не требуется. Ключ, даже к столь необъятной проблеме, как ближневосточная, отыскивается без особых затрат. Золотой, знаете, ключик. Остановка за дверью, но дверь и не обещали. Так вот, среди прочего, мы, восхитившись, обнаружили в черед афоризмов афоризм № 122:

В сепаратном мире не ищи спасения.

“Положительно, — подумали мы, — Козьму следует перевести на иврит, разумеется, за счет МИДа. Если бы наше правительство пыталось поискать истину в библиотеках или хоть если бы снег выпадал каждый год!”

Прежде всего — не ошибитесь. Этот афоризм числится не в военных, а в сугубо гражданских изречениях великого писателя, что придает ему особую пикантность. Стало быть, речь идет не только о прекращении артиллерийского огня. Как известно, когда нужно быстро окончить войну, угрожающую столице, все средства хороши. Как утверждают историки, Брестский мир, который нас

особо интересует, был недурной выдумкой, выгодной обеим высоким сторонам — при том, что задачи у них были совершенно разные. России нужно было разделаться с внутренними врагами, а Германии — с внешними, ну и тут В. И. Ленин с его экономическим мышлением оказался явно дальновиднее стратега Людендорфа. Уж очень сильно уступали экономически Антанте и США Центральные державы! В итоге немецкие дивизии не дошли до российских столиц, зато у них появился хороший шанс дойти до Парижа, что, кстати, весной почти и состоялось. Ну, а то, что вскоре после капитуляции Германии Россия в одностороннем порядке аннулировала Брестский мир — это же просто само собой разумеется! Договор-то был заключен немцами в расчете на победу, на худой конец — на комфортабельное завершение войны. В том-то и прелесть сепаратной сделки, что область ее морального действия весьма ограничена, и чаще всего она обязывает только заключивших ее людей. С другой стороны, ее аннулирование — в отличие от аннулирования настоящего мирного договора — почти наверняка не ведет к войне, разве что это оговорено заранее.

Признаемся — мудрость К. Пруtkова представляется нам просто ошеломляющей. Он не написал — “не заключай сепаратного договора”, или “не иди на сепаратное соглашение”, или даже “бойся сепаратного договора”. Такого рода утверждения подобны флюсу и ни в коей степени не состоят в родстве со сбалансированной истиной. Заметим — он даже не счел нужным предостеречь нас от последствий сепаратной сделки, ибо обычно заключающие ее стороны отлично знают, на что идут. Но одно обстоятельство, — утверждает Козьма, — они, стороны, все-таки должны иметь в виду. В сепаратной сделке всегда есть что-то от нашего “ецер ха-ра”, дурного начала, и его-то они и должны остерегаться. В сумке у дьявола в рай не попадешь. Короче, в сепаратном договоре не ищи спасения. Выгоды — ищи.

Для начала давайте зададимся вопросом — а зачем вообще нужно Израиллю мирное соглашение с арабскими странами? Дабы нас не обвинили в передергивании, добавим — или даже акт о мирном сосуществовании, или даже настоящее сползание к миру, наблюдавшееся как-то время в отношениях с Египтом? Зачем? Дабы достичь настоящего, реального мира? Дабы уменьшить угрозу войны? Но разве мирные соглашения на Ближнем Востоке кого-либо обязывают? Спросим иначе: разве тут существует политическая мораль? И еще того хлеще: разве тут можно говорить

об объективных, долгосрочных интересах сторон, пребывающих в конкретных границах с данным населением? О "генетически" разных долгосрочных интересах Сирии, Иордании, Ирака? — иначе, чем в их текущем противостоянии друг другу, Ирану или Израилю? разве хоть одна из этих стран знает, на какой территории мечтает построить идеальное общество, другими словами — заняться внутренними делами? Наверно, Израиль мог бы подписать мирный договор с Кувейтом или Бахрейном, но и то лишь потому, что их экономические интересы и нездоровое стремление к стопроцентной устойчивости пока доминируют над естественными для Ближнего Востока государственными интересами. Любое потрясение, затрагивающее нефтедолларовые правила игры, делает их столь же нестабильными, как Южный Йемен. Но что Бахрейн? А Египет? Разве, допустим, исламский режим, который вполне может там установиться, хоть в какой-то степени посчитается с мирными договорами или любыми другими реалиями? Речь не только о мирном договоре с Израилем, под который и в нынешнем Египте националистически мыслящие круги копают в открытую, но и о пакте о стратегическом сотрудничестве с Соединенными Штатами! А Женевская конвенция? Гагская? (Впрочем, персоналам иностранных посольств обязательно позволяют покинуть страну.) С Ираном у Израиля было кое-что получше, в память об этом мы, видимо, и поставляем ему до сих пор оружие — но ведь Иран нам даже не сосед! Так что вопрос пока что остается открытым — для чего нам нужны мирные договоры? Чтобы было, что нарушать?

То ли дело военная история Европы! Мы специально — и не без удовольствия — перелистали, работая над этим сочинением, несколько книжек. В Европе на протяжении сотен лет мирные соглашения были не более, чем соглашениями о перемирии. Они оформляли статус-кво, сложившееся по окончании военных действий — иногда открытым текстом, скажем, на десять лет, иногда по умолчанию — ровно на столько времени, пока у одной стороны не возникнет желания переиграть партию.

Заметим, впрочем, что войны в Европе чаще всего велись из-за пограничных пустышков, таможенных тарифов и права их взимать, в лучшем случае — из-за статуса нескольких городков. Вспомним на сей раз Шекспира:

Капитан:

Сказать по правде и без добавлений,
Нам хочется забрать клочок земли,
Который только и богат названьем.
За пять дукатов я его не взял бы
В аренду. И Поляк или Норвежец
На нем навряд ли больше наживут.

Гамлет:

Две тысячи людей
И двадцать тысяч золотых не могут
Уладить спор об этом пустяке!
Вот он, гнойник довольства и покоя...

Как всегда у Шекспира — все совершенно точно. Вот он, гнойник, он же источник, довольства и покоя — нынешних кошмарных и в то же время удобных национальных и межгосударственных отношений в Европе: неизбежные войны по пустякам, за господство над ошметочком территории, на которой произросла самая продвинутая материальная культура в истории человечества! Войны, скорее, за преобладание, чем за обладание, сформировавшие лицо континента. Относительно немногочисленные завоеватели, желавшие и добивавшиеся большего, именовались Карлом Великим, Людовиком-Солнцем или Наполеоном Бонапартом и традиционно плохо кончали, ибо в Европе с давних пор трудно, а то и невозможно перекраивать национальные границы.

То ли дело Восток! Там удачливый завоеватель не просто выкраивал себе империю, но и порождал новые государственные и чуть ли не национальные образования. Другими — прежде всего, другого масштаба — были восточные войны, другими — мирные соглашения. В Европе обыкновенно велись войны с ограниченными целями и заключались такие же — ограниченного действия — мирные договоры. На Востоке куда чаще воевали на уничтожение, ну, а мирились, чтобы прекратить состояние войны. В свое время Наполеону так и не удалось навязать Европе континентальную блокаду. Где-нибудь на Востоке хватило бы одного грозного "табу" — без всякой таможенной службы.

Западноевропейские страны так стерпелись друг с другом, так привыкли друг с другом воевать, а в свободное время — что еще важнее — вести совместное хозяйство, что крупно меняют западноевропейскую картину европейскими методами — все равно, что толочь воду в ступе. Историки объясняют это тем, что в

Европе относительно давно сложились современные нации. Скорее всего, так оно и есть. Но для нас особенно важна обратная сторона медали. Все эти столетия никто, кроме профессиональных мечтателей, никаких иллюзий, равно надежд, на прочный (вечный) мир в Европе не питал. Зато Англия и Голландия, Австрия и Испания, Франция и Швеция чуть не ежегодно воевали и мирились друг с другом, становясь поочередно противниками и союзниками, а их граждане немедленно по заключении мира начинали пересекать государственные границы, за ними следовали товары, любовные интриги, браки — и это представлялось естественным состоянием дел, ибо воевали государства и правители, а не народы. На наш взгляд, целую эпоху в истории Западной Европы можно назвать эпохой “философии сепаратных сделок” — специфических мирных соглашений, вообще не соотносившихся с моралью, но послуживших материальному прогрессу европейских стран и весьма развивших европейский дипломатический стиль. Несколько столетий мышиною возни оставили свой неизгладимый отпечаток на европейской культуре. К примеру, дипломатическая Европа не ищет в политике идеалов, по крайней мере, со времен Людовика XI, — а следовательно, не ищет идеальных и даже близких к идеальным решений. Политика и дипломатия стали здесь средствами достижения преимуществ в строго регламентированной борьбе за более или менее личные цели, в лучшем случае — за самозапечатление на фоне государственных дел. В конечном счете, скажем мы, Западная Европа настолько продвинула национальное самосознание своих народов, что они стали свершившимся и даже скучным фактом, и поэтому переразвитые европейские государства защищают уже не национальную или государственную идею — на нее никто и не нападает, пока не перестает быть западноевропейцем — а в лучшем случае национальные или государственные интересы, а это уже, как научил нас Маркс, всего лишь классовые интересы групп, безразличных к тому, что их не касается. В XIX веке небольшая война в Европе могла обернуться переделом Северной Африки. В самой же Северной Африке дабы оторвать Египет от Османской империи, его следовало захватить. В свое время знаменитый Людовик-Солнце попытался присвоить Испанию и, когда после нескольких малоудачных войн его внук стал первым испанским Бурбоном, провозгласил: “Нет больше Пиренеев!” На Востоке, где нет взаимно-однозначного

соответствия между народами и территориями, началась бы новая историческая эпоха. Ну, а Испания?..

В Западной Европе дипломаты и политики уже лет восемьдесят противостоят идеалистам вроде Ж. Жореса. На поверку такие идеалисты оказываются не только хуже и опаснее классических профессиональных политиков вроде Меттерниха, но и испорченнее их, ибо сами выдумывают себе мораль. Их счастье, если они мученически погибают на пороге великой войны, а то пятью годами позже их приходится сажать в тюрьму за сотрудничество с неприятелем (Жаку Дюкло, впрочем, уже нечего было опасаться). Их так называемый политический идеализм очень смахивает на описанное Бокаччо (и, кажется, Петронием) заголение зада ради того, чтобы подолом прикрыть лицо — мероприятие опасное, некрасивое, но, в любом случае, крайне эротичное.

Разумеется, идеалы Жореса более харизматичны. Оттого и страдаем, ибо, как давно и верно замечено, политика — это столкновение интересов, а не идеалов. Старинное правило гласит: индивидууму свойственно — стало быть, правильно — быть рационалистом, эгоистом и индивидуалистом в собственных делах и хоть отчасти идеалистом в делах общественных. Не отсюда ли проистекает опаснейшая и распространеннейшая ошибка — полагать политические дела общественными, а не личными? На самом же деле, общество обязано вести свои дела столь же рационально, как индивидуум — свои, и кого это обязывает, если не политиков? В Европе все это понято давно и основательно, и индивидуумы там методично отращивают теплую шкуру, открывают страховые и пенсионные программы, делают зарядку по утрам и тому подобное. Беда, однако, в том, что современное общество и без того обеспечивает им видимость комфорта и безопасности, оказывая тем самым медвежью услугу — ту же, примерно, какую зоопарк оказывает белому медведю: от относительно обеспеченного рациона, теплого климата и гиподинамии он жиреет, стареет и теряет способность производить потомство. Сходным образом жертвами западной цивилизации оказываются наркоманы, меломаны, золотая молодежь и просто оппозиционная непроемкая публика, впервые в истории ставшая сейчас легитимным социальным явлением. То, что общество законодательно избавило их от борьбы за социальное выживание, подпортило им гормональный обмен. Опасно вести несвойственный от природы образ жизни — и это касается обществ и государств не меньше,

чем простых смертных. Не случайно законодательная легитимация гомосексуализма, свершающаяся сейчас в США, есть, по существу, легитимация ЭЙДС, что, как бы мы ни любили свободу, неблагоразумно. Ну, а благоразумно ли строить политическое будущее страны по правилам, чуждым региону и обычаям собственного народа? В одной умной детской книжке мы вычитали, что не столько существуем, сколько сосуществуем. Если это так — а мы лично весьма впечатлены этой идеей — то тем более необходимо держаться свойственным нам образом, ну, и не пытаться вырваться из исторического контекста. Миллионер Корейко, питавшийся репой в предвкушении реставрации капитализма, вел себя не как простой смертный, обязанный сосуществовать с реальностью. Но мы забегаем вперед...

Прежде, чем перейти к вопросу о том, что, собственно, мы могли бы пожелать государству Израиль, а заодно и себе, как его лояльным гражданам, заметим, что нас (а как написано в книге М. Бар Зогара, и Давида Бен-Гуриона тоже) давно занимает знаменитая формула Троцкого: "Ни войны, ни мира, а армию распустить!" Усматривая в ней предел — пусть сумеречный — исторической гениальности, мы не можем не заключить, что она четко предрекла личную судьбу ее автора. Он пытался делать историю, а не политику, имея при этом политические амбиции, и оказался в критический момент разоруженным. И все-таки, как хорошо придумано! "Ни войны..." — разумеется, дабы немцы не заняли Петроград и Москву и, чего доброго, не загубили революцию, — а кстати, пусть только попробуют: распропагандирую! "Ни мира..." — какой мир может быть с империалистической Германской империей? Только сепаратный, без идеологической взаимности. Ну, а "армию распустить!" — это уж троцкистская новинка, поражающая непредубежденного слушателя в самое сердце. Вдобавок, Троцкий был не так уж и неправ, ибо распустить в этот момент было, по существу, нечего, а то, что было, обязательно надо было распустить, чтобы создать настоящую армию — так что бывает, оказывается, и прагматический пацифизм. Следует заметить, что в Брест-Литовске оба выдающихся советских руководителя надеялись чего-то избежать. Ленин надеялся, что удастся избежать соблюдения условий вырабатываемого соглашения. Троцкий хотел избежать подписания договора, который не хотел соблюдать, даже после немецкого наступления на Нарву и Псков. Тем не менее, прекращение огня представлялось обоим

совершенно необходимым, а вот заключение мира — совершенно излишним. Различие состояло в том, что один из них соглашался оплатить перемирие клочком бумаги, а другой нет. Едва ли они расходились и по вопросу о "территориях": по-видимому, и Троцкий уступил бы Украину, поскольку держать ее было нечем, — но только не хотел под этим обстоятельством подписаться.

Вернемся на Ближний, он же Средний Восток. Что, собственно, нового в ближневосточном конфликте? Израиль (он же Яаков) в конце жизни недвусмысленно взмолился: "Всевышний! Чуть не с колыбели иду я от одной неприятности к другой. Может, хоть на старости лет смогу я пожить спокойно?" Ответ был совершенно однозначным: "Ты, кажется, рассчитываешь на достойную участь в том, будущем мире? Какие, в таком случае, могут быть претензии в этом?" Талмуд сообщает, что эта дерзость стоила Яакову тридцати трех лет жизни — ибо он облек ее во фразу из тридцати трех слов.

До какой степени все это нас касается! Не станем утверждать, что именно прижизненными неприятностями мы выкупаем себе райское блаженство. Некоторое значение имеют еще моральные качества и добрые дела. Но пожелание "оставьте меня в покое", по-видимому, вообще не является легитимным, ибо оно заведомо адресовано Всевышнему, а как раз у него и не может найти поддержку. В частности, Шимон Перес или р. Меир Кахане, стремящиеся тем или иным способом избавить нас от арабов, должны были бы сперва спросить: что они, собственно, сами тут делают и вообще — во имя чего мы существуем?

Как известно, государство Израиль было создано по указанию Организации Объединенных наций как национальный очаг для еврейского народа. Тому способствовал расклад интересов великих держав и легкий шок, вызванный у части человечества уничтожением евреев нацистами, то есть факторы преходящие. И тем не менее, сам факт легитимации еврейского самоуправления в Эрец-Исраэль столь представительным форумом имеет для нас непреходящее (эзотерическое) значение, глубокий галахический смысл. Признаемся, в качестве секулярного националиста мы бы воспротивились такой постановке вопроса. "Мы, — сказали бы мы, — находимся тут по воле Всевышнего и по историческому праву, и еще потому, что победили в войне. Кроме того, — добавили бы мы, — основы государства были заложены еще до создания ООН, ну, так мы бы и дальше без нее обошлись". К сожалению, рассуждая таким

образом, мы как раз вступаем на бесславный путь, осужденный К. Прутковым.

Дело в том, что, как и следовало ожидать, Талмуд предвидел такую постановку вопроса, афористически сводящуюся к знаменитому “в крови и огне пала Иудея, в крови и огне она восстанет”, или, если обратиться к классическим источникам, “своими силами и мощью собственной десницы свершили мы все это”. Кстати, это вам ничего не напоминает? Нам — чересчур уж многое: “Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены”, и еще лучше: “Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой”. Сепаратно и бесперспективно! Как сейчас помним: греческие боги собрались было в пещере — формально, чтобы отпраздновать свадьбу Фетиды и Пелея, а на самом деле — дабы предотвратить смену руководства (мы-то помним, чего вдруг Фетиду выдали замуж столь неравным образом: Прометей предсказал, что ежели она спутается с Зевсом, что подразумевалось, их сын спихнет громовержца с Олимпа!). Все шло строго по сценарию, только вот почему-то забыли пригласить одну даму со скверным характером. Результат не заставил себя долго ждать: подброшенное золотое яблоко, соперничество трех, арбитраж Париса, взятки, похищение Елены и в итоге — Троянская война, то есть в рамках той космогонии — мировая война. Некоторые комментаторы, впрочем, полагают, что так и было задумано — свадьба должна была привести к кровопролитной войне, ибо Земля уже пожаловалась кому следует, что слишком перенаселена. В любом случае, избрано было самое эффективное средство — сепаратное мероприятие, то есть такое, в котором не принимает участия кто-то из имеющих на то право. И если причиной тому забывчивость, то это хуже, чем умысел, недаром Наполеон так и сказал: хуже преступления только ошибка; ежели умышленно, то, быть может, по независящей от нас причине, и уж во всяком случае не исключено, что в душе страдаем; но если забыл — то, прежде всего, оскорбил, а потом уже не позвал в гости. Как бы не оказалось, что мы тут, на Ближнем Востоке, расплачиваемся за свою еврейскую безграмотность тем, что, пытаясь замирить региональный конфликт, раздуваем пламя великой Троянской войны, выиграть которую невозможно, ибо ее демографическое назначение — **разредить плотность народов** — нисколько нам не близко.

Поэтому Талмуд, цитируя сразу несколько мест в Торе и Та-нахе, предостерегает нас от вульгарно-националистической пози-

ции "собственной десницы". Нам следует иметь в виду, что на независимость и другие успехи мы обречены лишь затем, дабы в их рамках выстроить то, что угодно Всевышнему. Мы преуспеваем только в той степени, в которой продвигаем еврейское дело в его строго талмудической интерпретации, так что политическое и экономическое положение государства Израиль может служить мерой кашерности того, что оно предпринимает. Наши конфликты, в том числе и военные, одной из сторон всегда имеют Всевышнего, потому-то стратегические расчеты на Ближнем Востоке так предельно и усложнены, победы мало что означают, а перед особо болезненными и совсем уж бесспорными операциями Генштаб обращается за прикрытием к выдающимся раввинам — и они ни разу еще не оплошали. Так, покойный Стайплер "обеспечил" в свое время отсутствие потерь при уничтожении сирийских зенитных ракет в Ливане, а совсем недавно р. Мордехай Элиягу "прикрыл" высадку в Тунисе спецназгруппы Генштаба, уничтожившей Абу-Джихада. Более тщательная — в еврейском смысле — подготовка регулярных войн привела бы к тому, что и из них мы выходили бы без потерь, как не столь уж праведные Маккавеи из сражений, которые они вели по всем правилам кашерности. А более "правильное" поведение в мирное время привело бы к тому, что эти самые войны вообще не пришлось бы вести. Вмешательство Всевышнего в наши дела стало сейчас столь плотным и открытым, что, будь мы хоть отчасти зрячими, оно просто выбивало бы нас из колеи. Но мы не только слепы, но еще и предубеждены — раз так, нам приходится вести бесконечные войны втроем, результатом которых может быть только одно — резкое улучшение нашего зрения. Ничего не поделаешь — у Всевышнего есть свои интересы на Ближнем Востоке.

Только ли на Ближнем Востоке? Разумеется, все это звучит несколько странно, да и вряд ли мы решились бы изображать Б-га Израила как регионального властителя. И все-таки — почему правила игры, которыми мы наслаждаемся, столь отличаются от общепринятых?

В трактате "Ктубот", на III листе, сообщаются очень интересные вещи. Оказывается, изгоняя евреев из Эрец-Исраэль, Всевышний поставил им определенное условие, и они поклялись его выполнить. Он обязал еврейский народ "не подниматься на стену", то есть не вторгаться в Эрец-Исраэль и не брать ее под свою руку без того, чтобы мировое сообщество — да, да, мировое сообще-

ство, а не местное население! — это одобрило. Именно поэтому похожее на сказку голосование Генеральной Ассамблеи ООН имело действительно историческое значение — исполнялось одно из центральных пророчеств Талмуда! Гои, да еще большей частью христиане, теологическая концепция которых подвешена на том, что евреи изгнаны из Эрец-Исраэль из-за того, что провинились перед их руководителем, а потому путь обратно им принципиально заказан, наступили на горло собственной песне и признали, что Палестина, она же — Святая Земля, есть национальный очаг еврейского народа, и евреи имеют право обосноваться там. Точка. После этого можно было провозглашать еврейское государство. Оставался вопрос о границах, но это уже чисто внутренний вопрос, затрагивавший только троих — Всевышнего, нас и наших соседей. На наше счастье арабы нас атаковали. Существует серьезнейшая галахическая проблема: может ли еврейское государство вести наступательные войны с целью приобретения территорий, даже если это части Эрец-Исраэль и они ему кровно необходимы? Сомнение на этот счет засело в нас столь глубоко, что о наступательной войне не заговаривают даже нерелигиозные израильские ястребы. Но нет никакого сомнения, что, отразив нападение, мы обязаны присоединить попутно завоеванные территории теоретически и без того нам принадлежащие. Более того — это и есть исторически уготованный нам способ возвращения домой. Но, заметим, для этого нет необходимости воевать пять или десять раз...

После некоторых размышлений нам пришло, наконец, в голову, отчего геополитические вопросы решаются на Ближнем Востоке иначе, чем в других местах. Талмуд в нескольких местах отмечает, что в то время, как у других народов и стран есть свои ангелы-хранители, у еврейского народа и Эрец-Исраэль статус особый: им Всевышний ведает сам, не прибегая к посредникам. Сходным образом евреи не подчиняются влиянию созвездий, под которыми родились, в то время как судьбу нееврея хороший астролог может вычислить сразу после его рождения. Естественно спросить: к чему все это? Ведь, несомненно, ангел-хранитель действует исключительно по указанию сверху и заведомо преуспевает. В чем тогда разница?

Прежде всего, ангел — это робот, идеальная машина, которую Всевышний создает, дабы она выполняла Его поручения. Он не имеет свободы воли и умолять или благодарить его бессмысленно, да и не за что — обращаться следует непосредственно наверх.

Народ, выигравший войну благодаря вмешательству ангела, может приписать себе победу в той же степени, как если бы победил в "честном" бою, и смело присвоить все результаты. Ангел имеет на них столько же прав, сколько вожак боевых слонов. Поэтому все прочие народы имеют право самостоятельно решать, каким образом использовать плоды своей победы и с кем и на каких условиях заключить мир. Разумеется, если они ими злоупотребят, то будут наказаны — но ведь можно злоупотребить и законно приобретенными в магазине яблоками — несварение желудка будет то же, что и от ворованных.

Еврейский народ находится в ином положении. Всевышний, после того, как Он вмешивается в ход войны, приобретает, по меньшей мере, права союзника, плоды победы принадлежат Ему, по крайней мере, в той же степени, что и нам, и никакое соглашение, предполагающее использовать эти плоды, не может быть заключено без учета того, какими Он видел цели войны, и вообще — без Его согласия.

Наш ближневосточный конфликт тем и хорош, что по нашим быстротекущим временам беспримерен. Сорок лет непрерывной войны на фоне кровавых междоусобиц во враждебном лагере — это не просто впечатляющий итог, это еще и все, что было у нашего государства. Израиль не знает, что такое мир, и мечтает о нем примерно так же, как в СССР мечтают о построении коммунизма. Если бы до такового дошло, он оказался бы совершенно новым явлением, требующим, скорее, научной, чем политической проработки.

Мы вернулись сюда с соизволения Объединенных Наций, а не соседних арабских стран. Те, кто нас некогда изгнал — Эсав, Эдом, бесспорные наследники римской империи, христианские государства мира — проголосовали "за". Однако, их яркая и блестящая роль закончилась после первого же выхода на сцену. Никогда больше арифметическое большинство в ООН не было для нас благоприятным. Но больше и не требовалось. В его полномочия входило только санкционирование нашего возвращения сюда. Поэтому, когда ООН включила в свою провиденциальную резолюцию дополнительное условие — создание "арабского государства" — история только чихнула: этого ей никто не поручал.

Все, кто говорит в Израиле о мире, имеют в виду мир окончательный, подлинный и нерушимый — хотя бы в видимом будущем, пока нынешние интересы — вообще интересы. Именно в та-

ком мире отказывают нам арабские страны. Скажем, сирийцы традиционно согласны на сложнейшие военные мероприятия, обеспечивающие соблюдение перемирия на общей границе, но не хотят сидеть за одним столом с израильянами — чтобы каким-нибудь образом не продеградировать к миру. По общему мнению, мир должен быть достигнут с помощью уступок, прежде всего — территориальных, затем — этнографических. Их объем является основным предметом торговли между израильскими левыми и израильскими правыми, причем правая философия гласит, что следует уменьшать эти уступки, насколько возможно, в то время как согласно левой теории существуют уступки, желательные сами по себе. В любом случае, ожидаемый арабский вклад в мирное соглашение — это готовность им удовольствоваться. Предполагается, что “мы” заинтересованы в мире больше, чем “они” — наверно, потому, что “мы” — “единственная демократия на Ближнем Востоке”. Хочется съязвить — если только одни “демократии” всерьез заинтересованы в мире, то уже не остается, с кем его заключать. Но черт с ним, с этим аргументом — уж очень он прост. Нас больше смущает другое. Нам начинает казаться, что если мы и ведем переговоры о мире, то исключительно с собственной совестью, да и вообще — это, скорее, чревоущание, чем переговоры. В таком случае приходится признать, что мы очень уж странным образом заполняем свой моральный досуг. Раскаиваться, даже если есть в чем, лучше не через газеты.

Теперь заметим, что мы и без того живем в мире со своими соседями. Состояние войны ощущается только на границе с Ливаном, но это беда, а не вина этого несчастного государства. Не забудем, что мы находимся в регионе, где братцы-кролики Иран и Ирак воюют друг с другом без объявления войны уже без малого десять лет. Так что у нас тут почти курорт. Другое дело, что тяготы положения “ни войны, ни мира” надоели нам еще больше, чем сами войны. Ощущение понятное, но только что с нами будет, если мы достигнем искомого блаженства и пропадет одно из важнейших звеньев, скрепляющих наш национальный организм, — братство по оружию? Рав Шах, поддержавший в свое время мирный договор с Египтом, сделал при этом любопытную оговорку: “Все хорошо, просто превосходно, но я боюсь, что в условиях прочного мира израильская молодежь поедет учиться в Каирский университет. Вот это было бы нежелательно...” Ну,

что плохого, если израильтяне, и правда, поедут учиться в Каир? Ездят же они в Сорбонну!

Пламенно стремясь к миру, мы путаем правила игры. Не все, кто постреливают в нашу сторону, могут рассматриваться как партнеры по мирному урегулированию, даже если они представляют страну, а не террористическую организацию. С другой стороны, не все, кто нам тем или иным способом помогает, — наши союзники, уже потому, что могут расходиться с нами в представлениях о смысле жизни.

Возвращаясь к вопросу о мире, прежде всего заметим следующее. В своем пламенно-одностороннем стремлении к нему мы упускаем из виду, что, по меньшей мере, 51 процент акций нашего национального предприятия, как уже было сказано, находится в руках Всевышнего. Поэтому наши попытки распорядиться им в неуютном Ему духе просто несерьезны. О чем мы? В 1967 году Он сдул с кое-каких территорий три вражеские армии, превосходившие нашу. Так что же, в 1988 году мы, так и не уразумев, к чему бы это, распорядимся этими территориями по собственному усмотрению? Мало того, что это не по-деловому — да просто ничего не выйдет, только нарвемся на следующую войну...

Но для заключения мира нам недостает не только лояльности к нашему главному партнеру. Дело гораздо хуже. Пройдя через столько войн, мы не удосужились обзавестись и противником, так что теперь нам и мириться-то не с кем. Впрочем, это, возможно, обратная сторона той же медали — ведь не с арабами воюем мы здесь, а со своими собственными недостатками.

Действительно, кто же он — таинственный, непримиримый противник, которого нам приходится колотить в среднем дважды в десятилетие?

Года эдак до 1975 всем было очевидно, что наши противники — соседние арабские страны. Более того, они и сами так считали. В своей знаменитой книге, описывавшей события 1967 года прямо по горячим следам, король Хуссейн вполне искренне полагал себя стороной в ближневосточном конфликте, вдобавок, побитой стороной, да и потерянные территории считал своими. Мы хорошо помним, что в 1968 году он был готов на всеобщее мирное урегулирование в обмен на возвращение к границам на 5 июня 1967 года. Но именно потому, что в 1968 году его интересовали только территории, веры ему не было ни малейшей. Где он, собственно, был до 5 июня? Да и кто, скажите на милость, в

той же Европе заключал мир на базе территориального компромисса с противником, пытавшимся ликвидировать твое национальное государство? Страшные прусские войска, оккупировавшие Францию в 1870 году, — их жестокость трогательно описал Мопассан, — вскоре исправно отмаршировали за Рейн, отхватив всего только Эльзас-Лотарингию, на которую и без победы в войне имели ровно 50 процентов прав. Взяв реванш в следующей войне, союзники навязали Германии “грабительский” Версальский договор. Что же мы в нем находим? “Конфискация стольких-то паровозов и пароходов ... демилитаризация того-то и сего-то ... статус Рейнской области... Эльзас и Лотарингия — обратно”. Да, в таких условиях можно рассуждать о мире! — ведь интересы и поползновения сторон были ограниченными и меркантильными. Заметим, что после того, как во второй мировой войне Германия действовала не по-европейски, ей был продиктован поломавший ее послевоенный передел.

Еще раз скажем: эта идиллия — не для нас. Конфликт на Ближнем Востоке — не европейский, а азиатский, не за пересмотр границ, а за перекрашивание карты, и пока цель войны не станет более прозаической, мира тут не будет. Возвращаясь же к вопросу об отсутствии у нас противника, заметим, что мы имеем тому прекрасный иллюстрирующий пример. Великий ближневосточный мыслитель Анвар Садат, решив поставить на мирную карту, немедленно развязал войну Судного дня. Он отлично понимал, что после войны на уничтожение, произошедшей в 1967 году, мириться было нечем и незачем, ибо все помнили Коненут, вывод войск ООН из Газы и обещания Насера сбросить кое-кого в море. Поэтому Садат инспирировал первую арабо-израильскую войну с ограниченными целями (не путать с израильско-арабскими авантюрами вроде операции “Кадеш”). Неважно, чем она закончилась и сколь эффективными оказались советские РПГ. Главное — это была вполне европейская война, имевшая задачей изменить, а не похоронить статус-кво. После такой войны можно было мириться. Начались разъединения войск — всегда за израильский счет, — а затем и взаимные визиты. Но — удивительное дело! — по мере приближения к Кемп-Дэвидскому соглашению ближневосточная проблема почему-то стала превращаться в палестинскую, каковой она, обратим внимание, даже не именовалась — со времен британского мандата.

Почему?

Да потому, что война 1973 года не смогла — да и не могла — превратить азиатский конфликт в европейский. Садат мирился, выдвигая только одно, разумеется, вполне безобидное условие — он получает все, не уступая ничего. Судьба Ямита была решена уже во время его первого визита в Израиль. Без мира его бы отсюда не выпустили, а какой может быть мир без Ямита (и, заметим, без Табы — ибо не родился еще такой международный арбитр, который не отдаст арабам впридачу и Тель-Авив). Нет никакого сомнения, что Садат искренне хотел мирной опции для своей страны и даже поставил на карту собственную шкуру. Но то обстоятельство, что мир — это когда Египет получает все, говорит само за себя: это не европейское, а азиатское мирное урегулирование, и не интересы, а амбиции решают, сколько оно продержится, а значит, это не мир, а как ее верно назвали, “сепаратная сделка”. Впрочем, напомним — были уже Парижские соглашения по Индокитаю. Мир, настоящий мир — это когда смолкают пушки и развязываются кошельки, когда естественным образом складываются удобные и выгодные отношения. Но Египту было выгодно и удобно всего лишь получить обратно Синайский полуостров, а вовсе не торговать и радоваться жизни, как делали это французы после заключения Амьенского мира в 1802 году. Кемп-Дэвидский мирный договор египтянам было выгодно заключить, но выполнять его — после вывода израильских войск из Синая — отнюдь не соблазнительно, и само по себе состояние мира не служит сейчас противовесом всевозможным военно-политическим соблазнам.

После нашего непродолжительного романа с Египтом стало окончательно ясно, что арабские государства, даже самые умеренные, — не партнеры нам по мирному урегулированию европейского толка. Тогда сторонники мира выдвинули новую, палестинскую опцию. Суть ее проста. Европейски-окончательное мирное урегулирование может быть достигнуто только с “арабским народом Палестины”. Только он может превратить войну на истребление в конфликт сосуществующих сторон. Ах, если бы так! К сожалению, на поверку палестинская опция оказывается столь же бесперспективной, как и “межгосударственная”. И дело даже не в экстремистских взглядах тех, кто “палестинцев” представляет — о взглядах спорят! Куда существеннее, что и в этом лагере мы днем с огнем не обнаруживаем противника.

Противник — следует отметить — это не тот, кто в нас стреля-

ет. Это, скорее, тот, кто стреляет оттого, что ему наступили на ногу. Разница простая — в отличие от врага, мириться с которым бесполезно, противник перестает стрелять, когда высвобождает ногу. У него обязательно есть свои дела, занятия и интересы. И, как правило, есть свои планы на будущее. Чтобы уяснить, с чем его едят, настоящего противника, давайте вспомним, как В. И. Ленин определял нацию, вернее, национальную общность.

Не то, чтобы было необходимо, чтобы наш противник обладал одновременно языковой, территориальной, экономической и культурной самобытностью. Проще было бы потребовать от него дворянского происхождения или офицерского чина. Тем не менее, сколь бы либеральное определение мы ни давали нации вообще, от нации-противника естественно требовать, как минимум, национальной самодостаточности — скажем, того, чтобы она была способна продуктивно и самостоятельно существовать в замкнутом пространстве. Попросту говоря, ей должно быть дело до самой себя. Мы полагаем, что хоть одному из четырех ленинских требований такая нация должна отвечать. Палестинские арабы явно ничем таким не обладают. Нас в данном случае несколько не занимает, считают ли они сами себя нацией и что из этого следует. Не все "нации", ежели это всего только группы людей, считающие себя таковыми, способны на автономное бытие. Можно спорить, чего именно им для этого не хватает, но к ближневосточному конфликту этот спор не имеет отношения, так же, как и разногласия на тему о том, сколько десятилетий те или иные арабы проживают в Палестине. Очевидно, что сколько бы они ни проживали, они не создали самосознания, которое бы на этой Палестине замыкалось, а уж тем более — на какой-то ее части. Национальное же своеобразие арабов Западного берега Иордана и сектора Газы — это уже сущий антропологический анекдот. Нет никакого сомнения в том, что зарождению новой полноценной нации могут способствовать события куда меньшего масштаба — например, обвал в горах, намертво отгородивший несколько горных деревень. Однако, любое такое событие, вне зависимости от его масштаба, должно заставить группу функционировать именно как нацию — во всех или хотя бы во многих отношениях, то есть должно заставить ее искать групповую цельность, автономное существование и самобытное совершенство. Ни совместные интересы, ни совместные беды полноценную нацию еще не создают. Появление в Палестине еврейского ишува

не вызвало к жизни арабскую палестинскую нацию ровно в той же степени, в какой палестинские евреи не стали по национальности израильтянами или, соответственно, жители Восточной Германии — гэдзэровцами. К вопросу о мирном урегулировании все это имеет если не прямое, то, во всяком случае, непосредственное отношение. Арабы, населяющие Палестину, имеют только групповые интересы, поэтому заключить с ними европейский, взаимодобный, эгоистический мир нет никакой возможности — они не хотят ничего такого, для чего мы им были бы нужны. Попросту говоря, у нас нет своих Эльзас-Лотарингии — того, из-за чего на самом деле, за вычетом политической демагогии, идет война. Или, иначе говоря, у них самих нет потребности в такой Эльзас-Лотарингии, то есть в своем собственном самодостаточном существовании. Нет того эгоистического национального занятия, ради которого эта Эльзас-Лотарингия только и нужна европейцам. Их интересует не то самостоятельное, направленное на себя и внутрь себя автономное и самодостаточное существование, которое составляет признак несомненной нации, а всего лишь так называемая независимость. Эта их вполне искренняя тяга к независимости суть не более, чем чисто политическое стремление отделаться от государств, с которыми им приходится иметь дело, начиная с Египта и кончая Израилем. На наш скромный взгляд, просидев столько лет в египетских и иорданских лагерях беженцев, ни один беженец не захочет стать египетским или иорданским подданным. Но значит ли это, что он хочет стать гражданином чего-то вроде швейцарского кантона и заниматься скромным национальным строительством? А если он не автономное существование, а всего лишь политическую “независимость” считает единственно подлинной “национальной” задачей, о чем мы можем с ним вести мирные переговоры “по-европейски”, то бишь на основе “национальных” интересов? И мы опять остаемся без подлинного противника, а значит — без партнера по окончательному урегулированию. По этому поводу нам вспомнилась старая присказка, утверждающая, что для того, чтобы воевать, достаточно желания одной стороны, но для того, чтобы заключить мир, их — согласных сторон — должно быть, как минимум, две. Со вздохом приходится добавить — как минимум, две кашерных стороны. И теперь, покончив на этом с вопросом о мирных “опциях”, перейдем, наконец, к актуалиям нашей сегодняшней израильской политики...

(окончание следует)

РУССКИЙ ВОПРОС

Вопрос о роли евреев в русской революции и строительстве советского государства, а в более широком смысле — в русской и советской истории, был и долго еще будет предметом резких споров, несправедливых суждений и предвзятых оценок. Дискуссия эта, как правило, обостряется в период общественных потрясений и крутых поворотов истории, один из которых Россия, по-видимому, переживает в настоящее время. В данной статье мы рассмотрим формы еврейского участия в исторических процессах, происходивших в России, и степень их влияния на эти процессы.

1. Критерии оценки. С тех пор, как сто с лишним лет назад жандармы III отделения обнаружили непропорционально большое число евреев среди арестованных участников революционного движения, не прекращаются попытки уяснить смысл этого явления. Меняются времена, однако общий подход к оценке влияния евреев на исторические процессы в России существенных изменений не претерпевает. Начиная с 80-х годов прошлого века и до 80-х нынешнего, это влияние оценивается — в зависимости от общих идеологических позиций — либо как "пагубное" ("злове-

Борис Орлов

РОССИЯ БЕЗ ЕВРЕЕВ

щее"), либо как "благодарное" (или "вклад"). Те, кто придерживаются отрицательного взгляда на роль евреев в русской истории, склонны подчеркивать корыстные интересы и разрушительные последствия деятельности евреев в любой общественной или государственной сфере. Идеологическая позиция подобных оценок колеблется от национально-патриотической до откровенно антисемитской. Вторая оценка исходит, как правило, из еврейских или дружественных им кругов. Еврейские историки и публицисты в Израиле и в диаспоре склонны оценивать роль евреев как плодотворную (варианты: значительная, большая, выдающаяся). В книгах, статьях и энциклопедиях неизменно подчеркивается "вклад" евреев в русскую и советскую экономику, политику, дипломатию, военное дело, музыку, литературу и т. д. Из этого списка, естественно, выпадает "вклад" в создание карательных органов Советского государства. Этой стороной еврейской деятельности интересуются публицисты первого направления. Тем самым достигается необходимая полнота оценки, хотя и с разных позиций.

Уязвимой стороной указанных оценок является их аморфность, нечеткость определений, отсутствие критериев. Трудно понять, например, в чем заключается "еврейский" вклад Генри Киссенджера в американскую внешнюю политику, Ричарда Пайпса в историографию или Якова Свердлов в становление Советского государства? Что именно еврейского они внесли — каждый в своей области? Возможно, все дело в той интуиции, которая руководила, скажем, Достоевским в его оценке Дизраэли (он же лорд Биконсфильд): "Я готов поверить, что лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем происхождении, когда-то от испанских жидов (наверно, однако, не забыл); но что он "руководил английской консервативной политикой" за последний год о т ч а с т и с точки зрения жида, в этом, по-моему, нельзя сомневаться. "Отчасти-то" уж нельзя не допустить".¹

Возможно те, кто подчеркивает еврейское происхождение таких деятелей, как Леон Блюм, Вальтер Ратенау или Максим Литвинов, и их вклад в проведение внешней политики, руководствуются (подсознательно и из благих побуждений) тем, что эти деятели действовали хоть "отчасти-то с точки зрения жида".

Наиболее распространенным критерием оценки во всех вышеприведенных суждениях служит, как правило, количественная характеристика. В самой простой форме она выражается в спи-

сках имен, составленных на основе национальной принадлежности, или в привлечении статистических данных, цель которых — продемонстрировать степень еврейского участия в том или ином событии. Действительно, списки и проценты позволяют с относительной точностью установить, каково было число евреев и их пропорция по отношению к остальным участникам события. Однако вряд ли таким путем удастся определить формы еврейского участия и степень их влияния на ход событий. Подобный подход, несмотря на его популярность, основан на биологическом (этническом, расовом) признаке. Он не может быть признан удовлетворительным при оценке исторических процессов. Для серьезной оценки еврейского участия в ходе русского исторического процесса можно предложить следующие четкие критерии: во-первых, степень представительства еврейского народа в целом или каких-либо его слоев, групп, классов в индивидуальной или коллективной форме; во-вторых, выдвижение целей, отвечающих потребностям еврейского народа или какой-либо его части, независимо от побуждений или идеологических мотивов тех, кто эти цели выдвигает; наконец, в-третьих (но это уже порождает сомнения или, во всяком случае, требует доказательств): наличие особых, вневременных черт еврейского национального характера, которые налагают свой отпечаток на все те события, где отмечается физическое присутствие евреев. Если удастся доказать, что еврей самым фактом своего присутствия влияет на ход исторического действия, сообщая ему особые черты своего национального характера, данный критерий приобретет реальную значимость.

Вопрос о чертах национального характера, будь он русский или еврейский, слишком сложен и потому выходит за рамки настоящей статьи. Отметим лишь, что даже один чудесный грузин, опубликовавший в 1913 году за подписью "К. Сталин" статью по национальному вопросу, признал сквозь зубы, что если и осталось у евреев, не составляющих, по его мнению, единой нации, нечто общее, "так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера".² В чем они выражаются, упомянутый теоретик разъяснить не пожелал...

Попытки оценить роль евреев в русской революции, исходя из их национального сознания и характера, известны. Этим критерием пользовался, например, русский философ и публицист Г. П. Федотов, которого нельзя упрекнуть не только в антисемитизме, но и просто в отсутствии симпатии к евреям. Отмечая не-

обычайное "духовное сродство" вырвавшегося из гетто еврейства и русской интеллигенции, Федотов пытается определить их общие черты через раскрытие еврейского национального характера: "...еврейство, подобно русской интеллигенции ..., максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями". Занимая в русской революции руководящее место, еврейство, по мнению Федотова, идейно не вносит в нее ничего. "При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток".³

В этой оценке нюансы важнее количественных характеристик.

2. Связь еврейства с русской историей. Из всего многообразия связей, определяющих участие евреев в истории народов, в среде которых они проживали, в отношении русской истории можно с удивлением выбрать лишь одно: участие евреев в русской истории было случайным. Оно не было связано с внутренней, духовной или материальной, историей еврейского народа. Евреев не изгнали с территории, на которой они жили, в Россию. Никто не призвал их переселиться в новые, лучшие, русские края. Они не бежали туда, спасаясь от преследований, их не влекло мессианское провидение, что путь в Иерусалим лежит через Москву. Они просто оказались проживающими на территории, которая вне всякой, хотя бы отдаленной связи с еврейской проблематикой, была оккупирована Российской империей около 200 лет тому назад. С той же степенью случайности эта территория могла быть оккупирована Австрией или Пруссией (что и произошло в действительности со значительной ее частью). Первые годы оккупации не вызвали ни значительных социальных, ни каких-либо духовных сдвигов в национальном бытии еврейства, долгое время не осознававшего, что оно уже стало "русским". Таким образом, случайность была и надолго осталась одним из существеннейших факторов пребывания евреев в России.

Говоря о русско-еврейских отношениях, нередко ссылаются на предшествующие исторические контакты, доводя их до раннего средневековья. В киевских волнениях 1113 года иногда пытаются разглядеть первый еврейский погром и начальные ростки анти-

семитизма. Подобная точка зрения заставляет неизменно преувеличивать значение и роль еврейского элемента в чужой стране и чужой истории. Первый и единственный историк-марксист М. Н. Покровский почувствовал это довольно точно. Действительно, массы громили евреев-ростовщиков, пишет Покровский, однако "...евреи, собственно, только первые под руку попались..."⁴ В целом же волнения носили социальный характер. Способность "первыми под руку попадаться" на крутых поворотах российской истории евреи сохраняют с завидным постоянством, определяя этим, отчасти, свою судьбу и свою роль в России.

Второе замечание, позволяющее лучше уяснить роль евреев в русской истории, сделал "загадочный", по словам Г. Федотова, Лев Тихомиров, редактор "Народной Воли", порвавший с революционным движением и кончивший православием. С эпической простотой рассказывает Тихомиров, как в середине 80-х годов прошлого века, когда он уже отстранился от революции, к нему обратилась народоволка Софья Гинсбург: "Она была родом из Керчи и жидовка. Это была особа весьма неглупая, страстной энергии, тип, способный много сделать... Лично она мне понравилась, и я ей". Попытка Тихомирова убедить Гинсбург в тщетности ее революционных стремлений не удалась. Но любопытнее всего, что Гинсбург, по словам Тихомирова, возмутили "изменнические" предложения польских революционеров оставить русских и войти в их компанию: "Ведь вы не русская, как вы с ними связываетесь?" "Дело в том, — замечает Тихомиров, — что она, хотя родом и еврейка, была вполне русская по желаниям; она, конечно, не имела русских исторических инстинктов, но была вполне человеком русской революционной интеллигенции".⁵ Слова Тихомирова могут стать ключом к пониманию роли евреев в русской истории, а возможно и не только русской.

Чтобы сделать нагляднее мысль о зависимости оценочных суждений от наличия или отсутствия "русских исторических инстинктов", сошлюсь на мироощущение двух революционеров, принадлежавших к одному поколению, А. Зунделевича и О. Любатович. Известно письмо из тюрьмы Аарона Зунделевича, в котором он сообщает, что даже в легальном состоянии он не оставался бы в России ни одного дня. К России, добавляет он, у меня никогда нежных симпатий не было.

У арестованной в это же время Ольги Любатович было совсем

другое чувство. Беседуя в тюрьме с прокурором, она вдруг почувствовала, что у нее есть с тюремщиками нечто общее, и это общее — “горе родины, близкой нам всем. И странное дело, я подметила и в них отзвук неподдельного чувства к народному горю”.⁶ В другом месте Любатович пишет о национальном чувстве и своей связи с Россией еще более ярко. Отмечая события 1878 года, она замечает: “...И с кровью наших солдат, сложивших головы на Балканах, с кровью первых политических казней на юге ...смешалась кровь главы домашних опричников, кровь генерала Мезенцова”.⁷ В этом “кровосмешении” еврею места нет. Оно доступно только русскому пониманию, где свой солдат, и свой революционер, и свой генерал-опричник существуют неслиянно и нераздельно, сама же опричнина перестает быть отвлеченной исторической категорией, чуждой историческому сознанию новопришельца. Она становится вечной страницей русской истории, готовой возобновиться в каждом поколении, где у каждого есть равные шансы стать либо опричником, либо его жертвой. Сомнительно, чтобы еврей, даже самый русский по “желанию”, языку и по мышлению, мог отождествить себя полностью с такой русской историей, включая и ее опричные формы. Именно это мешало и мешает русским евреям принять Россию — как дореволюционную, так и послереволюционную. Это мешает им, в конечном счете, принять и национальный характер России Горбачева, полностью идентифицировав себя с нею.

3. Оценки предреволюционной России. Предреволюционную Россию правильнее было бы называть Россией исторической, не смущаясь тем, что этот термин используют писатели и публицисты того русско-патриотического направления, которое трудно назвать либеральным. Развитие исторической России было непрерывным, органичным, несмотря на постигавшие ее смуты, нашествия и случавшиеся время от времени военные неудачи. Срыв наступил в 1917 году, хотя и тогда существовали альтернативные возможности. Отречение от исторической России было сравнительно недолгим, каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет, то есть не более полупоколения. Затем наступил постепенный, длящийся вот уже полвека, возврат к естественным национальным формам исторического бытия: с опричниной, смутами и военными катастрофами. Процесс этот далек от завершения, к его анализу нам предстоит еще вернуться.

При всем различии оценок предреволюционной России, стоит выделить две точки зрения, характеризующие ее исторический путь. Одна выражена Р. Пайпсом: Россия при старом режиме была на пути к полицейскому государству.⁸ Захват власти большевиками в октябре 1917 года, в конечном счете, лишь реализовал тенденции, существовавшие в стране до революции. Вторая точка зрения сформулирована В. Леонтовичем: несмотря на ретроградные тенденции, Россия шла по пути превращения в правовое либеральное государство.⁹ Подобный взгляд на развитие России в последнее предвоенное десятилетие представляется нам более соответствующим фактам. Взгляд на историческую Россию, как на царство беспросветной реакции, следует уточнить. Необходимо заново оценить степень свободы в предреволюционной России и тенденции ее развития.

Прежде всего, нуждается в пересмотре оценка революции 1905 года, как потерпевшей поражение, с чем согласны историки самых разных направлений. Поражение потерпели экстремистские стремления левого и правого радикализма. События 1905 года были победой эволюционного пути развития России — единственного, способного обеспечить перестройку ее общественного уклада и государственного порядка в либеральном направлении. В этом их непреходящий исторический смысл. Конкретные достижения в экономической, социальной и культурной сферах были поразительны. В политической области, несмотря на консервативное противодействие, сдвиги тоже были несравненно более глубоки, чем это обычно представляется.

Обобщающая характеристика британского историка Т. Самуэли дает достаточно точную картину происшедших в России перемен:

“Мало кто за границей знает о степени свободы в царской России в начале нашего столетия. Цензура была уничтожена и наступила полная свобода печати; даже большевистские издания издавались без ограничения. В России была также полная свобода в отношении выезда за границу, были независимые профсоюзы, независимый суд присяжных и передовая система социального законодательства. Был парламент, Дума, с представителями партий всех оттенков, включая и большевиков. В наше время (написано в 1970 году. — Б. О.) дореволюционную Россию можно рассматривать как модель демократии и, по сравнению со ста два-

дцатью шестью странами-членами ООН, как одну из пятнадцати-двадцати наиболее либеральных стран мира".¹⁰

. В связи с этой характеристикой положение и роль евреев в революционной России рисуется совсем в ином свете. Борьба в России шла не между силами реакции (правительственный лагерь и сотрудничающие с ним группировки) и силами прогресса (революционные партии всех оттенков), а между теми, кто стремился превратить Россию в современное правовое государство, и теми, кто отстаивал — справа и слева — различные формы автократии и диктатуры. П. П. Столыпин, предлагавший расширить права евреев (проект не был утвержден царем) и повысивший в 1909 году норму их приема в средние учебные заведения до 15 процентов в черте, 10 процентов вне черты и 5 процентов в столицах,¹¹ был деятелем несравненно более передовым, чем Ленин. Столыпин верил в возможность постепенного включения евреев в правовое русское общество, не меняя их национальной принадлежности, и действовал в этом направлении. Ленин, напротив, был убежден в постепенном исчезновении евреев как нации, согласно марксистской теории ассимиляции, и стремился установить тоталитарную форму власти. Личные симпатии и антипатии никакой объективной ценности не имеют. Столыпин не был антисемитом, хотя вероятно не испытывал особой симпатии к евреям; Ленин громко выступал против антисемитизма, подчеркивая заслуги своих соратников по борьбе — евреев по происхождению. Однако водораздел борьбы шел в России не по линии "антисемиты—филосемиты". Урок процесса Бейлиса был не в том, что в России был возможен кровавый навет, а в том, что Бейлис, несмотря ни на что, был оправдан. В национальной России Столыпина было место для правовой защиты еврея, в коммунистической России не осталось места для его национального существования вообще.

Смысл еврейского участия в русской истории заключался не в наполнении рядов революционных партий, а в отстаивании своих еврейских целей в общем движении исторической России по пути превращения ее в правовое либеральное государство. И евреи участвовали в этом движении, сотрудничая в своих политических, культурных, религиозных объединениях и организациях; выступая в качестве еврейских депутатов в Государственной Думе; разворачивая огромную интеллектуальную, историческую, литературную деятельность на всех языках — иврите, идише, русском. Самим фактом борьбы за национальное равноправие и полнопра-

вие, то есть равноправие плюс права национального меньшинства, русское еврейство содействовало ускорению процесса преобразования России в правовое государство. Путь этот был оборван с началом Первой мировой войны.

Можно ли было его вообще реализовать? По-видимому, можно, несмотря на противодействие отрицательных факторов. Первым из этих факторов была сила национально-консервативного сопротивления любым формам либерализма, нашедшая самое яркое выражение в Черной сотне.

4. Черносотенная основа революции. Явление, получившее название Черной сотни (черносотенства), изучено недостаточно*. Появление и политическое оформление Черной сотни принято обычно относить к осени 1905 года. Его рассматривают, как реакцию определенных слоев населения на уступки, сделанные авторитарной властью революции. В историографии Черную сотню традиционно отождествляют, главным образом, с отсталыми или даже деклассированными элементами города, а поле ее социальной деятельности сужают до еврейских погромов и убийств революционеров (Н. Бауман) или деятелей либерального направления (Г. Б. Иоллос, М. Я. Герценштейн, А. Л. Караваев). Факты эти несомненно имели место. Однако черносотенство было явлением несравненно более широкого общественного и национального плана, чем просто выступлением охотничьих купцов и одесских грузчиков. Попытки определить черносотенство делались довольно давно. Вот одно из таких определений, сделанное во семьдесят лет назад:

“**Ч е р н а я с о т н я** — ходячее название, которое в последние годы стало применяться к подонкам населения, склонным к еврейским погромам и избиениям интеллигенции; потом этот термин стали применять и к тем лицам из интеллигенции и бюрократии, которые организуют или поощряют подобные эксцессы. Черносотенец всегда мнит или называет себя патриотом, выступает как консерватор, сторонник неограниченной верховной власти, ненавистник евреев, армян, поляков и других инородцев”¹².

* Здесь и далее термин черносотенство употребляется в прямом историческом смысле, без сопровождающего его обычно отрицательного эмоционального оттенка.

Несмотря на некую ограниченность кругозора — “подонки населения”, “эксцессы” — авторы определения верно нащупали характерные черты явления. Их следует развить и разъяснить применительно к нашему времени и к нашей теме.

Термин “черная сотня” исконно русский, корни его восходят к XIV—XV векам и связаны с терминами “сотня или сто” — древнерусскими сословными единицами, на которые делилось городское население. Черные сотни и слободы объединяли торговое и промышленное посадское население Москвы, в отличие от гостинной и суконной сотен городского купечества. Население, объединенное в черную сотню, занимало определенную улицу (Мясницкую, Сretenку и т. д.) и составляло особую местную корпорацию. Корпоративный дух с элементами контролируемого народоправства и сильнейший локальный патриотизм — неотъемлемые черты черносотенства.

Политическое объединение Черной сотни — Союз Русского народа — возникло в эпоху тяжелой национальной травмы, вызванной поражением России в русско-японской войне. Поражения случались и раньше, — например, в Крымской войне, однако потерпеть поражение от представителей желтой расы (“азиатцев”, пользуясь исторической терминологией С. М. Соловьева) было нестерпимо унижительно и обидно. К примеру, катастрофа 1941 года никогда не воспринималась как национальное унижение. К германцам русский народ всегда относился с уважением. Не то — японцы. Их победа была ударом по национальному самолюбию. Вождь русских черносотенцев выразил это с откровенной прямотой в “Обращении к народу” 2 сентября 1945 года:

“...Поражение русских войск в 1904 году ... оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил”.¹³

В этих словах непрерывность русской истории поддерживается неутолимым патриотизмом, граничащим где-то с кровной мстостью. Патриотическое чувство черносотенцев всегда доведено до крайности и болезненно обострено. Их раздражает все чужое, инородческое, не укладывающееся в устоявшиеся бытовые, культурные, политические рамки. В 1905 году Черная сотня устраивает еврейские погромы, во Владивостоке же, за неимением евреев, изби-

вае китайцев и корейцев, а в Москве студентов-интеллигентов. В Нижнем-Новгороде портовые рабочие-“крючники” бьют и убивают демонстрантов, у которых вместо национального флага был красный, в Балашове (Саратовской губернии) толпа собиралась расправиться с земской интеллигенцией и была остановлена лишь личным вмешательством губернатора — Столыпина. Здесь и определил Столыпин, что этой, черносотенной толпой руководило “несомненно оскорбленное, хотя и дико патриотическое чувство”.¹⁴

Под это точное определение несомненно подходят члены сегоднешнего патриотического общества “Память”.

Черносотенный патриотизм размывает идеологические различия. Патриоты Единой неделимой России генералы Алексеев и Корнилов и адмирал Колчак посетили в апреле 1917 года вернувшегося из эмиграции марксиста Плеханова. А когда он умер в конце мая 1918 года, черносотенец Пуришкевич возложил на его гроб венок с надписью: “Политическому врагу, великому русскому патриоту Георгию Валентиновичу Плеханову”.¹⁵

Ненависть к иноплеменникам, которые полупрезрительно именуются инородцами, — важная черта идеологии черносотенства. Однако одной ненависти недостаточно. Господствующее чувство должно быть позитивным, возвышающим. Поэтому руководитель Союза русского народа на Волыни, архимандрит Виталий, воодушевлял толпы народа, шедшие за ним, не лозунгом: “Бей жидов” — а: “Русь идет!”¹⁶ Популярность его среди крестьян была огромна. Под верноподданным адресом крестьян Волыни царю он собрал один миллион подписей.

И это возвращает нас к существенному вопросу о размахе черносотенного движения и черносотенной идеологии. Оно не ограничивалось темной и малообразованной обочиной русского общества. “Не черная сотня, а черные миллионы”, — восклицал в “Новом времени” журналист А. А. Столыпин, брат Председателя Совета Министров России. Черносотенство было мировоззрением, умонастроением широчайших слоев населения. Его нравственные токи проникали в души простые и интеллигентные, а его лексика использовалась людьми, формально далекими от принадлежности к черносотенному лагерю.

Лексический багаж черносотенства еще ждет своего исследователя. Ограничусь несколькими примерами, которые буквально поражают своими незаимствованными совпадениями. В телеграм-

ме из Астрахани Тиханович-Савицкий протестует против глумления в местной печати "над нашим флагом", покрывшим шестую часть света".¹⁷ * Не здесь ли корни советского штампа о СССР, занявшем шестую часть земного шара? В 1909 году историк В. О. Ключевский замечает в дневнике: "...Обрусевшие инородцы с их своеобразным патриотизмом и взглядом на новое, неродное отечество".¹⁸ Ленин несомненно не был знаком с этой записью, когда в декабре 1922 года продиктовал: "Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения..."¹⁹ Ленин просто сохранил словарный запас начала века и общераспространенные представления о том, что чувствуют обрусевшие инородцы по отношению к России.

В 1909 году в литературном журнале "Весы" поэт Андрей Белый обрушился на "засилье" нерусских элементов в литературе и художественной критике: "Главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди... Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек... Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш ...Вы посмотрите на списки сотрудников газет и журналов в России: кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите сплошь имена евреев, пишущих на жаргоне эсперанто и терроризирующих всякую попытку углубить и обогатить русский язык".²⁰

Откуда бы знать Виктору Астафьеву о литературно-патриотических заботах Андрея Белого в начале нашего века. Однако в письме Н. Я. Эйдельману, говоря о русском национальном возрождении, он отстаивает право "...писать на родном языке, а не на вязыанном нам "эсперанто", "тонко" названным "литературным языком". К тому же следует, согласно Астафьеву, иметь своих русских пушкиноведов и специалистов по Достоевскому, а заодно прибрать к рукам энциклопедии "и всякого рода редакции, театры, кино..."²¹ Желание законное и отвечающее духу национального возрождения.

Несомненно Астафьевым руководит то же "оскорбленное, хотя и дико патриотическое чувство", которое не удастся успокоить без малого сто лет.

Можно, наконец, отметить еще одну жемчужину черносотенной

* Здесь и далее подчеркнуто мною. — Б. О.

лексики, пока еще не нашедшую места в современной стилистике. В резолюции "Секции по борьбе с жидовским засильем" Нижегородского съезда черносотенных деятелей, наряду с предложениями пересмотреть государственные законы о жидовстве и представить правительству солидный научный доклад об этом предмете, содержалась рекомендация: "Организовать краткосрочные курсы для изучения талмудического жидовства (ж и д о - в е д е н и е)".²²

Черносотенное движение по составу и устремлениям было одним из самых демократических движений дореволюционной России. На черносотенный демократизм обратил внимание Ленин, отметивший в "нашем (! — Б. О.) черносотенстве" чрезвычайно важную и оригинальную его черту: "Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий".²³ Мысль о глубинном черносотенном демократизме, о пользе его для революции, поскольку "черносотенцы поднимали и вызывали к политической жизни обширные, наиболее отсталые слои крестьянства", не оставляла Ленина и после революции. Это естественно. Черные миллионы, пробужденные к политической жизни черносотенством, не исчезли после захвата власти большевиками и закрытия "Союза русского народа". Они продолжали жить и действовать в революционной России: в составе Красной Армии (77 процентов крестьян в конце гражданской войны), в среде советского чиновничества (российский аппарат "заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром" /Ленин/), в составе самой большевистской партии и ее руководящего слоя. По аналогии с Россией Ленин в 1920 году усмотрел и в Германии возможность "блока черносотенцев с большевиками", так как и там "появился странный тип черносотенца-революционера".²⁴

Тип этот не был столь уж странным. Задолго до революции сам Ленин в силу его социальной ориентации, приемов борьбы и методов агитации именовался социал-демократами меньшевиками не иначе, как черносотенцем.²⁵

Черносотенный глубинный характер большевистской революции не был скрыт для современников внешней революционно-интернациональной фразой.

Смену черносотенства политически черного оттенка черносотенством политически-красным отмечал в 1918 году С. Л. Франк.²⁶ К этой мысли возвращался пятнадцать лет спустя

Г. П. Федотов, когда писал о “черносотенном” стиле народной большевистской революции как расплате за деспотизм древней Москвы.²⁷ Уточняя эту идею, он связал ее с предшествующим историческим развитием России: “Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная”. Сожалея о недооценке в свое время этого политического образования (Черной сотни), Федотов заключает: “Есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции, и что, пожалуй, оно переживет нас всех”.²⁸

И действительно, черносотенные силы и идеи дожили, по крайней мере, до этапа перестройки. Они давно уже получили в советской России все права гражданства. На колоссальной массовой черносотенной базе выросло все поколение руководителей современной России — поколение Горбачевых, Лигачевых, Зайковых, Рыжковых, Слюньковых, Язовых и т. д. Оно вышло из недр русского народа, русского крестьянства, впитав и сохранив все его чувства, настроения и предрассудки. Оно строит свою национальную Россию, нравится это обрусевшим инородцам или нет. Во всяком случае, не им упрекать русский народ в выборе своего пути, своего руководства и своих форм государственного строительства.

5. Евреи и революция. Миф об активном участии евреев в революции чрезвычайно популярен. Под активностью понимается участие в выборных органах, вхождение в состав руководства политических партий, склонность к разрушению национальных форм бытия исторической России и замена их чуждыми, интернациональными. Все это подкрепляется списками имен, процентами и фамилиями революционных деятелей еврейского происхождения, с добавлением в скобках уличающих оригинальных еврейских фамилий.

С точки зрения выдвинутых нами критериев, участие евреев в революции представляется несколько иначе. Первая мировая война, как и всякий военный кризис, обострила национальную чувствительность, больно задела русский патриотизм и сгустила черносотенную атмосферу. Только по странной аберрации исторического зрения революция могла рисоваться евреям выходом из сложившейся тяжелой ситуации, способным решить еврейскую проблему. В России назревала революция национальная, а не интернациональная, но евреи — без различия убеждений — проявля-

ли полную нечувствительность к тому, что может быть названо биением пульса национальной жизни. В подобной ситуации оказались после первой мировой войны евреи в Веймарской республике. Тяжелейшая национальная травма немецкого народа, породившая национал-социалистскую реакцию, не воспринималась ими как своя. И уж тем более не ощущалась, как преддверие катастрофы.

События в России интерпретировались русскими евреями в полном разладе с исторической действительностью. Известный русский историк М. Ростовцев говорил своему приятелю еврею в годы первой мировой войны: "Евреи меня удивляют. Они умный народ, но не имеют понятия о том, как мы о них говорим между собой. Они абсолютно не знают, что окружающие их народы чувствуют по отношению к ним. Во всяком случае, я бы тебе советовал жить в Петрограде... в провинции нет уверенности, что еврей останется живым".²⁹

Эйфория февральских дней окончательно дезориентировала евреев. 20 марта 1917 года Временное правительство подписало Постановление об отмене вероисповедных и национальных ограничений. Достижение гражданского равноправия в рамках всеобщей отмены национальных и религиозных ограничений было не только успехом, но и лучшей формой участия евреев в революции. Но изменил ли формально-правовой акт реальную ситуацию в стране, где всякие правовые нормы стремительно теряли какую-либо силу?

Либеральный период революции быстро сменился революционно-черносотенной анархией, создававшей удобную почву для радикальной демагогии. На фронте даже летом 1917 года революционные солдаты убивали евреев по подозрению в шпионаже и сигнализации врагу. Убийства офицеров и комиссаров Временного правительства (Линде), аграрные волнения в знакомой черносотенно-погромной форме довершали картину. Найти свое место в разгуле народной стихии было для русских евреев делом безнадежным.

Мудрые слова М. Винавера, призывавшего еврейство к сдержанности: "Не надо нам соваться на почетные и видные места"³⁰ — вряд ли могли быть осуществлены. Да и таких голосов было мало.

К массовому появлению евреев в это время на почетных и видных местах стоит присмотреться внимательнее. Частично оно от-

ражало общее неразборчивое воодушевление российского обывателя первых дней революции. Не следует, впрочем, думать, что председатель Московской городской думы Минор, Петроградский городской голова Шрейдер, председатель городской думы Саратова бундист Чертков или товарищ городского головы Киева Гинзбург-Наумов представляли еврейские интересы в революции или, по крайней мере, смягчили антисемитские настроения этих русских и украинских избирателей. Избрание Минора сопровождалось негодованием многих, что дума "сердца России" возглавлена евреем.

Включение евреев в состав массовых организаций, созданных революцией (например, солдатские комитеты), было определено случайной, можно сказать — технической причиной: евреи были грамотны. Солдаты посылали в комитеты и советы тех людей, кто не был, с их точки зрения, скомпрометирован связью со старым режимом, то есть не был офицером, и в то же время мог что-то сказать или написать. Евреи удовлетворяли этим критериям. Грамотный человек и не офицер был редкостью. Понятно, почему большое количество евреев оказалось в солдатских и разного рода армейских советах. Из всей интеллигенции именно еврей-интеллигенты были к моменту революции солдатами. В офицеры их не производили. Представителями солдат Петроградского гарнизона в Совет Рабочих и Солдатских депутатов были выбраны некие Завадьа и Бинасик, служившие писарями в запасных батальонах и никогда раньше не интересовавшиеся ни войной, ни армией, ни политикой.³¹ Иногда дело доходило до курьезов. Представителем донских казаков в солдатском комитете одного Совдепа был еврей-виолончелист, служивший раньше в музыкальной команде Преображенского полка.³²

По одному верному наблюдению сложилось положение, при котором "армия в своих выборных органах имеет процентов сорок евреев на самых ответственных местах и в то же время остается пропитанной самым внутренним, "заумным" антисемитизмом и устраивает погромы".³³

Любопытно, что за все время существования Временного правительства в его составе не было министров-евреев, хотя предложения делались Брамсону, Винаверу, Дану, Либеру. Г. Аронсон считает, что все эти лица отклонили почетное предложение, полагая, что евреям не следует становиться министрами.³⁴ Абрам Гоц был более определен. Отклонив предложение занять пост министра

внутренних дел, он, по словам В. Чернова, сослался "на свое еврейство, способное стать ему поперек дороги и будить расовые страсти".³⁵ По этой же причине и Троцкий после большевистского переворота отклонил предложение Ленина стать народным комиссаром внутренних дел. Говорят, что он был поддержан Свердловым. Внутренний голос подсказал этим интернационалистам, что лучше выступать с пламенными речами, чем становиться специалистом по мокрым делам.

Ни до, ни после Октябрьской революции евреи на руководящих постах советского государства еврейский народ не представляли. Троцкого, Свердлова или Зиновьева можно с тем же основанием считать представителями еврейства, с каким занимавшегося "русским рукоприкладством" на Кавказе Орджоникидзе или отличавшегося "своим истинно русским настроением" (выражения Ленина) Дзержинского можно причислить к выразителям интересов грузинского или польского народов. Еврейское влияние на революцию в космополитическом (интернационалистском) руководстве большевистской партии и советского государства не было ни пагубным, ни благотворным. Оно было никаким.

Евреям, равно как и их коллегам из обрусевших инородцев иного происхождения, слишком часто выпадала незавидная роль "истинно русского человека, великороса, шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ".³⁶ Об этом можно сожалеть, это можно порицать. Но эмоциональные оценки имеют мало общего с историческим анализом.

Инородческий элемент на поверхности событий русской революции — грузины, поляки, евреи, латыши, литовцы и прочие — был несоразмерно их численности велик и отталкивал русскую массу. Русскую, национально-черносотенную революцию они приняли за свою. Умеренный социалист Станкевич брезгливо назвал их "нездоровой пеной русской общественности, поднятой гребнем народного движения затем, чтобы раз навсегда быть выброшенной из недр русской жизни".³⁷ Задача оказалась по плечу только советскому государству, но исполнение затянулось до наших дней.

6. Периоды русской революции и еврейство России. Первый период русской революции по внешним формам своего выражения может быть определен как интернациональный. Он породил наибольшее число иллюзий и вызывает наибольшее число нареканий. Подспудная, глубинная черносотенная стихия трансформиро-

валась в национально-советскую в то время, когда на поверхности шла "борьба за власть" (любимая тема западной историографии), раздавались призывы к мировой революции и обсуждалась проблема, можно или нельзя строить социализм в одной стране. Именно последнее представляется иногда в качестве начала "национализации" советского режима и его идеологии, поворота, проделанного русским националистом Сталиным против интернациональных устремлений Ленина.

Даже по формальным признакам это не так. Черносотенное начало революции прорывалось вспышками национального энтузиазма уже во время советско-польской войны 1920 года, когда Ленин, устыдившись патриотического тона советских газет, просил в письме в секретариат ЦК "...не пересаливать, то есть не впадать в шовинизм". Троцкий в это же время приказал приостановить издание журнала "Военное дело" за публикацию шовинистической статьи, где говорилось о "природном иезуитстве ляхов", которое противопоставлялось "честному и открытому духу великорусского племени".³⁸ Автором статьи был бывший полковник Генерального штаба царской армии, будущий сталинский маршал и начальник Генерального штаба Красной Армии Б. М. Шапошников. Живые традиции черносотенства и их конкретные носители явились базой "животворного советского патриотизма", расцветшего позже, в годы Великой Отечественной войны.

Другой основой была русская крестьянская стихия, уверенно одолевавшая непрочную интернациональную поросль советского государства. Через бесчисленные ликбезы, рабфаки, особые факультеты, командирские курсы и промышленные академии прорывалось к жизни и руководству поколение хрущевых, носителей духа Калиновки. А впереди маячило еще более далекое от первообраза революции поколение брежневых и горбачевых. "Русь идет!" — следовало бы воскликнуть вслед за прозорливым монахом Почаевской лавры, а не напевать малопонятные слова Интернационала, пока не заменил их Великий вождь доступным каждому текстом про Великую Русь, сплотившую кого-то вокруг себя.

Только по полному недоразумению можно было считать, что прогресс советского еврейства, как национальности, достиг в середине 1930-х годов своего зенита.³⁹ Обычно за этим следует завораживающий список лауреатов музыкальных конкурсов, чье несомненно еврейское происхождение доказывается именами и фамилиями. В действительности, к этому времени еврейство,

как национальность, переживало величайшую трагедию денационализации, от которой не спасали ни остатки агонизировавшей культуры на идише, ни блестящий еврейский театр, ни потемкинские деревни Биробиджана.

К 1930 году после самоликвидации Бунда (1921), роспуска партии (левой) Поалей-Цион (1928), разгрома сионистского движения и ликвидации последних сельскохозяйственных поселений Хе-халуц (май 1928), отъезда театра Хабима (1926), прекращения изданий "Еврейская летопись" и "Еврейский вестник" (1926–1928), выхода последнего тома основанного Дубновым в 1908 году журнала "Еврейская старина" (1930), закрытия Еврейского Историко-этнографического общества (1929) и ликвидации его музея (1930), закрытия последнего, Ленинградского отделения Еврейского комитета помощи жертвам войны (ЕКОПО, январь 1930) и, наконец, закрытия в январе 1930 года Еврейского бюро (так с 1926 года называлась Евсекция) — русское еврейство утратило все формы своего самовыражения, включая коммунистические.

Этот список далеко не полон и не может быть восполнен никакими восторгами по поводу успеха еврейских скрипачей и шахматистов.

Слабым утешением служит сознание, что евреи были не одиноки в том потоке руссификации и подавлении всех форм независимого национального самовыражения, что охватил страну с начала 30-х годов. Это был конец интернационального периода русской революции. Созданное революцией Советское государство вступило в новую фазу: оно последовательно трансформировалось в государство национально-русское с имперско-патриотической идеологией, чуждой еврейству, но оставлявшей место для роста национальной, партийно-советской администрации колониальных окраин России.

Процесс возвращения к русским национальным традициям и историческим формам устройства государства прослеживается достаточно четко с начала 1930-х годов. Он шел параллельно с ликвидацией тех форм общественного устройства и государственного управления, которые были созданы в годы революции и ее напоминали.

Лишь в плане беглого, ограниченного иллюстративной задачей перечисления, укажем на следующие факты и явления: введение в декабре 1932 года паспортного режима с обязательным, впервые

после революции указанием национальности; прекращение борьбы с великорусским шовинизмом, как уклоном в национальном вопросе; прекращение упоминания мировой революции; ликвидация Реввоенсовета, упразднение ВЦИК и СТО — органов, созданных в революционные годы; утверждение понятий советский патриотизм и советская родина; замена в армии революционно-интернациональной пропаганды имперско-русской; появление имен русских князей, царей и полководцев как лучших выразителей патриотического духа возрождающейся национальной России; восстановление генеральских званий, погон и других знаков отличия; замена в годы войны Интернационала новым гимном, выражающим русскую идею; восстановление патриархии; роспуск Коминтерна; замена Совнаркома Советом министров, возврат к бюрократической лексике исторической России; введение формы для дипломатов, железнодорожных служащих, учащихся и т. д.; учреждение орденов, носящих имена царских полководцев и русских исторических деятелей; замена названия Красная Армия на Вооруженные силы Советского Союза; устранение слова "большевистская" из названия партии, так как это понятие "выражает лишь давно уже потерявший значение исторический факт".⁴⁰

Эта, далеко не полная, картина восстановления национальной России свидетельствует о постепенном изживании революции. Она действительно становится теряющим свое значение историческим фактом. И только эпоха гласности позволила историку Ю. Афанасьеву изумленно воскликнуть: "У нас на какое-то время выпало из мыслительного нашего кругозора одно из слов: о государстве мы помнили, о революции забывали".⁴¹

Россия начала процесс национального возрождения в годы террора, кровавого экспериментаторства коллективизации, утверждения тех форм общественного хозяйства, которые с неизбежностью привели страну к застою во всех сферах жизни. Одним из следствий террора была чистка советского аппарата и его кадров от инородческого элемента. Из партийно-советского аппарата, дипломатического корпуса, командования Красной Армии исчезли поляки, латыши, литовцы, венгры, евреи, эстонцы, немцы — все те интернациональные элементы, которые так мозолили глаза русскому человеку на первом этапе революции.

Нет сомнения, что в ходе террора погибли миллионы русских, возможно, что в процентном отношении их было больше, чем

обрусевших или сохранивших свой национальный колорит инородцев. Однако на смену им из неисчерпаемого резервуара национальной России всегда приходили и заполняли места погибших новые русские люди или руссифицированные украинцы и белорусы.

Интернациональные кадры не были восполнены никогда. "Нездоровая пена русской общественности", по слову Станкевича, была раз и навсегда слита с поверхности русской жизни. Эпоха Горбачева в сущности этой проблемы уже не знает. Современное кремлевское руководство радуется своей почти полной национальной однородностью. С точки зрения исторического развития России борьба Горбачева—Лигачева, этот "спор славян между собою", может интересовать лишь определенную группу советологов. Независимо от исхода борьбы, русский народ может быть уверен, что общее движение русской истории больше не сделает интернационального зигзага.

Будет ли будущая Россия либеральной или вернется к своему историческому прототипу, — "Российская Империя была самой демократической монархией в мире" (А. Мейендорф), — про то ведает сам русский народ. И никто не вправе ему указывать, какую именно форму национального существования он изберет. Найти в этом процессе свое место русскому еврейству не представляется возможным.

Примечания

1. Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. СПб, т. 21, стр. 86.
2. И. В. Сталин. Сочинения. М., Госполитиздат, 1946, т. 2, стр. 297, 299—300.
3. Г. П. Федотов. Новый град. Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1952, стр. 50.
4. М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов. Выпуск 1, М.-Л., Соцгиз, 1933, стр. 16—17.
5. Воспоминания Льва Тихомирова. М.-Л., Центрархив, 1927, стр. 320.
6. О. Любатович. Далекие и недавние. "Былое", 1906, № 6, стр. 149.
7. Там же, № 5, стр. 210.
8. Р. Пайпс. Россия при старом режиме. Кембридж, Масс., 1980. © 1974.
9. В. Леонтович. История либерализма в России. Париж, 1980. © 1957.
10. Т. Самуэли. Послесловие к книге "Half Marx" by Tufton Beamish, L., 1970. Цит. "Русская мысль", 6 сентября 1973 г.
11. См. "Книга о русском еврействе", Сб. статей, Нью Йорк, 1960, стр. 149.
12. Энциклопедический словарь Брокгауз-Эфрон. СПб, 1907, доп. том 4/д, с. 869.

13. И. В. Сталин. *О Великой отечественной войне Советского Союза*. М., Огиз, 1946, стр. 182.

14. С. С. Ольденбург. *Царствование императора Николая II*. Мюнхен, 1949; Вашингтон, 1981, стр. 289.

15. Д. Шуб. *Политические деятели России*. Нью-Йорк, 1969, стр. 248, 264.

16. В. В. Шульгин. *Дни Ленинград, Прибой*, 1927, стр. 204.

17. "Союз Русского народа". Составил А. Черновский. М.-Л., 1929, стр. 304.

18. В. О. Ключевский. *Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. М., Наука, 1968, стр. 314.

19. В. И. Ленин, ПСС, 5-е изд., т. 45, стр. 358.

20. См. С. С. Ольденбург, ук. соч., стр. 452–453.

21. См. "Бюллетень", июнь 1987, № 5, стр. 36.

22. "Союз Русского народа", стр. 348.

23. В. И. Ленин. ПСС, 5-е изд., т. 24, стр. 18.

24. В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., т. XXV, стр. 378.

25. В письме к Ю. Мартову в 1920 году П. Б. Аксельрод писал: "Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал десять лет тому назад, то есть в 1910 году, ленинскую компанию прямо как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии". См. Д. Шуб, ук. соч., стр. 285.

26. С. Л. Франк. *De Profundis*. "Из глубины", Париж, 1967, стр. 323.

27. Г. П. Федотов. *Тяжба о России (статьи 1933–1936 гг.)*. Париж, 1982, с. 62.

28. Г. П. Федотов. *Россия и свобода*. "Новый град", 1952, стр. 161, 164.

29. Приведено Бенционом Динуром в книге "Помни". Цит. по Элизевр Ливне. *Судьба и назначение Израиля*. Б. г. издания.

30. Книга о русском еврействе. 1917–1967. Нью-Йорк, 1968, стр. 7.

31. В. Станкевич. *Воспоминания, 1914–1919*. Берлин, 1920. Цит. по Д. Анин. *Революция 1917 года глазами ее руководителей*. Рим, 1971, стр. 194.

32. В. Шкловский. *Сентиментальное путешествие. Воспоминания, 1917–1922*. Москва–Берлин, Геликон, 1923, стр. 30.

33. Там же, стр. 93–94.

34. См. Книга о русском еврействе, Нью-Йорк, 1960, стр. 398.

35. В. М. Чернов. *Перед бурей*. Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1953, стр. 315.

36. В. И. Ленин. ПСС, 5-е изд., т. 45, стр. 357.

37. В. Станкевич, ук. соч., цит. Д. Анин, стр. 194.

38. В. И. Ленин. ПСС, 5-е изд., т. 51, стр. 193. Л. Д. Троцкий. *Как вооружалась революция*. М., 1924, т. II, кн. 2, стр. 153.

39. *Евреи в Советской России (1917–1967)*. Иерусалим, Алия, 1975, стр. 9.

40. Из резолюции XIX съезда КПСС "Об изменении названия партии" (принята 13 октября 1952 г.). КПСС в резолюциях и решениях съездов, Госполитиздат, изд. 7-е, 1953, часть II, стр. 1121.

41. "Советская культура", 21 марта 1987 г., № 35, стр. 3.

Борис Орлов — историк, доктор наук, научный сотрудник Тель-Авивского университета, автор многих статей в зарубежной русскоязычной прессе.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Зеев Бар-Сепла

"ТИХИЙ ДОН" ПРОТИВ ШОЛОХОВА

(Текстология преступления)

В этом году можно было отпраздновать один необычный юбилей — 60-летие романа. Да, ровно шестьдесят лет назад в 1928 году читатели журнала "Октябрь" впервые смогли прочесть то, что теперь мы знаем как первую и вторую книги романа "Тихий Дон". Однако, светлую радость нам поспешили отравить: в 1974 году некто "Д.", по заверениям А. Солженицына уже покойный, восстал и сказал — то, что мы знаем, как роман "Тихий Дон", не есть "Тихий Дон"!

Проблема, поставленная романом и "Д." — проблема сложная. Вопрос номер один — автор.

Есть, правда, кандидат, но — Шолохов. Мыслимое ли дело: русский писатель-классик с незаконченным четырехклассным образованием (ну, еще два месяца — курсы для проинспекторов)?! Вся биография: не имел, не был, не участвовал... А потом садится, на голове папаха, и в сарае пишет роман века. Сам, кстати, немолод — девятнадцать лет.

Спрашивают его читатели: откуда, Миша, что берется, ну, там, знание быта, войны, революции, гражданской войны, конного строя, общинного землепользования?.. А он стоит и пальцем в землю тычет. Тут его братан двоюродный (К. Шолохов) в газету пишет: так, мол,

и так — черноземный, наш Миша, талантище. Оттуда все и берется. Или вот, решил Миша все как есть узнать. И пошел Миша в архив Войска Донского, что в музее в Новочеркасске. И за несколько дней всю гражданскую войну в тонкости превзошел (И. И. Ногин, сотрудник музея) .

А тут еще пристают: покажи, Миша, как романы пишут. Мы тоже хотим. Ну, покажи рукопись какую-никакую... (комиссия писателей под председательством А. Н. Толстого) . Молчит Миша, стесняется да щурится. Щурится да щерится. Надоели, сил нет.

Ну, тут, конечно, пустили слухи. Слухи, слухи... Украл, убил и украл, в доверие втерся и украл. Покажи рукописи, Миша!..

А нету их. Немцы прилетели, по рукописям, мать их, аккуратисты, урок прицельного бомбометания... И нету. Зола и пепел. Нет улик. (И. Араличев, журнал "Вымпел", 1947.)

Нет, улик, значит, — невиновен. Любое сомнение в пользу обвиняемого. Безнаказанность? А ты докажи!!!

И тогда — отчаяние и легенда.

Есть рукопись, была, одна женщина привозила, видели ее (рукопись, женщину?). Александр Трифонович в руках держал, потом послал в ЦК, и заместитель его — покойный Марьямов, или другой, но непременно покойный... (рассказывает А. Якушев, философ) . Один писатель перед смертью признался: "Фанерный чемоданчик, а в нем рукопись... А когда прочел "Тихий Дон", сразу вспомнил, понял..." (писатель И. Днепровский по воспоминаниям А. Гербурт-Йогансен) . Умер, умер писатель. Нет чемодана, нет следов. Ничего. Только шолоховская ухмылка: "Что, взял! Накося-выкуси!"

Есть еще способ уличить преступника — найти владельца, чтобы тот украденное опознал. Но и тут плохо дело. Если и был такой, то искать его надо на том свете. Нет его среди живых, если он за шестьдесят лет голоса не подал. И имя такое называют, теперь, пожалуй, чаще, чем имя Шолохова. Крюков это, Федор Дмитриевич, в марте 1920 скончавшийся от тифа. Чего проще — читай Крюкова, сравнивай и уличай.

Прочли, сравнили... Крюков — писатель неплохой, не хуже Чирикова и написал много, и публиковался часто, и откликался на события... А "Тихий Дон" написан гениальным писателем, никак по таланту не ниже Платонова. А раз Чириков не Платонов, то и Крюкову "Тихий Дон" написать было не под силу. Да и не похоже...

Все другое, одно общее — про казаков. Но, ведь, и про казаков не всякий роман — “Тихий Дон”.

Так, значит, Шолохов? Нет, не значит. “Ревизора”, например, написал не Пушкин. Но, ведь, и не Загоскин же!

Что же у нас есть, кроме Шолохова и Крюкова? У нас есть текст романа. И так судьба сложилась, что в любом споре текст романа — это и вещественное доказательство, и свидетель, и прокурор.

Весной 1982 года мы — Майя Каганская и вышеподписавшийся — начали судебный процесс: “Тихий Дон” против Шолохова, М. А. Шесть лет мы собирали улики, копили доказательства, опрашивали свидетелей. Результатом этого стала книга — “Текстология преступления”. Некоторые отрывки из первой части предлагаются вашему вниманию.

Р. С. В первой части нашей книги еще не идет речь об истинном Авторе романа, а только доказывается, что Автора следует искать. Поэтому сообщаем: истинный автор романа “Тихий Дон” нами установлен. Вот некоторые сведения о нем: донской казак по происхождению, учился в Московском Императорском университете, автор двух (кроме “Тихого Дона”) книг, расстрелян красными в январе 1920 года в городе Ростове-на-Дону. В момент гибели ему еще не исполнилось тридцати лет.

Черновики “Тихого Дона”. Назвав роман гениальным, а автора его — гением, можно было сослаться на мнение многих и достойных литераторов. Мы решили, однако, не требовать от читателя излишней доверчивости и, хотя бы в этом вопросе, отдать ему право собственного суждения. Тем более, что читателям в этом деле предоставлена роль присяжных. Вот — несколько иллюстраций (все цитаты по первой публикации 1928 года) :

“Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки. Он поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора.

Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой перекастистый гул.

— Стреляют! — почти крикнул Прохор.

Страх налил мутью его телячьи глаза. Григорий поднял голову: перед ним двигалась в такт с конской спиной серая шинель взводного урядника, сбоку млело поле с нескошенными делянами жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба. Сотня оживилась, густой оружейный стон прошел по ней электрическим током.

В головной колонне наяривали похабную песню; толстозадый, похожий на бабу солдат шел сбочь колонны, щелкая ладонями по куцым голе-

нищам. Офицеры посмеивались. Острый душок недалекой опасности сближал их с солдатами, делал снисходительней” (кн. 1, ч. 3, гл. 5).

“В это время казаки, изломав ряды, надвинулись ближе к трупам, снимая фуражки, рассматривая убитых с тем чувством скрытого трепетного страха и звериного любопытства, которое испытывает всякий живой к тайне мертвого. Все убитые были офицеры. Казаки насчитали их сорок семь человек. Из них большинство была молодежь, судя по виду, — в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет, лишь крайний справа, с погонями штабс-капитана, был пожилой. Над его широко раскрытым ртом, таившим немые отзвуки последнего крика, понуро висели густые черные усы. Казаки особенно долго смотрели на красивую и после смерти фигуру одного поручика. Белокурая курчавая голова его, со сбитой фуражкой, словно ласкаясь, никла щекой к земле, а оранжевые, тронутые синевой губы скорбно, недоуменно кривились. Сосед его справа лежал вниз лицом, на спине горбом бугрилась шинель с оторванным хлястиком, обнажая сильные, напряженные мускулами ноги в брюках цвета хаки и коротких хромовых сапогах, с покривленными на сторону каблуками. На нем не было фуражки, не было и верхушки черепа, чисто срезанной осколком снаряда; в порожней черепной коробке, обрамленной мокрыми сосульками волос, светлела розовая вода, — дождь налил” (кн. 2, ч. 4, гл. 3).

“— Ты что?!.. Ты!.. Не смей!.. Не смей бить!.. — рычал Калмыков, сопротивляясь.

Глухо ударившись спиной о стену водокачки, он выпрямился, понял:
— Убить хочешь?

Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы.

— Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры... Я и перед сме-е... о-о-ох!..

Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, спиралью взвилось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплонул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком.

Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь на бок, как засыпающая птица подвернул голову под крыло, коротко всхлипнул” (кн. 2, ч. 4, гл. 17).

Такую прозу можно любить. Можно не любить, особенно современному советскому читателю, воспитанному на идиотском представлении, что гений — это простота.

Но мы взываем не к любви, а к разуму: перед нами особый, замороженный смертью, тип художественного сознания; глаз, различающий небывалые цвета; язык, слигающий литературную, почти вычурную изысканность с жестокой грубостью просторечия... Это — стиль, а, значит, — писатель и человек. Стиль и только стиль — ключ к тайне романа и тайне его автора.

Нашествие. Глава двенадцатая части третьей, судя по ее месту в книге, призвана продолжить изложение событий, прерванное публикацией обнаруженного Григорием Мелеховым дневника убитого студента:

“Одиннадцатая кавалерийская дивизия после занятия Лешнюва с боем прошла через Станиславчик, Радзивилов, Броды и 15 августа развернулась возле города Каменка-Струмилово. Сзади шла армия, сосредоточивались на важных стратегических участках пехотные части, копились на узлах штабы и обозы. От Балтики смертельным жгутом растягивался фронт. В штабах разрабатывали планы широкого наступления, над картами корпели генералы, мчались, развозя боевые приказы, ординарцы, сотни тысяч солдат шли на смерть...

Разведки доносили, что к городу стягиваются крупные кавалерийские силы противника. В перелесках возле дорог вспыхивали стычки, казачьи разъезды входили в соприкосновение с неприятельскими разведками”.

Данный отрывок несомненно выпадает из повествования своим стилем. Его стилистическая основа покоится на языке боевых приказов и военной терминологии. Ощущение некоторого несовершенства, недоработанности создают, однако, не эти особенности (“развернулась возле города Каменка-Струмилово”, “входили в соприкосновение”), легко объяснимые намеренной стилизацией, а, напротив, стилистической разноречивостью — “От Балтики с м е р т е л ь н ы м ж г у т о м растягивался фронт”.

Эта фраза, кроме того, странным образом перебивает ход повествования, вклиниваясь между Каменкой-Струмилово и опять же — Каменкой-Струмилово. Как видно из текста, наступление, готовящееся на данном участке фронта, никак не имело в виду изменение общей (“от Балтики”) стратегической ситуации; речь идет о боях местного значения и именно на участке Каменка-Струмилово.

Каково же будет наше удивление, когда все наши сомнения окажутся благополучно рассеянными за 32 страницы д о н а ч а л а двенадцатой главы!

Часть 3, начало главы десятой:

“Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой. На границе вспыхивали кавалерийские стычки и бои. В первые дни после объявления войны германское командование выпустило щупальцы — сильные кавалерийские разъезды, которые тревожили наши части, скользя над постами, выведывая расположение и численность войсковых частей противника. Перед фронтом Восьмой армии Брусилова шла двенадцатая кавалерийская дивизия под командованием генерала Каледина. Левее, перевалив австрийскую границу, продвигалась одиннадцатая кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и Броды, топтались на месте, — к австрийцам

подвалило подкрепление, и венгерская кавалерия с наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к Бродам”.

Итак, мы видим, что начало десятой главы повествует т о ч н о о т о м ж е , что и начало двенадцатой главы, причем сравнение здесь явно не в пользу главы двенадцатой. Невнятной композиции двенадцатой: Каменка — Балтика — Каменка, противостоит абсолютно логичное построение: весь театр военных действий, австрийский фронт (Восьмая армия, XII дивизия, XI дивизия) и, наконец, участок фронта, занимаемый именно и только XI дивизией, развертывающейся между Бродами и Каменкой-Струмилово. Но самое замечательное здесь даже не то, что речь идет фактически об одних и тех же событиях и местах, но то, что при всех стилистических отличиях двух отрывков, обнаруживается их поразительная лексическая близость:

Глава 12

“От Балтики с м а р т е л ь - н ы м ж г у т о м р а с т я г и в а л с я фронт. (...)”

В перелесках возле дорог в с п ы х и в а л и стычки, казачьи р а з ъ е з д ы входили в соприкосновение с неприятельскими р а з в е д к а м и”.

“О д и н н а д ц а т а я к а в а л а р и й с к а я д и в и з и я после занятия Л е ш н ю в а с б о е м прошла через Станиславчик, Радзивилов, Б р о д ы и 15 августа развернулась возле города Каменка-Струмилово. Сз а д и ш л а а р м и я (...) Р а з в е д к и д о н о с и л и , ч т о к г о р о д у с т я г и в а ю т с я к р у п н ы е к а в а л е р и й с к и е с и л ы противника”.

Глава 10

“Ф р о н т е щ е н е у л е г с я м н о г о в е р с т н о й н е п о д а т л и в о й г а д ю - к о й .”

На границе в с п ы х и в а л и кавалерийские с т ы ч к и и б о и . В первые дни после объявления войны германское командование выпустило щупальцы — сильные кавалерийские р а з ъ е з д ы , которые тревожили наши части, скользя над постами, в ы в е д ы - в а я расположение и численность войсковых частей”.

“Перед фронтом Восьмой а р - м и и Б р у с и л о в а ш л а д в е н а д ц а т а я к а в а л е р и й с к а я д и в и з и я . Части ее, с б о е м забрав Л е ш н ю в и Б р о д ы , топтались на месте, — к австрийцам п о д в а л и л о п о д к р е п л е н и е , и в е н г е р с к а я к а в а л е р и я с н а с к о к у ш л а н а н а ш у к о н н и ц у , т р е в о ж а е е и т е с н я к Б р о д а м”.

Как это понимать? Для чего это? Почему метафорически собранный текст должен быть с бесцветной вялостью пересказан через три десятка страниц?! Отчего "многоверстная неподатливая гадюка" оборачивается "смертельным жгутом", "щупальцы" кавалерийских разъездов — "неприятельскими разведками"? Неужели слова "к австрийцам подвалило подкрепление" в художественном отношении хуже, чем "стягиваются крупные кавалерийские силы противника"?!!

А как все это согласуется с продолжением двенадцатой главы (непосредственно за процитированным отрывком)?

"Мелехов Григорий все дни похода, после того как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и вернуть себе прежнее ровное настроение".

Можно подумать, что речь идет о мятущемся интеллигенте — "найти в душе точку опоры", "болезненные раздумья", "прежнее ровное настроение". Нет, описывается герой, которого призывная комиссия в двадцать первой главе части второй провожает следующими словами:

"В гвардию? Рожа бандитская... Очень дик. Ёль-зя-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда?"

Это, конечно, не решающий аргумент. Решающий аргумент — в главе десятой:

"Григорий Мелехов после боя под городом Лешнювым тяжело переламывал в себе нудную нутряную боль. Он заметно исхудал, сдал в весе, часто в походах и на отдыхе, во сне и в дреме блазнился ему недавний знакомец-австриец, тот, которого срубил у решетки. Необычно часто переживал он во сне ту первую схватку, и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он судорожную конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики; просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью ло боли зажмуренные глаза".

Это также непосредственное продолжение разобранного выше отрывка из десятой главы. И опять те же самые недоумения: для чего понадобилось "нудную нутряную боль" через тридцать страниц назвать "болезненными раздумьями"? Можно, конечно, подумать, что отрывки из глав десятой и двенадцатой повествуют о разных событиях — ведь сказано в двенадцатой, что раздумывать Григорий начал "после встречи с братом". Однако, сама встреча братьев — Григория и Петра Мелеховых — описывается в десятой главе, а приведенный отрывок с "нутряной болью" этому рассказу предшествует! Да встреча с братом на ход размышлений героя и не повлияла; более то-

го Григорий передает Петру свои ощущения в ясных и точных словах:

“Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой. Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплонули () Меня совесть убивает Я под Лешнювым заколол одного пикой. Сгоряча.. Иначе нельзя было.. А зачем я этова срубил? (.) срубил зря человека и хворую через нево, гада, душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват?”

Глава 12

Глава 10

“Мелехов Григорий все дни похода, после встречи с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и вернуть себе прежнее ровное настроение”

“Григорий Мелехов после боя под городом Люшневым тяжело переламывал в себе нудную внутреннюю боль (.) часто в походах и на отдыхе (..) блазился ему недавний знакомец-австриец, тот, которого срубил у решетки. (.) просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза”

И опять та же ситуация, что и в предыдущих отрывках стилистически фрагменты различаются, но опять описывают одни и те же события, и опять же лексический состав отрывков более чем сходен. Как все объяснить?

С художественной точки зрения текст отрывков (на самом деле одного цельного фрагмента, поскольку второй отрывок непосредственно примыкает к первому) десятой главы превосходит соответствующие отрывки главы двенадцатой. Проще говоря, текст отрывков десятой главы более литературен. С другой стороны, лексическая близость отрывков указывает на их взаимосвязь? Что же это за взаимосвязь? Стилистически отрывки двенадцатой главы похожи на плохой конспект, а чтение главы десятой обнаруживает тот самый кусок, который был законспектирован. Ситуация более, чем необычная, — словно автор неумело обкрадывал сам себя!

Но все станет на свои места, если мы перевернем последовательность: не начало десятой главы послужило источником вступления к двенадцатой, а наоборот — разобранные фрагменты главы двенадцатой являлись основой для написания начала десятой главы. Следовательно: вступление к двенадцатой главе есть не конспект, но план написания соответствующей части

главы десятой. И этот план не был отброшен, он был выполнен в десятой главе!

Но разгадав одну загадку, мы немедленно упираемся во вторую. Ведь для того, чтобы всунуть план одной главы в начало другой и, самое главное, поместить этот, уже исполненный план через тридцать страниц после написанной на основе его главы... Для этого нужен был чей-то чудовищный произвол, чье-то зверское насилие над авторской волей. Но для чего? Цензурные запреты? Что запрещать, что скрывать — дислокацию русской армии на Юго-Западном фронте в 1914 году? Ведь никакого другого результата, кроме превращения романа в сенильную болтовню, достигнуть невозможно. А кому такое могло понадобиться? Шолохову? Редактору? Этих вряд ли можно заподозрить в таком намерении. Значит, говорить следует о другом. Тот, кто составил окончательную редакцию текста романа, не знал ни того, как роман писался, ни того, как был он задуман и исполнен. Имя человека, который принес летом 1927 года отпечатанную на машинке окончательную редакцию текста романа в редакцию "Октябрь", нам известно — это Шолохов М. А.

А теперь вопрос: может ли автор не знать и не понимать, что и как он хотел написать? Мог ли автор не знать и не понимать, где кончаются заготовки к роману и где начинается роман?

Я к вам пишу. Стилистический критерий служит первым инструментом анализа романа "Тихий Дон". Он равно применим как в ситуации войны (предыдущая глава), так и в дни мира. Обратимся, поэтому, к главе восемнадцатой части второй.

Начало главы посвящено описанию бабьих посиделок у соседки Коршуновых — родителей жены Григория Мелехова — Пелагеи. Присутствует здесь и сама жена Григория — Наталья. Один фрагмент привлекает наше внимание своей изощренной стилистикой

"С трудом высидев до конца, она (Наталья — Б С) ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение (она все не верила, что Григорий ушел навсегда и; прощая, ждала его) толкнул ее на следующий поступок решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтобы узнать, совсем ли ушел он и не одумался ли"

О литературных достоинствах такого текста говорить не приходится. Единственное, на что он похож, — это на начало двенадцатой главы из части третьей. Там, как мы помним, герой тоже "не мог

найти в душе точку опоры" и погружался "в болезненные раздумья"; там же мы видели, что в "художественной части" (десятая глава) место "б о л е з н е н н ы х раздумий" заступает "нудная нутряная б о л ь", а невозможность "найти в душе точку опоры" Григорий описывает еще более энергично: "хворая через нево, гада, д у ш о й".

Наше допущение о неорганичности данного фрагмента в составе восемнадцатой главы подкрепляется знакомством с тем, что его окружает. Вот абзац, прямо ему предшествующий:

"Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни и пересуды. Наталья вязала молча".

А вот — абзац, непосредственно за нашим отрывком следующий:

"Пришла она от Пелагеи поздно. В горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентилю, слушая рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве. Мать Натальи, уложив детей, слезла на печку, уставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась, бесцельно прошлась по комнатам. В зале, в углу, отгороженном доскою, — ворох остава ланного на посев конопляного семени и мышинный писк.

Она на минуту задержалась в дедовой горнице. Постояла у угольника, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами.

— Дедуня, у тебя бумага есть?

— Какая бумага? — поверх очков собрал дед густую связку морщин.

— На какой пишу?

Дед Гришака порылся в Псалтыре и вынул смятый, провонявший затхлым канунным маслом и ладаном лист.

— А карандаш?

— У отца спроси. Иди, касатка, не мешайся.

Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль.

Утром она, посулив Гетьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом: "Григорий Пантелеевич!

Пропиши мне, как мне жить, и навовса, или нет, потерянная моя жизнь? (...) Думала, сгоряча ты ушел, и ждала, что возвратишься, но я различать вас не хочу. Пушай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю — буду одно думать, а то я стою посереде дороги".

Наши претензии к "психологическому" отрывку ("неоформленное решение", "неопределенное положение", "толкнул ее на следующий поступок") теперь уже не исчерпываются стилистикой.

Главное в том, что во фрагменте названо все то, что составляет движение фабулы в последующем тексте. Более того, в последующем тексте решение у Натальи постепенно формируется ("бесцельно прошлась по комнатам", "постояла (...), тупо глядя на стопку церковных книг", и лишь после этого следует обращение к деду за бумагой), а фрагмент утверждает, что Наталья пришла в дом с готовым решением ("решила послать (...) в Ягодное к Григорию").

Противоречие здесь налицо, но оно снимается, если допустить, что как и в предыдущем случае в текст романа ошибочно включен план:

"неоформленное решение"

"бесцельно прошлась по комнатам"; "постояла (...), тупо глядя на стопку церковных книг".

"стыд за свое неопределенное положение"

"Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль".

"решила послать (...) к Григорию, чтобы узнать, совсем ли он ушел и не одумался ли"

"Григорий Пантелеевич! Пропиши мне, как мне жить, и навовсе, или нет, потерянная моя жизнь? Узнаю — буду одно думать..."

Истинный порядок следования текста был, по всей видимости, не таким:

"...Наталья вязала молча" + Психологический "фрагмент" + "Пришла она от Пелагеи поздно..."

Серединный фрагмент, как мы видели, "забегает" вперед и весь порядок разрушает.

Но никаких препятствий, ни стилистических, ни смысловых, не возникает, если мы "психологический" фрагмент устраним и прочтем текст так, как будто фрагмента этого нет вовсе:

"Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни и пересуды. Наталья вязала молча.

Пришла она от Пелагеи поздно. В горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете Евангелие".

Дед Гришака. Познакомимся поближе с Гришакой — дедом Натальи Коршуновой, невесты, а затем и жены Григория Мелехова. Для этого раскроем девятнадцатую главу первой части:

“Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и георгиевскую медаль. Был односумом с Прокофием Мелеховым и, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосољство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.

Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костью землю, угнув голову, думал неясными образами, отрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний...”

Вдуваемся в то, что напечатано:

“пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум”

и тут же —

“Думал неясными образами, отрывками мыслей...”!

То же можно сказать и о “хлебосољстве”:

“Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсывала в ему лучший кусок...” (в той же девятнадцатой главе).

О каком хлебосољстве может идти речь, если дед Гришака у себя дома не хозяин — уход внучки грозит ему потерей лучшего куска за столом; каким хлебосољством мог славиться приживал?

Таким образом, биографическая справка о деду Гришаке далеко не во всем согласуется с текстом главы. Логично предположить поэтому, что сама справка носит вспомогательный, рабочий характер. Ее задача — помочь разработке образа, но в процессе работы от многого пришлось отказаться. Однако, черновой набросок был сохранен и использован в главе девятнадцатой:

“короткие остатки жизни тратил на воспоминания” —

— “думал (...) плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний”;

“Был односумом с Прокофием Мелеховым” —

— “Мелеховы — славные казаки. В одном полку служил с покойником Прокофием”.

Не были забыты и прочие сведения, — место им нашлось в двадцать третьей главе той же первой части:

“Участвовал в турецкой кампании 1877 года” —

— “А я в турецкой кампании побывал... Ась? Побывал да”;

“За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и георгиевскую медаль” —

— “Под Рошичем был бой...”; “Два Егория имею! Награжден за боевые геройства...”

Биография деда Гришаки претерпела некоторые изменения: с издания 1956 года он более не "односум" (то есть не однополчанин) деда Григория — Прокофия Мелехова; в связи с этим подверглись правке и сведения о боевой карьере последнего — в первой главе первой части дед Григория участник уже не последней турецкой кампании, а предпоследней. Убрано и второе упоминание о совместной воинской службе деда Гришаки и Прокофия. Правка, в данном случае, понятная — если об этом не говорится в первый раз, зачем повторять во второй? Но еще любопытнее то, что Шолохов заметил повторения в тексте девятнадцатой главы. Заметил, но смысла этих повторений не понял!

Итак, в текст главы опять вкрался черновик. Каков же был облик белого текста? К "беловику" несомненно относится первая фраза отрывка: "Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет", поскольку ей предшествует:

"Дед взмахивал костью и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги", и, следовательно, первая фраза нашего отрывка продолжает уже начатую тему походки и ходьбы. Но все прочее, до конца абзаца, должно быть исключено. Беловой текст восстанавливается в следующем виде:

"— Ты чего, поганец, заявился сюда, ась?

— На провед зашел, дедуня, — оправдывался Митька.

— Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтит отселя. Шагом арш!

Дед взмахивал костью и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги.

Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костью землю, угнув голову, думал неясными образами, отрывками мыслей, тусклыми отсветами воспоминаний.

От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень; от тени морщины казались глубже, седая борода отдавала сизью. По пальцам, скрещенным над костью, по кистям рук, по выпуклым черным венам шла черная, как черноезем в логу, медленная в походе кровь".

Наброшенный, видимо, на полях, черновик не был вымаран Автором, использовавшим его, как мы видели, в работе над двадцать третьей главой. Дальнейшая судьба черновика обычна — он вставлен Шолоховым на первое же подвернувшееся место.

Передел. Сложная, тяжелая книга "Тихий Дон"; то зачистит, зачистит, половину персонажей потеряет, то обсто-

ятельна, как опись имущества. Вот, например, административные подробности:

(1929) "В двадцатых числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись. Был образован свой округ, наименованный Верхне-Донским. Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, вторая в области, после Михайловской, по величине и многочисленности хуторов станица. Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Каргинская, Боковская станицы. И Верхне-Донской округ, оттягавший себе двенадцать станиц и одну хохлячью волость, зажил обособленной от центра жизнью. В состав Верхне-Донского округа вошли станицы бывшие Донецкого округа: Казанская, Мигулинская, Шумилинская, Вешенская, Еланская, Каргинская, Боковская, Пономаревская волость; бывшие Усть-Медведицкого: Усть-Хоперская, Краснокутская и Хоперского округа: Букановская, Слащевская, Федосеевская" ("ТД", кн. 2, ч. 5, гл. 21/1957: с. 327).

Уф-ф! Не роман, а тест какой-то для разведшколы — кто больше успел запомнить? А особо способным задача: обнаружить, какое тут было вранье? А вранье тут есть: перечислены бывшие станицы Донецкого округа и среди них Шумилинская, Каргинская и Боковская. А за фразу до этого сказано: "Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Каргинская, Боковская станица".

Так что не могли они, согласно тексту, быть "бывшими" — не "бывшие" они, а "новые", и раньше их не было. Вот так! Что же касается прочей информации, то она либо уже известна (понятно ведь, что если Вешенская — окружной центр, то она входит в состав округа; если в округе образовались новые станицы, то где же, как не в пределах округа, им быть), либо излишня и опять же ошибочна. Так, перечислены станицы "бывшие Усть-Медведицкого" и "Хоперского" округов. А вначале сказано, что в состав нового округа ("Верхне-Донского") вошли "верховые станицы Д о н е ц к о г о округа". То есть, опять концы с концами никак не сойдутся. Понятно, что двигало Шолоховым: он видел во второй части абзаца подробности, не вошедшие в предыдущую часть. Истина, однако, в том, что подробностям этим в тексте вообще места нет. Вторая часть, в которой самый снисходительный взгляд не обнаружит художественных достоинств, а только протокольные, — для книги лишняя. Для книги, но не для автора. Автору она была нужна, чтобы написать первую часть.

“В двадцатых числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись.

Был образован свой округ, наименованный Верхне-Донским.

Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, после Михайловской, вторая в области, по величине и многочисленности хуторов станица. Образовались

Шумилинская,

Каргинская, Боковская станицы.

И Верхне-Донской округ, оттягавший себе двенадцать станиц и одну хохлячью волость,

зажил обособленной от центра жизнью”.

“В состав Верхне-Донского округа вошли станицы бывшие Донецкого округа:

Казанская, Мигулинская,
Шумилинская, Вешенская, Еланская,
Каргинская, Боковская,

Пономаревская волость (...)

Что же касается “бывших станиц Усть-Медведицкого и Хоперского округов”, то и они в тексте не пропали: “(...) Верхне-Донской округ, оттягавший себе двенадцать станиц (...)”. Подсчитав число станиц по округам, мы убедимся, что их, действительно, — двенадцать.

Итак, мы видим, что состав Верхне-Донского округа дан нам дважды в двух видах: в художественном тексте и в ведомости. Причем, в соответствии с объявленным в начале абзаца замыслом говорить только о верховых станицах бывшего Донецкого округа, автор в художественной части только о них и говорит. Из списка (во второй части абзаца) в первой части отсутствуют станицы Мигулинская, Казанская и Еланская. Рассказ о них помещен во фразу непосредственно предшествующую нашему абзацу:

(1929) “День спустя уж цвели по всему округу красные флажки скакавших по шляхам и проселкам нарочных. Станицы и хутора гудели. Вверх ногами летели советы, и наспех выбирались атаманы. К М и г у л и н с к о й с запозданием шли сотни К а з а н с к о й и Вешенской станиц” и непосредственно следующую за ним:

“Окружным атаманом дружно избран был казак Е л а н с к о й станицы (...)”.

Теперь, когда строение разобранного фрагмента более или менее ясно (вторая часть — заметки для написания первой), перейдем к странностям самой второй части.

Что это за стиль: "станции бывшие Донецкого округа"? В послевоенных изданиях Шолохов отделил первое слово от второго запятой, так что получилось: "вошли станции, бывшие Донецкого округа". Что в лоб, что по лбу! Ведь даже при скудном образовании понятно, что запятой дела не исправишь, а нужно менять порядок слов: "вошли бывшие станции Донецкого округа", и их перечислить, а затем: "бывшие станции Усть-Медведицкого" (с перечислением), а далее — "и Хоперского округа" (с перечислением). Вот как надо! Мы, однако, не редакторы, а текстологи, и задача наша иная — восстановить первоначальный облик рукописи. Все грамматические несуразности исчезают, если оригинал имел следующий вид:

"В состав Верхне-Донского округа вошли станции
бывшие Донецкого округа:

- (1) Казанская
- (2) Мигулинская
- (3) Шумилинская
- (4) Вешенская
- (5) Еланская
- (6) Каргинская
- (7) Боковская

Пономаревская волость
бывшие Усть-Медведицкого:

- (8) Усть-Хоперская
 - (9) Краснокутская
- и Хоперского округа:
- (10) Букановская
 - (11) Слащевская
 - (12) Федосеевская"

Вот этот-то список, служивший справочным материалом, Шолохов, ничтоже сумняшеся и (по мере разумения) расставив запятые, вставил в текст. Так эта справка там навсегда и осталась.

Время жить и время умирать. Выше мы говорили о сходных местах в главах десятой и двенадцатой части третьей. Обратимся

теперь к тому, что их разделяет. Разделом служит одиннадцатая глава, представляющая собой дневник убитого казака-студента, найденный Григорием Мелеховым.

К "Дневнику" мы будем еще возвращаться неоднократно, а пока обратим внимание на одну его особенность – хронологию. Здесь мы позволим себе привести пространную цитату из статьи Г. Ермолаева "Политическая правка "Тихого Дона" ("Мосты" /Мюнхен/, № 15, 1970, с. 268–269) :

"...путаницу внесли в сюжет поправки, сделанные в датах извещения командира сотни о смерти Григория и письма Петра, сообщающего о том, что Григорий жив. В журнальном тексте 1928 года командир сотни в извещении от 19 августа 1914 года ст. ст. писал, что Григорий убит в ночь на 17 августа. Это не увязывалось с датами и содержанием двенадцатой, тринадцатой и двадцатой глав, из которых следует, что Григорий был ранен под местечком Каменка-Струмилова (у Шолохова: Каменка-Струмилово) 16 августа в полдень, вернулся в полк примерно 19 августа и спустя двое суток был вторично ранен и отправлен в Москву. При первой же возможности день смерти Григория в извещении командира был перенесен на 16 августа (хотя слова "в ночь на" остались), а дата написания извещения изменена на 18-е. При подготовке издания 1953 года было, наверное, обнаружено, что Григорий не мог быть ранен ни шестнадцатого, ни двадцать первого августа, потому что в одиннадцатой главе сообщает, что он, до своих ранений, нашел у убитого казака-добровольца дневник, обрывающийся на записи от 5 сентября. Чтобы отправить автора дневника на фронт как можно скорее и убить его еще до первого ранения Григория, пришлось бы основательно переработать содержание и датировку дневника, занимающего в романе двадцать пять страниц. Шолохов избрал более легкий путь. Он передвинул вперед на месяц даты в извещении командира сотни, так что с 1953 года извещение датируется 18 сентября и сотенный пишет, что Григорий был убит под Каменкой-Струмиловой в ночь на 16 сентября. Ровно на месяц вперед была передвинута и дата письма Петра, сообщавшего о ранении Григория. Но заставив командира сотни выдумать бой под Каменкой-Струмиловой в то время, когда она уже была глубоким тылом, Шолохов не сделал никаких поправок в своем повествовании о боях у этого местечка и о ранении Григория. (...) Шолоховская поправка не вяжется также с оставшимся в тексте заявлением, что в Москве, при прибытии туда раненого Григория, "чувствовалась осень". Наступление осени в Москве было приурочено к ранению Григория 21 августа ст. ст., а не месяц спустя".

Г. Ермолаев совершенно прав. Внесенные в текст изменения привели к полному абсурду. Заметил Ермолаев и то, что ситуация была абсурдной изначально (в журнальной публикации 1928 года). Но странной представляется не только хронология "Дневника". Странен и сам "Дневник". Зачем он? Ермолаев, и по сей день убежденный в авторстве Шолохова, таким вопросом не зада-

ется. Но у нас перед Шолоховым обязательств нет. Поэтому мы спросим еще раз: какая связь между "Дневником" и романом в целом?

Фабульно они почти не связаны: дневник с л у ч а й н о падает в руки Григория Мелехова, который его даже не раскрыл, а "книжку передал в штабе писарям, и те, скопом перечитывая ее, посмеялись над чужой коротенькой жизнью и ее земными страстями"; автор "Дневника" встречался в Москве с Елизаветой Моховой — одностаничницей Мелехова, но сама Елизавета в последующем тексте романа появляется лишь один-единственный раз (глава седьмая части четвертой), да и то в опосредствованном виде — в размышлениях купца Мохова над ее письмом ("Чужая она мне. И я ей чужой. Грязная девка, имеет любовников... а маленькой была белокурой и родной... Боже мой! Как меняется все..."); что же касается автора "Дневника", то ни он сам, ни дневник его никем и никогда более не упоминаются... Если же прибавить к этому хронологические неурядицы, то станет ясно, что с "Дневником" что-то не в порядке. Чужой он роману. И роман ему чужой.

Но так было не всегда:

"24 августа. Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить. Смеется".

Сравним с этой дневниковой записью следующий отрывок из двадцать первой главы той же третьей части:

"Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки легла желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность, и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза — все дальше фронт. (...)

Тихую, умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаза огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. (...)

После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем".

Совпадения бросаются в глаза: ранение в глаз, повязка, санитарный поезд, радость ("доволен ужасно, что едва ли придется служить..." — "Так хорошо (...) знать, что жизни твоей не грозит опасность, и смерть так далека. (...) с каждым рывком паровоза все дальше фронт").

И уж совсем к месту оказывается хронология: Григорий Мелехов ранен 21 августа, а запись в дневнике датирована двадцать четвертым числом. Разница в три дня легко объяснима: автор дневника встречается раненого в глаз солдата 24 августа, но лишь двадцать седьмого — ч е р е з т р и д н я — попадает в свой полк.

Иными словами, практическое совпадение датировки дневника и событий в жизни Григория Мелехова есть, по всей видимости, не следствие неувязки, а след н е р е а л и з о в а н н о г о фабульного узла (или целой фабульной линии), предполагавшего встречу автора дневника и Григория Мелехова на одной из станций 24 августа 1914 года.

В дальнейшем замысел меняется: Григорий находит дневник в кармане трупа; 24 августа из санитарного поезда на перрон выскакивает "молодой солдат", а не казак; ранение в глаз получено от картечи, а не, как в случае Григория, — от разрыва авиабомбы. Остался последний шов — хронология.

Истинный автор романа знал эволюцию своего замысла, знал он и то, какой цели служила хронология. Только Шолохову это было невдомек, и он на хронологию не обращал внимания двадцать пять лет; когда же обратился — справиться с ней не смог.

Два студента. На одном из сборищ, организованных большевистским агитатором Штокманом в курене Лукешки-косой, "дураковатый" Христоня рассказал о своей службе в карауле Зимнего дворца:

"(...) припало раз верхи несть караул. Едем как-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо и невидимо! Увидели нас, как рывкнут: "Га-а-а-а!" Да ишо раз: "Га-а-а!.." Не успели, стал быть, мы всполошиться, окружили. "Вы чево, казаки, разъезжаете?" Я и говорю: "Несем караул, а ты поводья-то брось, не хватай!" — и за шашку. А он и говорит: "Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской станицы рожак, а тут ученье прохожу в ниверси... ниворситуте, али как там" (глава 9, часть 2).

В дальнейшем один "носатый" студент зло подшучивает над темными казаками и дарит их десятирублевкой, прося выпить за упокой души студентова папаши, портрет которого он им также вручает. Изображенный на портрете "папаша" оказывается Карлом Марксом. Просветить Христоню относительно совершенных Марксом добрых дел Штокман, ссылаясь на поздний час, оказывается, обещая рассказать в дальнейшем, но обещания сво-

его, видимо, не исполняет (на следующей сходке разговор идет о близящейся войне /глава 16, часть 2/, а уже в первой главе части третьей Штокмана арестовывают). Более ни герои, ни автор об этом эпизоде не упоминают. Тем не менее своеобразное отражение его мы обнаруживаем совсем в другом месте и в другом времени — в “Дневнике” убитого казака-студента, в записи от 1 мая 1914 года:

“1 мая. Ознаменован сей день событием. В Сокольниках во время очень безобидного времяпрепровождения напоролись на историю: полиция и отряд казаков, человек в двадцать, рассеивали рабочую маевку. Один пьяный ударил лошадь казака палкой, а тот пустил в ход плеть. (Принято почему-то называть плеть нагайкой, а ведь у нее собственное славное имя, к чему же?..) Я подошел и ввязался. (...) Ввязался и сказал казаку, что он чапура и кое-что из иного-прочего. Тот было замахнулся и на меня плетью, но я с достаточной твердостью сказал, что я с а м к а з а к К а м е н с к о й с т а н и ц ы и так могу его помести, что чертям станет тошно. Казак попался добродушный, молодой; служба, видно, не замордовала еще. Ответил, что он станицы Усть-Хоперской и биток по кулачкам. Мы разошлись мирно. Если б он что-либо предпринял в отношении меня, была бы драка и еще кое-что похуже для моей персоны” (Кн. 1, ч. 3, гл. 11).

Как мы видим, фабульные различия двух повествований значительны: Христоня служил в Петербурге в Зимнем дворце, казак-студент встречается казака-солдата в Москве в Сокольниках; в Петербурге происходит студенческая демонстрация, в “Дневнике” собрались на маевку рабочие...

Остаются детали: студент, уроженец станицы Каменской, встречается с казаком во время противозаконного сборища.

Какие выводы можно сделать из этих совпадений и различий?

У нас уже был случай убедиться, что соотнесенность записей в “Дневнике” с прочими событиями романа менялась. Разумно, поэтому, предположить, что перед нами еще один след, указывающий на эволюцию романной фабулы, а именно: на одном из этапов работы предполагалось столкнуть автора “Дневника” с одним из персонажей (Христоней). Однако, Христоня демобилизовался со срочной службы еще до начала романного повествования, в силу чего не имел никакой возможности разгонять демонстрации в 1914 году.

Свет на возникшую проблему проливает сам “Дневник”:

“7 мая (1914 г., то есть после маевки — Б. С.) (...) Брился в парикмахерской на Тверской. Вышел оттуда свежим галантерейным приказчиком. На углу Садово-Триумфальной мне улыбнулся городской. Этаким плути-

шка! Ведь есть что-то общее у меня с ним в этом виде? А три месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории...

Что это за загадочная фраза? Что за белье, какой истории? Что могло не нравиться городовому в нашем герое, и именно три месяца назад?

За три месяца до 7 мая 1914 года на дворе стоял февраль. Автор "Дневника" студент, значит неприятности с городовыми могли возникнуть при студенческих волнениях, и автор "Дневника" в этих волнениях участвовал (так, он специально отмечает, что драка с казаком могла повлечь "еще кое-что похуже" для его персоны, то есть персона его не вовсе была неизвестна полиции). Правда, в феврале 1914 года студенты в Москве не бунтовали... Но что мешает нам видеть здесь свободное творчество, не привязанное рабски к календарю? Ничто не мешает. Разве что привязанность к нему самого автора "Дневника":

"Друг Вася, я сознательно ровняю слог, прибегаю даже к образности с тем, чтобы в свое время, когда сей "дневник" попадет к тебе в Семипалатинск (есть такая мысль: по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Муховой, переслать тебе его. Пожалуй, чтение этого документа доставит тебе немалое удовольствие), ты имел бы точное представление о происходившем. Буду описывать в хронологическом порядке".

Еще одна запись:

"3 мая. Запойное настроение. (...) Приходил Володька Стрежнев. Завтра иду на лекции".

"Иду на лекции" — это значит пойти учиться. Странно, что студент особо отмечает такое событие. Каникул до этого вроде не было, праздников особых тоже не отмечено (Пасхальная неделя, например, в тот год началась 6 апреля). Может быть, по какой-то причине до 3 мая не было занятий? Что за причина?..

Или, скажем, друг Вася. Они с автором "Дневника" приятели, но не земляки: Вася в Семипалатинске, а автор — донской казак. Скорее всего, они были знакомы по Москве, потому что в Москве у них есть общий приятель — Володька Стрежнев. Но при чем здесь Семипалатинск? Еще один случай свободы авторской воли?

Но ведь Семипалатинск место не нейтральное. Более того, знаменитое: именно в Семипалатинске в 1854—1859 годах отбывал ссылку в рядах Сибирского седьмого линейного батальона Ф. М. Достоевский. Обстоятельство это тем более настораживает, что семипалатинский Вася — несомненный литературный адресат ("Дневник" — литературное произведение; с какой иной

целью его автор "сознательно ровняет слог" и "прибегает д а ж е к образности"?).

Подведем некоторый итог: место действия — Москва; автор — студент; в феврале у автора "Дневника" были какие-то осложнения с полицией; московский друг Вася находится в Семипалатинске — классическом месте ссылки; в "Дневнике" отмечен майский день, когда автор собрался на лекции.

Соединению этих разрозненных сведений послужит, быть может, то, от чего устранился автор "Дневника". Итак, поворотим белею истории.

Место действия — Москва. Где учится наш герой? 13 августа, вспоминая невозвратное довоенное время, он записывает: "Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки..." Значит, студент-естественник. При этом, он не разделяет "alma mater" ни со студентом Московского Технического училища Боярышкиным, ни с медичкой Елизаветой Моховой. Припомним, однако, усилия Христови выговорить заветное слово ("ниверси... ниворситут, али как там) и допустим, что автор "Дневника" был студентом университета.

8 ноября 1910 года студенты Московского Императорского университета собрались на грандиозную сходку, посвященную памяти Льва Толстого. Сходка была разрешена администрацией университета. Затем последовала сходка уже никем не дозволенная в здании Юридического факультета (11 ноября, 2000 студентов), 14 ноября 1500 студентов вышли на улицу и были разогнаны полицией. 17 ноября принимается решение об объявлении трехдневной забастовки в знак протеста против арестов, произведенных 14 ноября. 4 декабря — опять трехдневная забастовка, на этот раз студенты протестуют против истязаний политических заключенных в Вологодской тюрьме и на каторге Нового Зарентуя. В ноябре-декабре министерство народного просвещения издает приказ об исключении из университета нескольких десятков студентов. Студенты, со своей стороны, назначают на 27 января 1911 года сходку по поводу новой забастовки, на этот раз забастовки солидарности со студентами Санкт-Петербургского университета, решившими бастовать весь весенний семестр. 2 февраля 1911 года уволена университетская администрация. С н а ч а л а ф е в р а л я занятия практически прекращены. 16 февраля 1911 года министр народного просвещения Л. А. Кассо издает приказ об исключении 370 студентов, а всего

с 11 февраля по 4 марта из университета было исключено более тысячи студентов, из них несколько десятков подверглись аресту, а сотни высланы из Москвы*. "Московский университет — разгромлен, — писал М. Горький И. Бунину в феврале 1911 года, — да и все едва держатся. Тяжело все это и грозит страшной, кровавой отрыжкой**. С тех пор значительных студенческих выступлений в Москве не было до самого 1917 года.

Попытаемся наложить данные "Дневника" на события 1911 года.

"Три месяца назад", то есть в феврале 1911 года встреча с городовым действительно не предвещала студенту университета ничего приятного. "Кое-что похуже для (...) персоны" студента драка с казаком могла представлять в том случае, если студент был до этого под арестом: при освобождении из-под ареста давали подписку о неучастии в противозаконных собраниях (а здесь — маевка).

В Семипалатинск московский друг Вася попадает, будучи выслан из Москвы ("Семипалатинск" — указание на причину переезда).

Понятно и то, почему автор "Дневника" отметил день посещения лекций, — это был день возобновления занятий в университете.

Если допустить, что наше предположение соответствует истине, то получает решение и проблема, поставленная нами в начале главы: сходство рассказа Христони и записи в "Дневнике" от 1 мая. Эпизод столкновения казака-солдата с казаком-студентом предполагалось, видимо, описать с двух различных точек зрения, глазами двух участников. Однако, событие это относилось к 1911 году. Из чего следует важнейший для нашего исследования вывод: в момент написания "Дневника" роман не предполагал описания войны. Лишь в дальнейшем, перерабатывая первоначальный вариант, Автор перенес воспоминания Христони в Петербург, а "Дневник" передвинул на три года вперед. Часть "Дневника", описывающая объявление войны и военные действия, присоединена к первой — "любвонной" — совершенно механически:

* *История Московского университета. М., Изд-во Московского университета, 1955, т. 1, с. 537—545.*

** *Горьковские чтения. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 58.*

"4 июля.

Работа покинута мною. Я покинут Елизаветой. Пили сегодня с Стрежневым пиво. Вчера пили водку. Расстались с Елизаветой, как и полагается культурным людям, корректно. Безо всяких и без некоторых. Сегодня видел ее на Дмитровке с молодым человеком в жокейских сапожках. Сдержанно ответила на мой поклон. На этом пора уж и кончить записки — иссяк родник.

30 июля.

Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война".

"Дневник" так никогда и не стал органической частью романа. Первоначальная связь (Христоня) была разорвана, новые (встреча с раненым Григорием) не установились (отсюда вся хронологическая несурязица).

Но есть и еще одна замечательная подробность:

"Один пьяный ударил лошадь казака палкой, а тот пустил в ход плеть. (Принято почему-то называть плеть нагайкой, а ведь у нее собственное славное имя, к чему же?..)".

О чем идет речь? К чему здесь эти лингвистические разыскания?

А вот к чему — к песне.

Песня "Нагаечка" была сложена в связи со студенческими волнениями 1899 года, начавшимися разгоном демонстрации студентов в Петербурге 8 февраля 1899 года. Начало ее было таким:

Задумал наш царь народ удивить,
Пулей, нагайкой народ задушить.

а припев таким:

Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя,
Вспомни, как гуляла ты восьмого февраля.

Именно на месяц февраль и должна была указывать ламентация по поводу названия плети: на февраль 1911 года.

А теперь выразим недоумение. Какому автору 1927 года (год представления романа в редакцию журнала "Октябрь") могло прийти в голову рассказывать о революционной борьбе московского студенчества намеками, причем намеками, абсолютно недоступными читателю?

А что, если "автора 1927 года" не было?

Тогда все становится на свое место. Был "автор 1911 года", писавший (задумавший писать) роман по следам событий и ли-

шенный возможности прямо сказать о разгроме Московского университета в феврале этого года. Автор, читателям которого не нужно было "ворошить белые истории", потому, что историей этой был их собственный вчерашний день.

(окончание следует)

Зеев Бар-Селла — лингвист и литературовед, постоянный автор журнала "22"; совместно с М. Каганской опубликовал книгу "Мастер Гамбс и Маргарита"; в настоящее время завершает работу над текстологией "Тихого Дона" и готовит к печати книгу о поэзии И. Бродского, главы из которой публиковались в "22".

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" (повести и рассказы)

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячу лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Михаил Вартбург

МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИЯХ, ВЕКА В ХАОСЕ

(продолжение; начало см. "22",
№ 58)

Один день, который потряс научный мир. На определенном этапе драма идей обретает осязаемые формы: она превращается в драматическое столкновение людей. К началу 1950 года у Великовского уже появились первые друзья, которым он время от времени открывал ход своих мыслей. У него уже появились первые сторонники, в том числе среди журналистов, занимающихся популяризацией науки. В некоторых известных американских журналах уже появились первые публикации, таинственно намекавшие на предстоящее "явление миру" ошеломительной теории, совершенно по-новому объясняющей прошлое Земли и человечества. Уже зашевелились будущие заклятые, на всю жизнь, враги — астрономы Гарвардского университета во главе с профессором Шепли. В кулуарах какой-то научной конференции доктор Великовский уже попытался изложить профессору Шепли основные идеи своей "теории космических катастроф". Профессор Шепли остался под сильным впечатлением от личности доктора Великовского, но начисто отверг его "взбалмошные" идеи. Доктор Великовский попросил профессора Шепли провести некоторые специальные астрономические наблюдения, которые

могли бы подтвердить или опровергнуть его теорию. Профессор Шепли ответил доктору Великовскому не слишком вежливым отказом. Неудивительно, что распространившиеся вскоре слухи о предстоящей публикации книги Великовского привели профессора в неопишемую ярость. Ссылаясь на пересказы ее содержания в научно-популярных журналах, он потребовал от издательства Мак-Миллан отказаться от "скандальной публикации". Требование сопровождалось прозрачной угрозой ослабить издательство в научном мире. Впоследствии многие участники "дела Великовского" готовы были признать, что в своей многолетней борьбе против теории космических катастроф зачастую пользовались неблагоприятными и ненаучными методами. Их нельзя извинить, но можно понять. То были годы маккартистского похода — против американской науки и американской культуры. Если угодно, этот поход можно сравнить с почти одновременной "космополитической кампанией" в СССР: то же мрачное безумие, та же маниакальная подозрительность, та же атмосфера надвигающегося погрома. Стоит ли удивляться яростной реакции ученых на книгу, которая ставила под сомнение все прежние научные истины и предлагала изменить их в угоду ... Библии!

В апреле 1950 года, преодолев, наконец (не без потерь) организованное сопротивление научных кругов, первая книга Великовского, озаглавленная "Столкновение миров", вышла в свет, заранее окруженная аурой неминуемой сенсации. Никакие слухи, однако, не могли даже и в малой мере подготовить читателя к той грандиозной ломке прежних представлений, которую предлагал и на которой дерзко настаивал доселе никому не известный автор.

Битва в небесах. Сведем в обозримую схему исходные установки, с которыми он двинулся в эту беспримерную атаку на здравый смысл и официальную науку. Библия, говорит он (а Библия для него — непререкаемый источник исторической истины), свидетельствует, что Исход сопровождался загадочными природными явлениями катастрофического характера. Неведомый автор папируса Ипувера, несомненно, был свидетелем тех же явлений с египетской стороны. Изыскания в мифах и хрониках различных народов мира убеждают, что эти катастрофические явления наблюдались и в других местах земного шара. Речь идет, стало быть, о катастрофе, потрясшей всю планету. Данные папируса Ипувера,

совмещающие Исход с вторжением в Египет гиксосов, позволяют датировать эту грандиозную катастрофу серединой второго тысячелетия до нашей эры.

“Катастрофа Исхода”, продолжает Великовский, не была, однако, единовременным событием. Согласно той же Библии, примерно пятьдесят лет спустя произошло еще одно загадочное явление — знаменитая “остановка Солнца”. Это событие, на первый взгляд кажущееся совершенно невероятным, тем не менее тоже находит подтверждение в независимых источниках. В старых комментариях к Талмуду сообщается, что в течение нескольких недель между Исходом и получением Торы Солнце четыре раза меняло свой курс. Египетский папирус Анастази IV упоминает о временах, когда “зима наступила вместо лета, месяцы повернулись вспять и часы нарушились”. Китайская хроника свидетельствует, что некий император Ягоу вынужден был провести реформу календаря, чтобы привести его в соответствие с изменившимися астрономическими фактами. В другом месте Библии, в книге Эзры, говорится, что после Исхода евреев из Египта закончился прежний порядок сезонов и начался новый мир. В комментариях к Талмуду сообщается, что у Моисея были трудности с “новым календарем”: ему почему-то пришлось перенести Новый год на месяц Исхода, седьмой по прежнему счету. Известно, наконец, что с пятнадцатого по восьмой века до нашей эры астрономический год был равен в точности 360-ти дням; ни до, ни после этих границ у года уже не было такой продолжительности.

Все эти факты, по мнению автора, достаточно многочисленны, единообразны и убедительны, чтобы понудить к неизбежному выводу. Мы вынуждены заключить, что пресловутая “остановка Солнца” (иными словами, резкое изменение характера вращения Земли) действительно имела место и притом почти в те же самые времена, что и “катастрофа Исхода”. Была то одна и та же катастрофа, растянувшаяся на десятки лет, или два этапа одной катастрофы, почему-то разделенные полувекowym промежутком, или, наконец, две разные катастрофы — вопрос, ответить на который можно, только найдя приемлемое — с научной точки зрения — объяснение всех этих явлений.

Далее автор предлагает читателям именно такое объяснение. По существу, оно содержится уже в самой заглавии его книги. Столкновение миров, по Великовскому, — не художественный образ, не популяризаторская аналогия, а самое что ни на есть ре-

альное событие, произошедшее в том не очень далеком прошлом Земли, о котором говорят свидетельства его многочисленных "очевидцев". "В то самое время, когда моря вздымались чудовищными приливными валами, в небесах над ними разворачивались события, которые потрясенному очевидцу на Земле должны были казаться титанической битвой. И поскольку эта битва была одновременно видна почти по всей Земле и запечатлелась в памяти ее очевидцев, ее течение можно восстановить весьма детально".

Этими словами Великовский начинает изложение своей гипотезы космических катастроф, призванной реконструировать ход и детали того события, которое он назвал титанической "битвой в небесах". Совершенно очевидна исходная парадоксальность этой гипотезы: причина событий, описанных в Библии, ищется не в действиях Бога, а в законах природы, согласующихся с современной наукой. Столь же очевидно, что такой подход не может удовлетворить истинно верующего человека. С другой стороны, он не может удовлетворить и серьезного ученого. Ибо с первых же страниц становится ясно, что, претендуя на "научность" своей гипотезы, Великовский тем не менее отказывается от основного метода всякой научной теории — строгого математического доказательства. Более того, он вообще нигде не прибегает к математическому аппарату. Он излагает свою теорию космических столкновений чисто качественно, описательно, без привычных в небесной механике расчетов траекторий, импульсов и моментов, без каких бы то ни было расчетов вообще; что называется — абсолютно "феноменологически". На кого же рассчитано такое изложение? Прежде всего, на массовую аудиторию — на ту достаточно образованную и достаточно многочисленную аудиторию, которая не относится ни к категории профессиональных верующих, ни к разряду профессиональных ученых. На "людей здравого смысла". Им это адресовано и им об этом судить. Судите же.

"Космический пинг-понг". Что может остановить и изменить вращение целой планеты? По Великовскому, единственной мыслимой причиной такого явления может быть только воздействие на эту планету какого-то иного небесного объекта сравнимой массы. Приближаясь к ней со стороны, противоположной ее вращению, такой объект, согласно законам небесной механики, в принципе может — благодаря гравитационному и приливному воздействию — постепенно замедлить это вращение и даже при-

остановить его совсем; если это происходит достаточно "постепенно", такая остановка будет и достаточно "мягкой" (хотя, как мы увидим, ее последствия и в этом случае не перестанут быть катастрофическими). Удаляясь по соответствующей орбите, этот небесный объект в принципе способен заново "раскрутить" планету — и тогда Солнце снова двинется по ее небосводу, но, конечно, не совсем так, как прежде. Именно это, утверждает Великовский в "Столкновении миров", и произошло с Землей в середине второго тысячелетия до нашей эры. Именно это космических масштабов столкновение представлялось потрясенным очевидцам в разных местах земного шара титанической "битвой в небесах".

Небесная механика не исключает возможности столкновения Земли с другими космическими телами — метеорами, метеоритами, кометами и даже астероидами. Хотя вероятность такого столкновения, как показывают точные расчеты, чудовищно мала, тем не менее след падения по крайней мере одного гигантского астероида до сих пор сохранился на поверхности нашей планеты — в виде огромного кратера в Аризонской пустыне. Многие ученые полагают, что Тихий океан возник тоже в результате столкновения — только еще более древнего и с еще более громадным астероидом. Уже в наши времена были опасения, что Земля может столкнуться с астероидом Икар. Таким образом, сама по себе идея "столкновения миров" вполне приемлема для современной науки. Великовский ее конкретизирует: постулируемая им катастрофа была столкновением не с астероидом, а с гигантской кометой. Как мы сейчас увидим, объяснение некоторых особенностей библейского рассказа требует наличия газового "хвоста", — а такие хвосты бывают только у комет.

Слово "столкновение" в данном случае следует понимать фигурально: комета, по Великовскому, не столкнулась с Землей "лоб в лоб", а лишь прошла в непосредственной — но катастрофически тесной — близости от нее. Столкновением это было только в астрономическом смысле. Тем не менее легко видеть, что и такое "прохождение вблизи" должно было повлечь за собой чудовищные по характеру и размаху последствия. Когда Земля вошла в хвост кометы, содержавшаяся в нем "пыль" — красные частицы окислов железа — должна была осесть на поверхность морей, озер и рек, окрасив мир в страшный "кровавый" цвет. Мы уже знаем, что этот пугающий феномен действительно был

зафиксирован — и не только в библейском рассказе об Исходе и папирусе Ипувера, но и во многих других древнейших источниках.

Затем, по мере сближения с ядром кометы, Земля должна была войти в те области кометного хвоста, где пыль уже перемешана с камнями значительной величины, окружающими ядро; это должно было привести к бомбардировке земной поверхности нарастающим каменным дождем — и действительно, все источники Великовского сообщают о чудовищном “граде небесных камней”. Но одновременно все более плотная часть кометного хвоста должна была все больше поглощать солнечный свет: поэтому над Землей сгущался мрак, освещаемый разве что чудовищными электрическими разрядами. То были разряды, выравнивающие электрический потенциал двух разнозаряженных космических тел; легко представить их небывалые размеры, если вспомнить наши обычные молнии, порождаемые всего лишь разностью потенциалов Земли и грозовых облаков. Со стороны такие космические “молнии” вполне могли выглядеть как гигантские “огненные столбы”, вроде того, что так ярко описан в Библии.

“Столкновение” должно было однако сопровождаться и другими, не менее устрашающими явлениями. Резкое изменение температуры не могло не вызвать ураганных ветров; гравитационное притяжение приближающегося к Земле космического тела должно было породить огромные приливные волны; то же притяжение не могло не поднять к поверхности жидкую огненную магму, которая потоками лавы рвалась через вспучившиеся горные вершины, превращая их в вулканы; смещения в земной коре не могли не вызвать череду сильнейших землетрясений. И опять-таки — все эти явления, которые должны были сопровождать столкновение миров, действительно были зафиксированы очевидцами катастрофы: мы находим их описание как в библейском рассказе об Исходе, так и в многочисленных преданиях и легендах иных народов Земли.

Более того — даже такая странная деталь, как выпадение “манны небесной” (упоминаемое не только в Библии, но — под другими названиями, вроде “иней”, “амброзии” — также в других источниках), из загадки превращается в очередное подтверждение гипотезы: углеводородные соединения, обнаруживаемые в хвостах комет (а также способные образоваться в атмосфере

в специфических условиях "столкновения") должны были выпадать на поверхность Земли в виде странных, пригодных в пищу осадков. Попадая в воду, такие осадки придавали ей характерный молочный цвет; не в этом ли объяснение слов о реках, "текущих молоком и медом"?

Разорванные притяжением кометы воды мелких морей могли обнажить вековечное дно, а затем сомкнуться над ним снова: именно этим следует объяснять эпизод с переходом евреями "Тростникового моря" и гибелью в нем фараона; совпадение маловероятное, почти чудесное, верно — но ведь не абсолютно невозможное, не так ли? Все же остальное в библейском рассказе: "казни египетские" с их окрашенным в кровавый цвет миром, землетрясениями и прочими деталями; "огненный столп", словно путеводный знак, указующий дорогу в пустыню; грохочущая извержением вершина горы Синай, где Моисей способился Откровения; благодатная "манна", которая спасала евреев все время их странствий — вполне непринужденно вписывается в картину столкновения Земли с кометой, как ее описывает Великовский, и даже с необходимостью следует из нее. Но это лишь начало.

Сорок лет скитались евреи по пустыне; еще двенадцать лет прошло до сражения в Айялонской долине, когда Солнце остановилось по приказу Иошуа бин-Нуна. Между "чудесами Исхода" и "чудом остановки Солнца" пролегло 52 года. Но какое потрясающее и знаменательное совпадение: аборигены Мексики, как это следует из их легенд, тоже ожидали новых катастроф через каждые пятьдесят два года! Более того — они ожидали, как это свидетельствуют их обряды, вполне определенных катастроф: наступления вечной ночи и окончательной гибели человеческой расы. Когда же это не происходило, огромный благодарственный костер возвещал собравшимся толпам, что наступил "новый цикл милосердия". Но что самое поразительное — этот цикл одновременно был в их календаре новым циклом планеты Венера!

Здесь следует остановиться. Здесь содержатся одновременно два свидетельства. Во-первых, эти предания подтверждают, что библейский рассказ о пятидесяти двух годах, отделявших катастрофу Исхода от "остановки Солнца", не случаен: у других народов те же пятьдесят два года отделяют одну космических масштабов катастрофу от другой. Во-вторых, эти катастрофы, если судить по таким преданиям, связаны с планетой Венера.

Упоминание о Венере немедленно вызывает в памяти еще одну знаменательную деталь — еврейский обычай пятидесятого юбилейного года. Число 50 слишком близко к загадочному 52-летнему “циклу катастроф”, чтобы не наводить на размышления. И действительно, у евреев (как, между прочим, у мексиканских майя) с этим числом (точнее — с этим годом) был связан ритуал “очистительной жертвы”: в пустыню отправлялся жертвенный барашек для убогствования злобных разрушительных сил; а силы эти были известны под общим названием Азазель. Но это название — всего лишь синоним “падшей звезды”, иначе именуемой Люцифером. Миф о “падшей звезде” существовал и у египтян — они называли ее Сет-Тифон. Арабы приносили аналогичные жертвы в честь звезды аль-Узза. Анализируя древние мексиканские, римские, греческие, китайские, бурятские, эскимосские и другие источники, Великовский всюду обнаруживает мифы о зловещей, “павшей на Землю” звезде и всюду они отсылают его к одному и тому же небесному телу — планете Венера. Вплоть до какого-то момента древнейшие астрономические мифы, говорит Великовский, знали всего четыре планеты: Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн; Венера появилась в них позже, и это появление у всех народов связано с “падением звезды”, иными словами — с какой-то космической катастрофой. Вывод, напрашивающийся отсюда, для Великовского очевиден: Венера и была той загадочной кометой, которая “столкнулась” с Землей в середине второго тысячелетия до нашей эры. Венера — поздняя гостья в Солнечной системе. Это комета, ставшая планетой. Как это могло произойти?

Обратимся снова к древним источникам. Все они говорят о двух катастрофах, разделенных 52-летним промежутком. Иными словами, столкновение кометы Венера с Землей не было единовременным. Вторгшись в Солнечную систему, чудовищная хвостатая гостья не просто пролетела сквозь нее в непосредственной близости от Земли. Не только она своим притяжением вызвала на Земле гигантские катаклизмы. Земное притяжение, в свою очередь, повлияло на комету. Оно искривило ее орбиту. Оно превратило эту орбиту в периодическую. Вместо того, чтобы умчаться в межзвездную пустоту, Венера, обращаясь по новой, уже периодической орбите, спустя 52 года снова стала приближаться к Земле — и вот тогда-то она так замедлила ее вращение, что вызвала “остановку Солнца”, смещение сторон света и изменение сезонов. Видимо, одним из частных катастрофических послед-

ствий этого второго "столкновения" было потрясшее весь Ближний Восток землетрясение, в результате которого рухнули стены Иерихона; это куда более научное объяснение "иерихонского чуда", чем рассуждения о каком-то "резонансе" каменной кладки стен со звуками еврейских труб. Разумеется, и в этом втором столкновении Земля, в свою очередь, снова оказала воздействие на Венеру. Конечным результатом всех этих воздействий был переход Венеры на замкнутую околосолнечную орбиту, подобную орбитам "настоящих" планет. Но причудливая венерианская биография на этом еще не закончилась. Древние астрономические таблицы, уже знающие Венеру, как одну из планет, тем не менее содержат сведения о ее нерегулярном движении по небу. Иначе говоря, и после двухкратного сближения с Землей орбита Венеры все еще оставалась достаточно вытянутой, напоминая о ее незаконном, кометном происхождении. Но где-то близко к нашей эре Венера претерпевает новую — на этот раз последнюю — пертурбацию, и с этого момента древние календари фиксируют ее регулярный астрономический цикл. В третьем веке до нашей эры в Египте и Греции уже существуют новые календари, в которых видимое движение Венеры находится в полном соответствии с астрономическими предвычислениями. Несколько раньше такие же перерасчеты были произведены инками в Перу и майя — в центральной Америке. До этого, в течение многих столетий после "катастрофы Исхода", Венера все еще оставалась не вполне предсказуемой небесной странницей и потому продолжала наводить на человечество мистический страх. Новая, неожиданная пертурбация, превратившая ее в "обычную" планету, должна была поэтому быть воспринята, как "низвержение" злобного и угрожающего вестника небес. Именно эти чувства, утверждает Великовский, и продиктовали пророку Исайя его знаменитые и загадочные слова: "Как пал ты с неба, Утренняя звезда, сын зари, низвержен на Землю, вершитель судьбы народов! И сказал ты в сердце своем: взойду я на небо, выше звезд божьих вознесу я престол мой" (Исайя 14:12–13). Пафос Исайи — несомненно, пафос о ч е в и д ц а, испытывающего чувство избавления от многовекового страха; стало быть, Исайя был современником (или близким потомком современников) низвержения заносчивого "сына зари", его "падения с престола": утренняя звезда "пала с неба" (иными словами, сдвинулась ближе к горизонту) и перестала пугать народы (то есть утвердилась на посто-

янной, предсказуемой орбите). Времена Исайи (и Гомера) были временами рождения древней Греции и Рима — восьмой-седьмой века до н. э. Не странно ли, что те же времена принимались Сенеккой за астрономический водораздел между старой и новой эпохами: до этого центр небосвода находился в созвездии Большой Медведицы. А в индийских источниках, продолжает Великовский, утверждается, что был момент, когда географическое положение всех мест на Земле изменилось на 500—900 миль; Птоломей и независимо от него арабские ученые указывали местоположение древнего Вавилона на два градуса севернее, чем дают современные раскопки; Иерусалимский храм был построен так, чтобы в день равноденствия лучи восходящего солнца светили сквозь восточные ворота, но современная археология утверждает, что теперь это направление не совпадает с истинным востоком; древние обелиски в Южной Америке и Египте, некогда ориентированные по сторонам света, сегодня смотрят в другие стороны; и астрономический год состоит сегодня уже не из 360 дней, как до восьмого века (до н. э.), а из 365-ти и 25-ти сотых дня.

Не слишком ли много свидетельств, чтобы ими пренебрегать? Если же, напротив, следуя им, искать в них общий знаменатель, то неизбежно напрашивается вывод, что в восьмом-седьмом веках до н. э. Земля испытала еще одно космическое столкновение, резко сместившее ее ось, а с нею — полюса и стороны света. Тогда, кстати, сразу же находит научное объяснение еще одно загадочное свидетельство в Библии: знаменитое “чудо” поспешного отступления армии Санахериба от стен осажденного и готового пасть Иерусалима. Это невероятное спасение обреченного города произошло в ночь на 23 марта 687 года до н. э.

Итак, последнее по счету столкновение, сместившее ось вращения Земли и подтолкнувшее Венеру на ее окончательную, нынешнюю орбиту. Кто был виновником этих космических событий? Снова Венера? Нет, говорит Великовский, на сей раз — Марс!

В талмудических источниках Венера и Марс ассоциируются с архангелами Михаилом и Гавриилом, которые дважды спасли народ Израиля: первый — во времена Исхода, второй — во времена Санахериба. Стало быть, столкновение 687 года до н. э. было столкновением Земли (и Венеры) с Марсом. Как и за тысячу лет до этого сближение двух небесных тел с разными зарядами должно было вызвать, утверждает Великовский, чудовищный электрический разряд между их поверхностями; именно этот раз-

ряд, эта космическая молния и уничтожила массы ассирийцев, осаждавших еврейскую столицу; уцелевшие в панике отступили от стен города. Но не только Библия и Талмуд, по Великовскому, подтверждают факт сближения Земли с Марсом. Факт этот подтверждается и странной осведомленностью древних источников (Гомера и Вергилия) о наличии у Марса двух спутников (ныне не видимых с Земли невооруженным глазом). Ведь и не менее странную (при отсутствии телескопов) осведомленность древних астрономов о фазах Венеры, зафиксированную в вавилонских и других источниках, тоже можно объяснить только произошедшим когда-то прохождением Венеры в непосредственной близости от Земли.

Что же было причиной сближения Марса с Землей? Венера, — отвечает Великовский. Еще не обретя регулярную орбиту, эта пришельца в своих причудливых движениях сблизилась с Марсом (как некогда — с Землей) и сместила его с прежней орбиты (следствием этого катастрофического столкновения являются, в частности, вулканические кратеры, испещрившие поверхность Марса, как ранее — поверхность земной Луны). В результате этого Марс сблизился с Землей, вызвав на ней очередную катастрофу, хотя и меньших масштабов; а затем, постепенно, в течение нескольких столетий, все три планеты окончательно пришли к тем устойчивым орбитам, которые были зафиксированы земными астрономами в третьем веке до н. э. и сохранились по сей день. Таким образом, “период космических катастроф”, в течение которого Солнечная система судорожными толчками перестраивалась, чтобы включить в себя новую планету — соседку Земли и Марса — и превратить ее в нынешнюю “прирученную” Венеру, растянулся с пятнадцатого по третий века до нашей эры. В течение всего этого времени три планеты сближались и расходились в пространстве, то и дело “соударяясь” друг с другом в катастрофических столкновениях, которые меняли их космические траектории (равно как и весь их внешний облик).

Недаром кто-то из врагов Великовского язвительно заметил, что его “теория” напоминает, скорее, “космический пинг-понг”, в котором планеты прыгают как пластмассовые шарики, сталкиваясь друг с другом и отскакивая по все новым и новым траекториям. Вдобавок всякий раз это происходит именно в тот момент и именно таким образом, как нужно для согласования со всеми без исключения библейскими “чудесами”.

“Века в хаосе”. Это язвительное обвинение можно, однако, обратить в не менее язвительное оправдание теории. Что, если, напротив, — это Библия и другие древние источники написаны тогда и так, чтобы согласовать все их “чудеса” с вытекающими “из науки” последствиями космических катастроф? Вообразить себе всех вместе взятых древних “авторов”, собравшихся в одно время и в одном месте, чтобы согласовать свои упоминания о катастрофах, не менее трудно, чем вообразить сами эти катастрофы, “собравшимися” так, как описывает теория Великовского. А если честно — то куда более трудно. Практически невозможно. Разве мог автор Книги Исхода заглядывать через плечо автору папируса Ипувера?

Великовский абсолютно уверен, что не мог. Он не сомневается: папирус Ипувера и Книга Исхода не з а в и с и м о друг от друга описывают одну и ту же космическую катастрофу — столкновение Земли с кометой Венера. (Ему еще предстоит долгие десятилетия борьбы с теми, кто отрицает это толкование, и мы еще увидим ожесточенные перипетии этой борьбы.) Сомневается он в другом: можно ли доверять папирусу Ипувера в той его части, которая говорит о вторжении в Египет — именно в дни катастрофы — каких-то неведомых азиатов?

Несколько странный предмет размышлений для человека, имя которого в эту минуту склоняют на всех углах, теорию которого поносят на страницах научных журналов и рекламируют на страницах популярных, гипотезу которого о “космических катастрофах” одни называют гениальной, а другие шарлатанской... Казалось бы, его мысли должны быть полностью заняты поисками доказательств своей правоты...

Но они именно этим и заняты! Нужно только понять ход этих мыслей. А для этого нужно понять: что, собственно, утверждает вторая часть папируса Ипувера?

Она утверждает, что в момент, когда евреи уходили из Египта на восток, в Синай, оттуда, с востока, в Египет двигались какие-то азиатские орды. На узком Синайском полуострове два этих человеческих потока неминуемо должны были столкнуться. Уходящие из Египта евреи должны были встретиться с идущими в Египет гиксосами. Ибо “азиаты” Ипувера — это, конечно, гиксосы; другие “азиаты” никогда в Египет не вторгались.

Но Библия абсолютно ничего не говорит, ни словом не упоминает о встрече евреев с гиксосами! Она даже имени такого не

знает. А коль скоро так, то нужно сделать вывод, что папирус Ипувера в этой своей части — недостоверен. А если он недостоверен в одной части, то можно ли доверять ему во всем остальном? Но отбросив папирус Ипувера, мы лишаемся второго — после Библии — и независимого от нее свидетельства о происшедшем во времена Исхода “столкновении миров”. Если мы хотим доказать, что такое столкновение действительно имело место, нам лучше доказать достоверность папируса Ипувера. Полную достоверность, во всех деталях...

Не ручаюсь, что ход размышлений Великовского был именно таков. Готов согласиться, что его уверенность в своей правоте базировалась на гораздо большем числе доказательств и соображений и не так уж нуждалась в еще одном. Но папирус Ипувера все-таки не был для него “одним из многих”. Он был единственным, так детально совпадавшим с Библией в описании деталей “катастрофы Исхода”. И он был абсолютно единственным, позволявшим этот Исход датировать! Все вместе, это делало возвращение к папирусу Ипувера не только достаточно оправданным, но и, пожалуй, оправданно необходимым.

В сущности, все части теоретической конструкции Великовского были уже надежно пригнаны друг к другу и образовали вполне связную постройку. Сквознячок сомнения посвистывал только через одну-единственную щель: проблему гиксосов. Здравый смысл подсказывал не углубляться в эту мелочь. Здравый смысл понимал, что в каком-то смысле лучше вообще не решать эту проблему. Ибо доказав (допустим), что евреи “таки да” встретились с гиксосами, мы немедленно встанем перед куда более серьезной, на первый взгляд — даже непреодолимой, трудностью: загадкой “лишних столетий”.

Если вы еще помните, согласно общепринятой египетской хронологии, гиксосы вторглись в Египет в 2100-м или 2000-м году до н. э. Между тем по еврейским данным Исход происходил за 500, примерно, лет до царя Соломона, царствование которого относят к 1000-му году до н. э. Иными словами, Исход, скорее всего, происходил в середине второго тысячелетия до н. э. — именно к этому времени Великовский и отнес первое столкновение Земли с Венерой. Если же папирус Ипувера говорит о вторжении гиксосов и об исходе евреев одновременно, то возникает чудовищная хронологическая неувязка: либо верна египетская хронология, и Исход происходил в 2100-м году до

н. э., либо верна хронология еврейская, и гиксосы вторглись в Египет в 1500-м году до н. э.!! В первом варианте нужно к еврейской истории добавить пять "лишних" веков, в течение которых евреям буквально нечего будет делать; во втором эти же пять веков оказываются "лишними" в египетской истории и их нужно оттуда "вырезать"...

Вот ловушка, в которую автор загнал сам себя. А вот автор, который бесстрашно бросается на поиски выхода из ловушки. И что ему не броситься? Он только что перевернул всю историю Солнечной системы — ему достанет отваги перевернуть; если того потребует истина (или Библия, — что, впрочем, одно и то же) и всю историю человечества. Но что есть истина, как спрашивал некогда один римский прокуратор? Встречались, наконец, евреи с этими злосчастными гиксосами — или не встречались?

С этого вопроса начинается вторая книга Великовского, очень точно озаглавленная автором "Века в хаосе".

Те же и ненавистный Амалек. Обратимся к Библии, — снова зовет нас Великовский. И мы, предвкушая очередную грандиозную авантюру, послушно следуем за ним. Тем более, что это ведь Библия. Заодно и "освежим в памяти сюжет".

Встречались ли евреи вообще с кем-нибудь во время Исхода? А как же! Если заглянуть в Книгу Исхода, то сразу обнаружится соответствующий текст: "И пришли Амалекитяне, и воевали с израильтянами в Рефидиме (Исход 17:8) ..." Рефидим, как знают все нынешние молодые израильтяне, прошедшие через этот (теперь уже бывший) военный лагерь, находится в Синае. Именно там амалекитяне преградили древним евреям путь в Землю Обетованную. Посланные Моисеем в Ханаан разведчики принесли оглушительную весть: "Амалек живет на южной части земли" (Исход 13:29). Евреи попытались прорваться силой — последовала вторая битва и второе поражение: "И сошли амалекитяне и хананеи ... и разби́ли их, и гнали их до Хормы..." (Числа 14:12). Судьба евреев была решена — им пришлось уйти в пустыню. Только через сорок лет они сумели вступить в Ханаан.

Остается доказать, что амалекитяне и гиксосы — одно и то же. Перечень доказательств Великовский начинает с самого слабого — фонетического: слово "аму" (второе название гиксосов) звучит почти так же как начало слова "амалекитяне". Далее сле-

дует доказательство "географическое": гиксосы пришли с востока ("азиаты") и амалекитяне, согласно арабским источникам, тоже пришли с востока. Средневековые арабские историки сообщают множество данных об этом племени. Амалекитяне, оказывается, жили в районе нынешней Мекки; они были жестоки и беспощадны (в чем очень походили на гиксосов, как их описывают египетские хроники); их (как и евреев) толкнула на великое переселение какая-то загадочная катастрофа (в арабских описаниях которой наметанный глаз Великовского быстро вылавливает многие черты сходства с описанием "катастрофы Исхода" — нашествие насекомых, сильные ветры, подземные толчки, отравленные источники, вулканические извержения, странная тьма в природе); в результате этого переселения они захватили не только южный Ханаан, но также Египет — и долго правили там. Арабский историк Абульфельда недвусмысленно утверждает: "Многие египетские фараоны были амалекитянского происхождения..."

Сходство истории гиксосов (по египетским источникам) и истории амалекитян (по арабским) поразительно — говорит Великовский. Но оно этим не исчерпывается. Чтобы убедиться в этом, следует более основательно углубиться в историю тех далеких и забытых времен.

Злоключения ненавистного Амалека. Из еврейской истории известно, что борьба евреев за вступление в Ханаан и овладение им продолжалась 450 лет (время Исхода и эпоха Судей). Египетские источники говорят, что столько же продолжалось господство гиксосов в Египте. Одним из первых гиксосских фараонов был некий Апоп, при котором гиксосы создали огромную империю, включавшую, кроме Египта, также Эфиопию, Сирию и Ханаан. Лишь спустя четыре с половиной века египтяне, руководимые полководцем Амосом, разгромили последнего гиксосского фараона, который по странной прихоти судьбы назывался Апопом Вторым (и, добавим, последним). Это — о гиксосах. Теперь — об Амалеке. Еврейские источники, повествующие о борьбе Деборы и Барака с хананейскими царями Хацора, содержат загадочную фразу: "Корень их в Амалеке..." Фразу эту, говорит Великовский, легко понять, если предположить, что хананейские цари были вассалами могущественных амалекитян-гиксосов, в помощи которых и коренилась их сила. (Ситуация, прямо скажем, знако-

мая: евреи борются за Землю Обетованную — четыреста пятьдесят лет! — против местных захватчиков, поддерживаемых мощными силами извне...) Получают объяснение и загадочные слова из четвертого пророчества Валаама: "Первый из народов Амалек..." (Числа 24:20); если амалекитяне были обычным кочевым народом, их не стоило именовать "первыми", но если это были владыки гиксосской империи, то все становится на свои места. Наконец, в третьем пророчестве Валаама сказано о будущем Израиля: "Превзойдет Агога царь его..." (Числа 24:7) — и это восхваление неведомого Агога звучит вполне естественно, если вспомнить, что пророчество произнесено во времена вступления евреев в Ханаан, когда гиксосы-амалекитяне уже создали свою империю, а стало быть Валаам был современником могущественного фараона Апопа Первого. Нам понятно теперь, почему евреям понадобилось столько веков, чтобы овладеть Ханааном — его царей поддерживали всемогущие гиксосы (любители национально-патриотических ассоциаций найдут в этой расстановке сил дополнительные источники исторического оптимизма) и победа пришла к евреям только при царе Сауле. О Сауле мы поговорим сейчас же, но предварительно дослушаем Великовского, у которого припасен еще один, последний козырь в доказательство тождества амалекитян с гиксосами — козырь "филологический". Мы помним, что египетский хроникер Мането переводил слово "гиксосы" как "цари-пастухи" (то есть повелители скотоводов-кочевников); они овладели Египтом во времена Исхода, после "десяти казней египетских" и сами были, следовательно, "казнью одиннадцатой". Так вот, в Псалме 78-м, после описания "десяти казней" говорится, что Господь наслал на Египет еще одно наказание, и говорится следующее: "Послал на них Господь ... посольство злых ангелов..." (Пс. 78:49). Великовский, смело (хотя и не очень точно) оперируя особенностями иврита, превращает "мишлахат малахей-роим" ("посольство злых ангелов"), в котором фигурирует ивритский звук "айн", в "мишлахат малхей-роим", где вместо "айн"а появляется "алеф" и что означает "посольство царей-пастухов"!..

Виртуозный и впечатляющий филологический фокус. Не знающих иврит противников Великовского он просто валит с ног. Знающие, но сторонники и без того знают, что Великовский все равно прав.

А теперь вернемся к Саулу. Пророк Самуил, нехотя помазав

его на царство, первым делом приказал Саулу отправляться в поход: "Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я, что сделал Амалек Израилю ... Теперь пойдя и порази Амалека..." Саул собрал "двести тысяч пехотинцев и десять тысяч из колена Иудина" и "дошел до города амалекитян ...и порази Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Шура, что пред Египтом ... и Агога, царя Амалекова, захватил живого..." (Первая книга Царств 15:2—3).

Если амалекитяне были кочевым народом, откуда у них города? Но если то были гиксосы... Не странно ли, что последнего амалекитянского царя зовут так же как первого, времен Валаама, — Агог? Согласно египетским источникам гиксосская империя была сокрушена именно при Апопе Втором. И еще любопытно, что эти источники (хроника подвигов полководца Амоса) постоянно упоминают о существенной помощи, оказанной Амосу каким-то союзником, который в хронике называется "тот": "Я преследовал их царя. Тот осадил их столицу ... и сражался на канале ... Потом тот осадил Шарухан..." Не правда ли, Шарухан звучит подозрительно похоже на Шур — город, взятый Саулом?

Так, может, Саул и был таинственным "тем", который помог Амосу сокрушить великую гиксосскую империю? По времени и по всем перечисленным фактам эти две героические биографии ("того" и Саула) очень уж красноречиво совпадают...

Чем дальше Великовский продвигается в реконструкции своей "альтернативной истории", тем убедительней кажется воссоздаваемая им картина. Стоит принять, что Исход произошел во времена гиксосов, как исчезают многочисленные недоумения: почему египетские источники четыре с половиной века подряд ничего не упоминают о евреях, а еврейские — о египтянах? А потому и молчат, что неслыханные катастрофы потрясли в эти века средиземноморский бассейн; на фоне этих катастроф шли великие переселения народов; рушилась одна могущественная империя, египетская, и на ее обломках возникала другая, гиксосская (амалекитянская); на Ближнем Востоке наступали "темные века" владычества Амалека; свыше четырехсот лет евреи в одиночку противостояли гиксосско-ханаанейской коалиции, преграждая ей путь к дальнейшей экспансии (если угодно, "защищая тогдашнюю цивилизацию" от этой фундаментальной угрозы); и лишь четыре с половиной столетия спустя, во времена Саула и Амоса, накопив силы, два народа совместно сокрушили ненавистное владычество "царей-пастухов" и на развалинах их империи создали два

независимых государства: Новое Царство в Египте и Иудейское Царство в Ханаане... И обо всем этом написано, — насмешливо добавляет Великовский, — надо просто знать, как прочесть... Надо уметь читать, господа!

А я вот все думаю: не примет ли кто-нибудь Великовского за современного Валаама? И его реконструкцию — за “парадигму еврейской истории”?

Ненавистного Амалека заслуженный конец. Прежде, чем опустить занавес над своим “гиксосским расследованием”, Великовский завершает его пикантным “резюме”. Еврейская традиция утверждает, что остатки амалекитян бежали в Ханаан, где объединились с филистимлянами, новыми врагами евреев; после же поражения филистимлян горстка недобитых амалекитян была вытеснена в Двуречье, где много лет спустя, во времена Ахашвероша и Эсфири, появился знаменитый ненавистник евреев лютый визирь Аман, о котором сказано, что он был “из рода Вагогова” (то есть Агогова). Нельзя не увидеть в этой традиции отголоски сохранившейся на многие века взаимной ненависти амалекитян и евреев. Но точно такую же ненависть, укоренившуюся за полтысячи лет гиксосской оккупации, питали народы Ближнего Востока, прежде всего — египтяне, к безжалостным угнетателям-гиксосам. Но вот об их дальнейшей судьбе египетская традиция — в лице уже известного нам Мането — повествует иначе. Мането первым выдвинул утверждение, будто разгромленные египтянами гиксосы бежали в Сирию, а затем в Иудею, где, в конце концов, столетия спустя, построили город Иерусалим! Иными словами, Мането отождествил изгнание гиксосов с еврейским Исходом, самих гиксосов — с евреями и тем самым перенес на ни в чем неповинный еврейский народ ненависть ближневосточных соседей. Именно так, говорит Великовский, впервые в истории возник антисемитизм. Понятно, что “альтернативная история” Великовского полностью снимает с евреев этот “манетов навет”. Мы не гиксосы, — говорит она; гиксосы — не мы, гиксосы — это ненавистные амалекитяне, нашедшие заслуженный ими бесславный конец в лице злобного Амана.

Вперед, к новым победам! Итак, “кости брошены”. Перед Великовским стоял выбор: удлинить еврейскую историю или сократить египетскую. Теперь этот выбор сделан. Из отожде-

ствления амалекитян с гиксосами следует, что В е л и к о в - с к и й принял сторону Библии против М а н е т о : он решительно вычеркнул из египетской истории пять или более "лишних" столетий, которые Мането для пущей славы приписал своему народу. Иными словами, отныне все, что считалось происходившим на Ближнем Востоке в 2000-м году до н. э., "на самом деле" (то есть по Великовскому) следует считать происходившим в 1500-м (тоже до н. э.); те фараоны, которые правили в 1500-м году, "в действительности" правили в 1000-м; те, которые в 1000-м, переносятся в 500-й, те, которые в 500-м ... да, действительно, куда этих-то? Не во времена же Иисуса Христа, в самом деле? Тогда уж никаких фараонов в помине не было! А по гипотезе Великовского, что же, получается, будто были?

Разумеется, нет. Великовский убежден, что лишние пять столетий приписаны к египетской истории "сверху", там, где у Мането наскоро и туманно описаны деяния п о с л е д н и х фараонов. Фараоны эти — придуманы, их деяния Мането просто скопировал у прежних, а за счет этих несуществовавших фараонов отодвинул реальную историю Египта на пять веков в прошлое. Нужно "вырезать" — где-то перед самой новой эрой — лишние столетия, "подтянуть вверх", то есть поближе к нашему времени, то, что останется, и — "сшить". Разумеется, при этом "подтянутая вверх", подвергшаяся обрезанию египетская история наложится на события истории еврейской иными участками, чем прежде; придется продемонстрировать недоверчивым историкам, что именно т е п е р ь и т о л ь к о т е п е р ь все легло, как нужно, как оно "д е й с т в и т е л ь н о" было, а не так, как они себе это воображали. "Гиксосское расследование" — только первый образчик такой реконструкции "подлинного" хода истории. Теперь нужно последовательно пройти от эпохи гиксосов до места пресловутой "сшивки", — скажем, до эпохи Александра Македонского — и на всем этом пути продемонстрировать историкам, что "альтернативная история" по Великовскому не только не входит в противоречия с источниками, но, напротив, прекрасно с ними согласуется — несмотря на то, что по общепринятым представлениям этого никак не может быть. Отныне к а ж д ы й этап древней ближневосточной истории становится для Великовского своеобразным вызовом: нужно по-новому прочесть все относящиеся к нему документы и факты и показать, что они а) имеют совсем и н о й с м ы с л , чем считалось раньше и б) будучи "п р а в и л ь -

но" прочитаны, подтверждают хронологию Великовского. И такая задача возникает на каждом следующем историческом этапе! Остановки нет, покой нам только снится... Ситуация начинает походить на головоломный слалом: по всему склону расставлены "ворота" и нужно выбрать такой зигзаг, чтобы пройти сквозь каждые — и без потерь. Задача грандиозная, если вспомнить, что десятки поколений историков (начиная с самых древних) столетиями трудились, создавая существующую, общепринятую историю, которую Великовский теперь — в одиночку! — намерен пересмотреть: дату за датой, событие за событием, эпоху за эпохой. Но и отступления нет: позади даже не Москва, — на карту поставлена уникальная датировка Исхода, а стало быть — и связанная с ней, придуманная в ее объяснение грандиозная концепция "столкновения миров", вокруг которой уже ломается такое множество копий... Теперь уже не скажешь: я просто хотел немного побаловаться; девушка-то уже беременна! Дело не в том, что "не хочется" отказываться от такого изящного "гиксосского расследования"; дело куда серьезнее: откажешься от него — и рухнет все остальное. Теперь Великовский попросту обречен двигаться вперед (потому что только на самом финише, пройдя все каверзные и коварные "ворота", он сможет считать свою историческую гипотезу доказанной окончательно и неизбежно!) — и он фактически обречен на благополучное достижение финиша, любой ценой — иначе конец всему его делу...

Как тут отделить честный поиск от суровой необходимости ее найти? Непредвзятое исследование — от подсознательного стремления найти доказательство своей правоты? Кто определит, что больше руководило Великовским, когда он принимался за реализацию своей грандиозной (не побоимся этого слова) "исторической программы", оказавшейся так фатально связанной с его космогонической теорией (а ведь и ту еще тоже надо было защищать и доказывать!). И кто скажет, какую роль играла тут еще глубочайшая убежденность в правоте Библии? И в величии, уникальности еврейской истории? Совершенно бесстрастных исследователей не бывает. Если мерить человека масштабом того, на что он замахнулся, то Великовский, в любом случае, продемонстрировал подлинно научное мужество, равно как и подлинно титаническую волю и силу духа, ибо — почти невероятно, но факт — он практически довел свою грандиозную

программу почти до конца. Дойти до самого конца ему помешала только смерть.

Путешествие в страну Пунт. В "Веках в хаосе" упомянутая "программа" только еще намечается. Удалив из египетской истории "лишние" столетия, Великовский "поднял" ее ближе к нашим временам так, что послегиксосская эпоха совпала с правлением Давида, а современницей Соломона стала знаменитая царица Хатшепсут. Знаменита она в древнеегипетской истории прежде всего тем, что совершила так называемое "путешествие в страну Пунт". То было незаурядно дальнее по тем временам морское плавание, на многих кораблях, из которого были доставлены многие богатства: экзотические деревья и животные, золото и серебро, драгоценности и утварь, полученные в подарок в стране Пунт. Царица так гордилась своим путешествием, что приказала высечь соответствующие рисунки на стене сооруженного ею храма в Дейр-эль-вахари. Судя по рисункам, а также высеченным под ними надписям, страна Пунт находилась то ли в Азии, то ли в Африке. Историки препираются на этот счет до сих пор: одни помещают Пунт в Эфиопии, другие в Сомали, третьи в нынешнем Йемене, но в любом случае и все — к востоку от Египта и так, чтобы туда можно было проплыть через Красное море (поскольку оно недвусмысленно упоминается в рельефах храма Хатшепсут).

Вот и первая задача для "альтернативного историка". Нужно доказать, что путешествие Хатшепсут состоялось во времена Соломона. Эти "ворота" исторического "слалома" еще достаточно широки — толкования ограничиваются всего лишь двумя фактами: существовала в древности на Ближнем Востоке некая ж е н щ и н а - ц а р и ц а , которая совершила незаурядное по тем временам п у т е ш е с т в и е в страну "к востоку от Египта", за Красным морем.

Простота задачи способна, пожалуй, лишь насмешить Великовского. Не то, что он — любой образованный человек знает, что Библия содержит рассказ — именно о путешествии и именно женщины (факт сам по себе настолько необычный для древности, что, видимо, запомнившийся) — ц а р и ц ы С а в с к о й к С о л о м о н у !

Поистине, блестящий удар! Остаются мелочи: согласовать эту гипотезу со всем наличным материалом. Прежде всего, где находился Пунт? Какой-то египетский чиновник оставил запись, что

побывал "в Библосе и Пунте одиннадцать раз", Библос — древняя столица Финикии, и его развалины по сей день сохранились к востоку от Бейрута. Естественно считать, что Пунт был неподалеку. Тем более, что Пунт — это искаженный Понт, а Понт, согласно одному из мифов — "отец Посейдона и Библоса". В его честь вторая, после Библоса, столица финикийян могла называться Пунт. Дружба Соломона с царем Финикии Хирамом известна: Хирам доставил экзотические кедровые деревья для строительства Храма; вместе с Хирамом флот Соломона ходил в богатейшую страну Офир — для этого Соломон даже построил собственный порт на Красном море Эцион-Габер. (Через этот порт, кстати, и могла прибыть царица Хатшепсут.) Впоследствии, когда финикийцы были вытеснены с восточного средиземноморского побережья и, переселившись в район нынешнего Туниса, создали там Карфаген, римляне называли свои войны с Карфагеном "пуническими". Все указывает на то, что Понт был другим названием Финикии и шире — восточного побережья Средиземного моря. А значит — и Палестины. Пункт первый доказан.

Пункт второй: Хатшепсут — царица Савская. Ну, прежде всего, женщина на престоле — много ли их вообще было? К тому же обе — путешественницы. Вероятность двух случаев совпадений еще меньше, чем вероятность одного. Куда естественней считать, что это одно и то же лицо. Правда, на рельефах Хатшепсут нет ни одного упоминания о правителях земли Пунт, но это умолчание можно объяснить: гордыня египетских фараонов не позволяла им упоминать имена чужеземных царей, даже таких великих и могущественных, как Соломон. Зато многие детали рельефов поразительно красноречивы: скажем, прибыв в Пунт и высадившись на сушу, Хатшепсут по мере своего продвижения внутрь страны встречает удивительные, обсаженные деревьями "террасы" — типично палестинский пейзаж; рельефы особенно восхваляют привезенные из путешествия экзотические деревья, — но Хирам подарил такие Соломону, а тот мог подарить их царице; изображения привезенных из Пунта изделий неплохо согласуются с описаниями утвари Иерусалимского храма в Библии; сам хоам царицы Хатшепсут удивлял современников странностью архитектуры и ритуала — это можно истолковать как свидетельство, что он был построен по образцу Соломонова; царица Савская прибыла к Соломону "с юга", со стороны моря, как и Хатшепсут; местонахождение ее царства относят к Йемену или Эфи-

опии, но у Иосифа Флавия в его рассказе о ц а р и ц е С а в с к о й есть прямое (никем до сих пор не учтенное) высказывание: “Женщина, которая была в те времена ц а р и ц е й Е г и п т а и Э ф и о п и и , примечательная своей мудростью и многим иным, прослышала о мудрости Соломона и воспытала желанием увидеть его страну...” Если это не Хатшепсут, то кто же это?!

Как и в случае с гиксосами, свою очередную реконструкцию Великовский кончает несколькими изящными и эффектными гипотезами, возбуждающими воображение. Царица Хатшепсут, говорит он, как правило, изображала себя в мужском облике — дабы не смущать своими неподобающими фараону женскими статьями умы верноподданных египтян; не в этом ли разгадка знаменитой легенды о “ногах царицы Савской” — в одном варианте легенды она их скрывала, потому что они были кривые (“козлиные”), в другом — потому что они были волосатые, “к а к у м у ж ч и н ы”? Другая легенда утверждает, что гостя родила от гостеприимного хозяина сына (сластолюбие нашего Соломона широко известно); эта легенда была в особом почете у эфиопов, которые утверждали, что родословная их негусов восходит к этому незаконнорожденному потомку двух мудрейших родителей; может быть, все может быть, меланхолически замечает Великовский, но куда интереснее, что эфиопская мифология именует царицу Савскую М а к е -да, а царское имя Хатшепсут пишется на ее рельефах как М а к е -ра!

Если вы и после этого сомневаетесь в их тождестве, вы попросту лишены воображения...

Даниил в логове львином. “Века в хаосе” были встречены читателями с огромным энтузиазмом. Книга принесла Великовскому (и его издателям) фантастические доходы. Однако в научных (исторических) кругах она не вызвала того ажиотажа, какой вызвали “Миры в столкновениях”. Оно и понятно: в истории Ближнего Востока, на которую замахнулся Великовский в своей второй книге, было вполне достаточно “белых пятен”, чтобы породить сомнения у самих историков, и в то же время не было той бесспорной однозначности, которая свойственна физике и астрономии с их математически сформулированными законами.

У физиков и астрономов сомнений не было: “теория катастроф” Великовского — явный и откровенный бред! Жалко, конечно, что уважаемое издательство способствовало распространению

этого бреда, опубликовав книгу уважаемого доктора, но теперь уж ничего не поделаешь... Теперь можно только — по возможности быстрее — разъяснить читателям, какие грубые, элементарные ошибки против математики, физики, логики и просто здравого смысла допускает достопочтенный доктор Великовский, — и все увидят, что “король гол”. Заодно рухнет и вся его нелепая “историческая реконструкция”, основанная на не менее “бредовой” космогонической гипотезе, — и тогда “дело Великовского” будет окончательно закрыто. Раз и навсегда. Карьера очередного незадачливого претендента в “ниспровергатели основ” кончится на этих двух трагикомических публикациях. Вот сейчас профессор Пейн-Гапошкина, самая выдающаяся ученица профессора Шепли, подготовит к печати популярную статью о “теории” этого ... как его? ... Великовского — и уж тогда от него не останется камня на камне...

Как они ошибались! Как они все и жестоко ошибались! Им не удалось дискредитировать эту теорию ни с первой попытки, ни со второй, ни с десятой ... Им не удалось подорвать веру в нее сотен тысяч людей даже после того, как они, отчаявшись, созвали специальную всеамериканскую научную конференцию “Ученые против Великовского” и затем опубликовали массовым тиражом ее доклады. И им не удалось покончить с самим Великовским: он вступил в борьбу и сражался за свою правоту, как лев. Или, точнее, как Даниил в логове львином. Хотя, кажется, Даниил не сражался — его спасло чудо. Великовского, если угодно, тоже поддержало чудо. Только оно было рукотворным и называлось: “спутники и космические корабли”. Начало космической эры человечества принесло с собой неожиданные подтверждения некоторых, казалось бы, самых фантастических предсказаний его “бредовой теории”.

(окончание следует)

М. Вартбург — псевдоним постоянного автора обзоров и очерков в “22”.

В июне-июле журнал поддержали пожертвованиями: И. Минц (Кфар-Саба) — 35 шек., Э. Войтовецкая (Беэр-Шева) — 20 шек., Р. Зусман (Иерусалим) — 20 шек., А. Кербель (Хайфа) — 35 шек., С. Шифман (Хайфа) — 35 шек., Н. Тышкевич (Беэр-Шева) — 15 шек., М. Парков (США) — 15 долл., В. Воронель (США) — 5 долл., С. Цитронблит (Франция) — 50 долл. От всей души благодарим преданных друзей.

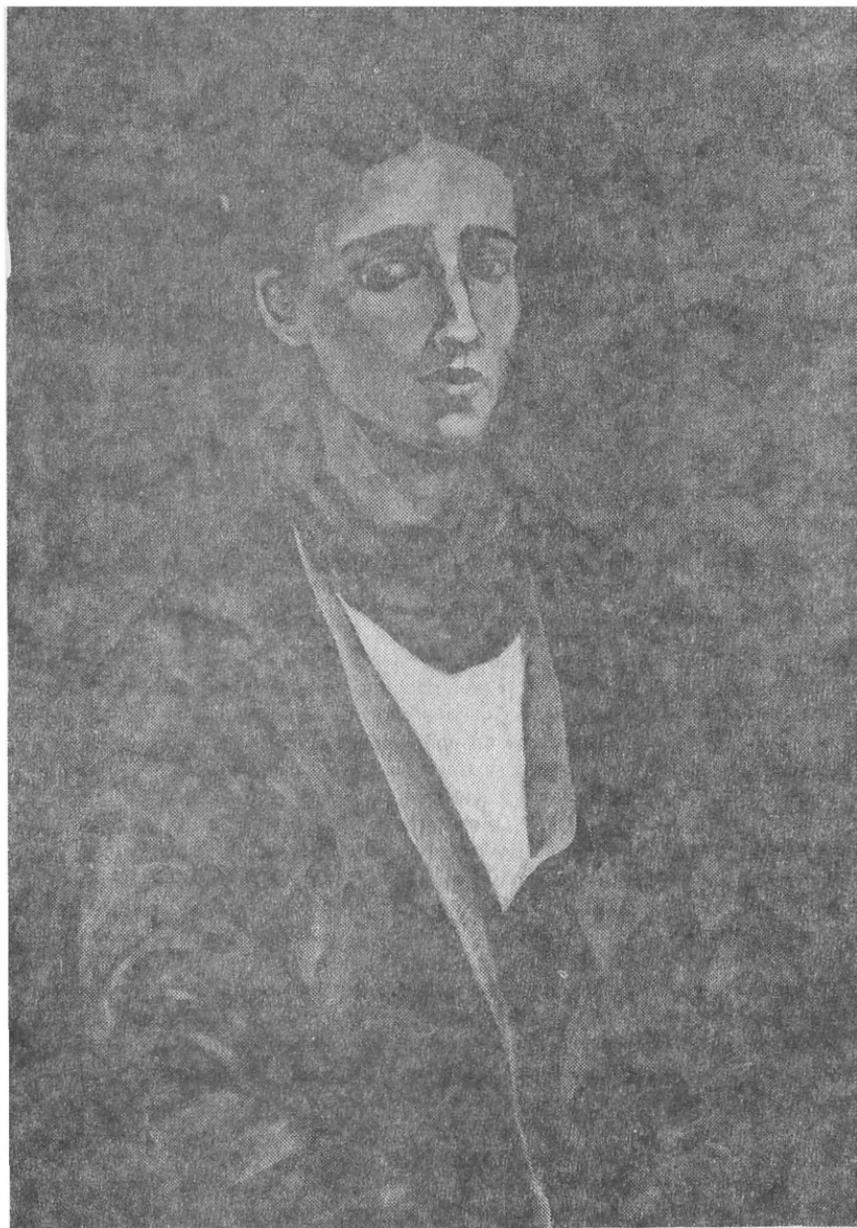
МАСТЕРСКАЯ

Ксения Вернер

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Искусство Павла Хмельницкого предметно. Однако его натюрморты — это не столько фрагменты современного быта, сколько атрибуты городской жизни наших дедушек и бабушек, то есть того поколения, которое еще знавало спокойный досуг, соблюдало церемониал маленьких радостей и было искушеннее нас по части общительности. Вместе с тем все эти вазы, бокалы, фарфоровые блюда, красочные фрукты и декоративные узорчатые покрывала подверглись здесь новой интерпретации, которая выдвигает сомнения относительно объективности видения и полноты нашей способности познавать. Язык этих натюрмортов прошел явную школу абстрактной живописи. В них проступают геометрические фигуры: прямые, окружности, прямоугольники, — которые соприкасаются, напластовываются друг на друга или пересекаются, создавая собственное взаимодействие. Перед нами — не возвращение к реализму, а метаморфоза абстрактного искусства. Общность Павла Хмельницкого с художниками классического модерна заключается в интеллектуальном начале: "Я зачастую пишу не с натуры, а из головы", — признается он.

Его картины нравятся, потому что они ведут со зрителем диалог. Они обращаются к чувствам, они вызывают настроение — как камерная музыка, устраиваемая хозяином для гостей. Может быть, это происходит потому, что красочные тона и формы этих натюрмортов скрыто музыкальны и в переливах света и тени проявляется музыкальное звучание? Как бы то ни было, эта живопись — не искусство больших жестов и громкого пафоса, а некоторого рода салонное искусство, отголосок той культуры "светской домашности", которая имела в России долгую и поныне непрерывную традицию. По мере того, как культура все более вытесняется с улицы и из общественных мест, а "планетарная насыщенность" превращается в судорогу, эта "домашняя культура" приобретает все большее значение. Кто когда-либо пил чай на русской кухне и был свидетелем бесконечных споров о философских, религиозных, политических и литературных вопросах, знает, о чем здесь идет речь. Эта домашность имеет нечто общее с платоновым "симпозионом", где собеседники соучаствуют в приеме естественной и духовной пищи с чувством доброжелательной защищенности. Картины Павла Хмельницкого — плод такого, все еще живущего на востоке Европы гостеприимства, и помещению, где они висят, они придают его атмосферу. В контексте современной западной цивилизации это искусство представляется попыткой плыть против течения времени: зримый, предметный мир противопоставляется в нем миру некоммуникабельности, завязшему в своих технизированных коммуникационных сетях. С другой стороны, они противостоят также истерически-нервному возмущению, которое выражают многие современные художники, чьи произведения столь же монологичны, что и мир, ими осуждаемый.



Павел Хмельницкий. "Портрет Сосенны Мартин".



Павел Хмельницкий. "Натюрморт".

Натюрморты Павла Хмельницкого — своеобразные формулы, с помощью которых художник как бы поверяет расстояние между видимостью и действительностью. Многоперспективный способ изображения, представляющий один предмет в его фронтальном виде, другой — с высоты птичьего полета и так далее, сознательно вводит глаз в заблуждение. "Зритель остается аутсайдером, — говорит художник, — предметы соотнесены друг с другом, как в шахматной игре". Действительно, благодаря многоперспективной композиции, вещи перестают подчиняться общепринятой причинности, они существуют где-то вне времени и пространства. Поэтому несмотря на декоративность, эти картины полны напряжений и противоречий. Зритель задается вопросами, пытаясь обнаружить связи между предметами и отгадать их скрытую тайну. Но чем больше он стремится познать пространство этих картин, тем больше убеждается, что однозначного решения нет. Неясно, где заканчиваются плоскости и начинается собственно пространство, как эти плоскости соотносятся друг с другом. Реалистичной остается лишь пропорциональность предметов. Однако их перспективное расположение создает иллюзию "выпячивания" пространства из плоскости полотна. Объекты на переднем плане поданы сверху, расположенные в центре и на заднем плане все более следуют ниспадающему направлению взгляда — аналогично меняющемуся полю зрения человека, сначала наклонившегося над столом, затем повернувшегося и медленно приседающего на корточки, чтобы рассмотреть предметы, находящиеся далеко от него. Рама картины объединяет все эти сдвинутые во времени восприятия, создавая своеобразного характера "объективность".

Менее однородными, чем натюрморты, являются портреты Павла Хмельницкого, на которых изображены члены его семьи, друзья и знакомые. По всей вероятности, это частично объясняется индивидуальностью лиц, которые художник пишет уже "не из головы" (хотя портретное творчество Модильяни и Пикассо говорит о том, что это не так уж само собой разумеется). Портреты Павла Хмельницкого — это воспроизведение подмеченных признаков, в которых он меньше стремится к глобальной характеристике, скрывающейся за видимостью лица, чем к правдивому изображению его индивидуальных черт. Модель у него, как правило, покоится в неподвижной позе, что исключает фактор времени. Это, однако, не моментальные снимки смещающихся, разговаривающих, задумавшихся людей. Художник стремится выразить в каждом лице нечто безвременное — как на иконе. Там, где семантика жеста портретируемого оказывается в противоречии с семантикой лица (как, например, классические черты молодой женщины в "Портрете Аллы Алеевой" в сравнении с ее судорожно сжатыми руками), художник достигает вершины своего изобразительного искусства. Цвет служит ему при этом психологическим фоном, неся в себе настроение и в то же время фиксируя эмоциональную силу, излучаемую портретируемым человеком. И даже там, где на портрете нет и намека на конкретное пространство, где фон состоит из одних лишь цветовых тонов, внушающих наличие мнимой глубины и светотени, зритель без труда приспосабливается к изображенным лицам ту домашнюю среду, что представлена на висящих по соседству натюрмортах. Впрочем, натюрморты ли это? Не такие уж они "морт": в них звучит музыкальность и поэтичность, они рассказывают о прежних временах, они внушают надежду на возможность художественного обогащения жизни.

Ксения Вернер — искусствовед, живет в ФРГ.

Американскому научно-исследовательскому институту
"ДЕЛЬФИК"

для подготовки обзорных монографий по научному и техническому прогрессу в различных областях

т р е б у ю т с я

недавние эмигранты из СССР (с надежной научной и профессиональной характеристикой).

Работа оплачивается.

"Куррикулум вите" направлять по адресу:

Delphic Associates, INC., 7700 Leesburg Pike, Suite N° 250, Falls Church, VA 22043. USA.

ЛЮДИ И КНИГИ

Михаил Гробман

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

С опозданием получил шесть книжек журнала "Беседа". На титуле написано — религиозно-философский журнал. Редакторы — Т. Горичева и П. Рак. Париж. 1983—1987 гг.

"Беседа" — журнал неофитов и, следовательно, журнал скорее политический, а не духовный. 8. Якубов ("На пороге церкви") объясняет, как надо правильно верить в Христа. При этом цитирует почему-то слабые милые комсомольские стишки А. Кушнера, изданные "Советским писателем", и мимоходом провозглашает Кушнера одним из лучших современных поэтов.

И, конечно, дело не обходится без мифа о фарисеях, которые были глупые и непонятливые, а вот Якубов, он как раз наоборот, весь в Христу, как в шелку.

Вообще, миф о фарисеях — это основная политическая лож христианства. И так же, как сегодня (и всегда) большинство человечества не знает о том, что Христос был правоверным евреем, так же никто не знает о книге "Завещания двенадцати патриархов", написанной за сто лет до рождения Христа. Автор книги — фарисей, и книга эта очень важна для понимания сути фарисейства. Литература раннего христианства просто повторяла литературу фарисеев. Не знает об этом и Б. Гройс ("О философии", "Беседа" № 1, 1983), когда пишет о якобы опасном и неверном истолковании фарисеями Моисеева закона. Уместно вспомнить тут о молодом, но быстро умершем мифе ессейского происхождения раннего христианства.

Стихи В. Кривулина ("Беседа" № 1, 1983) — метафорическая поэзия с большим количеством "как" (движенье как Матерь, боль как солнце, смех как рыданье, солнце как печать, и т. д.). Культура и память мешают Кривулину. Бездна образов и все словно декорации в театре.

Стихи Е. Шварц, любимицы публики. Эклетика, осколки обереутов, вагиновщина. Шварц любит постращать свою публику, но за этими храбростями стоит милая дамская психология, очень консервативная и уютная в обращении. Вообще Ленинград умиляет своими попытками мимикрии под авангард.

П. Рак ("Из садов пресвятой Богородицы") описывает свое путешествие на Афон и то, как он целовал лобную кость, оставшуюся от мученика Сергия. Я при этом вспомнил пещеры Троице-Сергиевской лавры, наполненные высохшими трупами, и православных старушек, которым только аквариумные стекла мешали прилечь губами к этому страшному тлену. Так христианство, выданное из рук евреев, благополучно погрузилось в готтентотский мрак доиудейской Европы.

Председатель Главполитпросвета Н. К. Крупская писала в газете "Прав-

да” за 13 февраля 1921 года — “...приносили плакаты, будящие грубо-зверские инстинкты, приносили футуристическую мазню — и надо было говорить, что самое лучшее — сжечь эти плакаты...”

В. Н. Ильин (“Война с красотой и власть тьмы”. “Беседа” № 2, 1984) пишет — “...вроде того, как “футуристы” или “модернисты” поступают с поэзией, музыкой и живописью, не стесняясь марать какие-нибудь мысли вслух: “почтеннейшая публика” всеядна, особенно по привычке проглотить самые несъедобные и неудобосказуемые. Здесь все сводится к так называемой “инициативе”, то есть к наглости, нахрапу и арривизму...” и еще цитата — “...запутать по рукам и ногам поддавшегося в сети черной красоты, чтобы потом проташить запутавшегося в омут откровенного уже “футуристического” безобразия...”

Какое трогательное единство мнений у товарищей Крупской и Ильина. Но про Ильина можно сказать словами Христа — “пусть мертвые хоронят своих мертвых”, а вот как быть с “Беседой”??? Где взять столько мертвых в похоронную команду!

Стихи О. Охупкина (“Беседа” № 2, 1984) — чудовищная эклетика, помесь Клюева, Гумилева и многих других, какая-то романтично-религиозная смесь. Но это не личные качества Охупкина — такова она, ленинградская “школа” поэзии, на сегодняшний день. Только источники влияний легко взаимозаменяются.

С. Стратановский (стихи в “Беседе” № 2, 1984) читал оды XVIII века, читал береутов, читал кое-что из XIX века, обо всем этом рассказывает его стихи, но, к сожалению, стихи не рассказывают о самом Стратановском. Кроме того, стихи полны невероятных банальностей, если не хуже: “заразен как чума”, “неотвязных как бред”, “в море мора и плача” и т. д.

Стихи А. Миронова (“Беседа” № 2, 1984) неоригинальны и полны красот. Опять детская романтика, детская преданность прочитанному. Гладкопись, но и она ложная, так как “отдам тебе себя в заслугу” или “ты не девица — вервь и муж” кого угодно могут сделать заикой. Поэт — вервь-муж?

Статья И. Кабакова (“Культура”, “Я”, “Оно” и “Фаворский свет”. “Беседа” № 2, 1984). Кабаков — один из важнейших художников России нашего времени, и поэтому то, что он пишет — интересно вдвойне. Статья Кабакова шизофренична, она свидетельствует о двух сознаниях автора, одно из которых — его естественное сознание, другое — как бы чужое, болезненное. Кабаков анализирует состояние современного нам русского искусства, пишет о легитимизации советской идеологии, как материала для работы художника, называет имена и т. д. Можно соглашаться с его оценками или нет, но это живо и интересно. Когда же Кабаков, умный еврейский ребе, интеллектуал и апикорс, начинает вдруг нечто о “фаворском свете” и прочем “опиуме для народа” — становится не по себе от этой оттовейнигеровщинки. Я уж не говорю об ужасе товарищей из “Памяти”, которые в перерыве между двумя маленькими погромами забегают в свою домовую церковь и обнаруживают там небольшую группу евреев-художников в талесах на коленях перед Николаем-угодником.

Забавен текст Е. Шифферса (“План будущей монографии”. “Беседа” № 4, 1986), тема для социопсихологического экскурса. Мальчики, не вы-

говаривающие букву "р", еврейские мстители русскому народу. В церк-вах они оттеснили старорежимных старушек в задние ряды, они главные спасители русского православного люда от атеизма, коммунизма и прочих напастей, они ведущие церковные писатели, у них есть свои издания типа "Вестник РХД". Как ловко и ладно они превратили религию врага в свою собственную "игру в бисер". Шифферс — один из ведущих в этой игре. Как звонко он выговаривает все эти христианские штучки...

В отделе писем ("Беседа" № 4, 1986) пишет Ж. из Ленинграда: "Кста-ти, меня очень удивило, что Запад (и аборигенный и эмигрантский) как будто совсем не заметил хлебниковского юбилея". Это неверно. Были семинары, были издания. А в Израиле группа "Левиафан" совершила тор-жественные шествия при большом скоплении народа в четырех городах: Иерусалиме, Тель-Авиве, Тверии и Акко. Впереди шествия выступал всад-ник на белом коне под белым покрывалом, истисанным стихами. Далее шли художники и поэты с белыми и цветными платами и знаменами. На шпатах и флагах — имя Хлебникова на русском языке и на иврите, цита-ты из Хлебникова, мистические формулы и названия первых футуристиче-ских книжек. Было чтение, посвященное Хлебникову.

А. Волохонский в статье "Армагеддон" ("Беседа" № 5, 1987) придер-живается все той же нелепой точки зрения (очень милой сердцу попов), что рукописи, найденные в Кумранских пещерах, являются плодами тво-рений ессеев, а ессеи, в свою очередь, "отделились" от иудейства. С таким же успехом можно считать и хасидизм движением, отделившимся от иудей-ства. Никто ни от кого не отделялся. Иудаизм был всегда очень сложным организмом, всегда состоял из различных интегральных частей. Ессеи явля-лись интегральной частью иудейства того времени, они пользовались той же литературой, что и остальные иудеи, в том числе фарисеи. Более того, Христос (если он вообще существовал в том виде, как подает его миф) и ранние христиане являлись также интегральной частью иудаизма, все они были правоверными и кошерными евреями. У Христа не было кон-фликта с иудаизмом, у него был социально-политический конфликт с истаблшментом. И только когда христианство перешло в руки других народов (враждебных еврейству), только тогда оно вышло из иудаизма и более того — стало антисемитским. Процесс отрыва христианства от мате-ринского лона тоже произошел не моментально. Долгое время существо-вали отдельные христианские еврейские общины и отдельные остроанти-семитские нееврейские христианские общины.

В. Аксютц ("Под сенью креста". "Беседа" № 6, 1987) о разном пишет. Тут и косенький батюшка Дудко в одной табели рангов с Достоевским, тут и рассуждения о том, что "...создателями современной цивилизации были по преимуществу христианские народы..." (отсюда недалеко до дру-гой простенькой мысли, что цивилизацию, мол, арийцы построили, и дело с концом). Есть рассуждения и насчет того, какое имя правильнее для пер-вой книги Библии — Генезис, Бытие, Рождение или Становление и т. д. И во всем автор видит "провиденциальный смысл". А на иврите ясно на-звано имя — "Б'решит", то есть "В начале" (или, если хотите, "Начало"). Дальше — больше, "...сакральную ценность имеют для нас и еврейский, и греческий, и церковнославянский, и русский варианты Библии..." У евреев

малейшая неправильно поставленная запятая превращает труд переписчика Библии в бесполезный, никому ненужный. Каждая буква Библии имеет свой скрытый смысл. Каждое слово влечет за собой цепь мистических предположений, заключенных в строгую лингвистическую конструкцию. Нет этих букв, нет этих слов — нет Библии, а есть переводная литература, с сюжетами, чудесами, героями. У тех, кто знает иврит, — есть Библия, у тех, кто иврита не знает, — есть "История Синдбада-морехода". Христианство уже много-много лет пользуется "Историей Синдбада-морехода", а думает, что читает Библию. И так христианство выглядит. Теологические рассуждения человека, не читавшего Библию на ее подлинном языке — иврите, подобны рассуждениям слепого человека о живописи импрессионистов. Христианская цивилизация — это цивилизация слепых. Христиане, заимствовав у иудеев их священные книги, не стали от того иудеями, но и от своего, онтогенетического, они тоже ушли. Тут вам и преступление, и наказание в одном лице. А не воруй! Совсем не случайно современная нам общая цивилизация выщепила из себя христианство и превратила его в чисто исторические или культурные категории, то есть категории музейные. И только где-то на краю большого мира горстки провинциалов, ушибленные политической или технологией, еще держатся за колыбельные песенки Европы.

Примечание: А. С. Пушкин, восхищенный Книгой Йова, принялся изучать иврит, прекрасно понимая, что тексты Библии, прочитанные не на еврейском языке, это еще далеко не сама Библия.

Владимир Тарасов

МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ

(Илья Бокштейн. Блики Волны. Книга стихов /факсимильное издание/. Издательство "Мория", Израиль, 1986. 362 стр.)

Где кончается Бокштейн и начинаются его стихи, определить нельзя. Не ко всякому эта формула приложима.

Поэзия Бокштейна — модель, созданная по образу и подобию, воплощенный тип сознания. Особенности этого мира — его "несделанность" и абсолютное отсутствие тяги к мимикрии. Находясь не в ладах с силами бокштейновых земель, почти невозможно оценить по достоинству их дары. Бокштейн публикует стихотворение в том виде, в каком оно свалилось на него. Наивная вера автора в "чистосердечие" любых выходов Феба одновременно вызывает улыбку и восхищает. В наше лукавое время такое явление — редкость.

В целом этим и объясняются неровности его стихов. Чистое и возвышенное здесь соседствует с неповоротливым, беспомощным:

Пробей, тоска, камней предел
В пещерах тел
Зачем рассудок дал мне Бог?
Простором ночи стать хотел
Вдыхая пыль ночных дорог
Из пыли сотканный цветок.

(стр. 166)

Зачерпнул пригоршню: и грязный песок с гравием, и золотая слюда — все в одной обойме. И все же не забудем — полутени прекрасного, тонкие, едва уловимые, становятся четкой реальностью на фоне косного, напирającego своей необъятной слоновостью.

Поэтика Бокштейна целинна. Категория объективного скорее отсутствует, ибо все просеивается сквозь сетчатку авторского "ока" и в стихах уже неузнаваемо. Да он и сам признается:

Я не могу выразить себя
В компонентах видимого мира
(стр. 106)

Что удивляет всего больше в нем — так это прямота прозрений. Иные из его вещей воспринимаются как главы трактата. В своих "онтологических медитациях" Бокштейн загадочен и силен:

Когда возник человек?
Человек возник тогда,
Когда обезьяна слезла с дерева
И обратилась к Богу.
Когда появился Бог?
— Разумеется, тогда же.
— Выходит, обезьяна обратилась
К самой себе.
— Совершенно верно.
Однако лицо ее обращения
Было отделено от первого
Могильной тишиной.

(стр. 135)

Звукопись его стихов — стайки серебристых игл. Они резвятся, петляют, извиваясь, стоит упасть на них лучу — предстанет наблюдателю живой узор, игривый и легкомысленный. Что разумеет мы под лучом? Чуткий слух. Не вдумываясь — произнесите:

Между решетками строк трепетали
Всплески полосками — нежность сплели
Нервы тропинками снежной зари.

(стр. 39)

И еще одна деталь: Бокштейн — изобретатель. Он неустанно возится с неологизмами. Этот “птичий” язык любопытен тем, что помимо корне- и звукословия (сродни хлебниковскому) включает и наново сочиненную терминологию. Причем придумка тут может быть сколь угодно занятой, например: Звамилъ (zvamil’) — закоулистая черная роща с золотой шляпой...

Однако, в силу принципиального приятия поэтом пути вдохновения редко какое из стихотворений назовешь законченным, “дотянутым”. К недочетам книги следует также отнести ту нетребовательность, с которой она собрана, — сам автор видимо не подозревает, насколько обилие недоработанных набросков заслоняет собой удачу и портит книгу. “Избранное” выглядело бы куда лучше. Не всегда оправдано на наш взгляд и бесконтрольное нашвыривание образов один за другим — в хаосе тоже должен быть свой закон, таковы требования Искусства. Бокштейном этот момент подчас упускается.

Тем не менее, читатель терпеливый будет вознагражден, а собрат по цеху обнаружит в “Бликах волны” напластования ценного сырья, — хоть с собой уноси. Новизна синтетического искусства Бокштейна и полная преданность своим (а не заемным) “заблуждениям” несомненно выдвигают его поэзию в ряд явлений незаурядных. Лучшей концовкой этого ленивого обзора книги будет, пожалуй, цитата оттуда — замечательное стихотворение “Памяти Низами”:

Ночью бархатной, черной, как челюсти Рока
Вдохновенную душу святого пророка
Бык небесный жемчужину неба ночного
Вынимал из ноздри у земного.
И потухла земля,
Будто черное небо разуто,
Будто черное поле теперь бесприютно,
И на ней я бесплодно тоскую,
И стада там пасутся вслепую.

(стр. 201)

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Миррам БАРОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 65 шек., для организаций – 75 шек., за рубежом – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 65 долл.), для организаций – 65 долл. (авиапочтой в Европу – 75, в США – 80 долл.).

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив

